



*Свеча
горела
Ѣ*

УДК 821.161.1 : 82-94
ББК 83.3 (2Рос = Рус) г : 84-4
С24

Составители *Н.Е. Васильева, Н.Н. Гашева*

Свеча горела... : книга о профессоре
С24 Пермского государственного университета
С.Я. Фрадкиной / сост. Н.Е. Васильева, Н.Н. Гашева;
Перм. ун-т. — Пермь, 2008. — 273 с.: ил.

ISBN 978-5-7944-1097-6

В книгу вошли мемуары С.Я. Фрадкиной, отрывки из писем близким, фрагменты повести ее дочери Л.Л. Кертман, воспоминания друзей, коллег и учеников, документы разных лет, архивные и библиографические материалы.

ISBN 978-5-7944-1097-6

© Пермский государственный университет, 2008
© Коллектив авторов, 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга посвящена профессору Пермского государственного университета Сарре Яковлевне Фрадкиной (1917 – 2000). С 1950 года она работала на кафедре русской литературы, и многие поколения филологов помнят ее блистательные лекции, семинары, беседы с ней, ее советы перед защитой курсовой или дипломной работы, кандидатской диссертации. А друзья и коллеги помнят еще и открытый дом на Комсомольском проспекте, где Сарра Яковлевна и ее муж, профессор-историк Лев Ефимович Кертман, всегда приветливо встречали гостей, где шли разговоры не только о литературе или истории, а обо всем на свете, даже и о том, что не снилось многим мудрецам...

В 2007 году исполнилось 90 лет со дня рождения С.Я. Фрадкиной и Л.Е. Кертмана. Исторический факультет университета отметил дату в сентябре – там прошла научная конференция памяти профессора Л.Е. Кертмана. Книга о нем вышла раньше – в 1991 году. На филологическом факультете книга о профессоре С.Я. Фрадкиной была задумана в связи с ее юбилеем в декабре.

Наше издание условно поделено на три раздела. В первый вошли воспоминания самой Сарры Яковлевны, страницы из альбома выпускников киевской школы, где она училась, – своеобразный портрет людей ее поколения, отрывки из ее писем близким, фрагменты повести ее дочери Лины Львовны о годах жизни в университетском общежитии, а также маленькое эссе под названием «Сарра», где и объясняется, почему раздел так назван.

Архивные материалы этого раздела готовили к публикации Л.Л. Кертман и Н.Н. Гашева. Объем его больше, чем объем второго раздела, но составителям сборника показалось, что именно такого рода документальный материал наиболее ярко высвечивает черты личности С.Я. Фрадкиной.

Во второй раздел книги вошли воспоминания друзей, коллег и учеников Сарры Яковлевны, в третий – биографическая справка, подготовленная ее сыном Григорием Львовичем, статья о литературоведческих трудах, архивные и библиографические материалы.

I. CAPPA

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Я. ФРАДКИНОЙ

(Материал подготовлен Л.Л. Кертман)

Я начинаю с первых детских впечатлений не потому, что таков закон жанра, а потому что чем ближе к закату, тем отчетливее запечатлевается восход. Я, в отличие от Льва Николаевича, не помню себя в пеленках, но что-то отпечатавшееся закрепилось, быть может, благодаря крупичам фантазии – и так уже и будет. Главный герой моего раннего детства – Гера, не сын Гера, а мой брат Гера, который не просто рядом во всех проблесках памяти, а всегда – опора, всегда – надежное прикрытие, защита, нежность, опека – то, чего минутами остро не хватает теперь.

И в том, что это в старости столь же необходимо, как в младенчестве, может быть, смысл народной мудрости, когда говорят – «впал в детство».

В Киеве, на Стрелецкой, я не боялась выходить одна на улицу, и когда меня пугали: «Мальчишки побьют!» – я знала: найдется «просвещенный» мальчишка, который сразу предупредит: «Не трогайте ее, а то ее брат (а он был старше на два с половиной года, а сильнее, по моим представлениям, во много раз) так врежет...» И не трогали. И под этой опекой я вступала в жизнь. И на всю жизнь запомнила это, как и многое другое...

Стоит зайти в парадное по Стрелецкой 24, и перед глазами – как он поднял на пари Дусю Глазберг (мою школьную подругу, в ту пору уже студентку) и на одной (!) руке донес до нашей квартиры № 26 на четвертом этаже. Места «подсказывают» события: у этих перил на четвертом этаже я впервые «повзрослому» целовалась с артистом (чтецом) Николаем Еременко – не потому, что влюбилась в него, а потому, что утверждала свою «взрослость». Но Гера о таком не знал, и я не решалась тогда его «просвещать». Гораздо позже поняла я «диалектику его души»... С одной стороны, младшая сестра – «соплюшка», «хвостик», от которого часто хочется «отделаться», с другой –

доверенная тебе душа, за которую отвечаешь, которую в обиду – нельзя! И всплывает в памяти, как, разъяренный дразнилками мальчишек «нянька! нянька!», он выскакивает во двор и лупит, лупит в них снежками, а печка тем временем догорает (забыл закрыть), а в комнате все холоднее, и, когда папа и мама приходят с работы (поздно вечером! – не помню, где, но помню, что каждый работал на двух работах), Гере здорово влетает.

И еще о его «диалектике души». Когда к нему, уже в школьные годы, приходили товарищи, а я «приставала», ребята заманивали меня на антресоли в кухне, где в сундуке – приманка для меня неотвратимая: книги (помню однотомник Жуковского с прекрасными иллюстрациями – от него трудно было оторваться!), и уносили в коридор лестницу, по которой я взбиралась. Я жалобно молила, чтобы меня спустили на пол, а мальчишки ехидно скалились и не помогали. Гера «скрепя зубы» тоже скалился «за компанию», но потом, когда ребята, отвлеченные чем-то, застревали в комнатах, он принимал меня на руки, при этом подтверждая им, что я сама спрыгнула. Похожее бывало и когда вредные мальчишки поддавливали меня «на слабо» – «слабо», мол, пройти через четыре темные комнаты при условии, что свет будут зажигать, идя за мною (для проверки). Было очень страшно, но я заводилась и отважно шла в темноту, а в конце путешествия, на пороге четвертой комнаты, навстречу мне выскакивало «привидение» в белой простыне. Я дико визжала, а Гера хохотал в хоре с моими мучителями, а сам поскорее обнимал меня, чтобы я перестала трястись.

А какое было наслаждение, когда он – рядом со взрослыми парами – снисходительно танцевал со мной! Какое это счастье – старший брат! Осознала я это позже, но ощущение счастья, гармонии, душевного покоя окрашивает те годы. И когда я слышала реплики: «Вы только посмотрите, как они похожи – прямо копия, но он – красавец, а она...», – я не только не обижалась и не завидовала, а радовалась: «Вот он у меня какой!» «У меня» – я чувствовала именно так.

А сколько было гордости, когда он приобщал меня к своей жизни! Вот он увлекается боксом, и ему надо, чтобы я поняла, как это здорово – бокс! И он берет меня на занятие секции, а я сижу и зажмуриваюсь, когда его колотят, а потом, вечером,

перед сном, он учит меня боксировать, а когда мама входит, чтобы утихомирить нас и потушить свет, в нее летит подушка, нацеленная на Геру (мы уже перешли в другую фазу единоборства).

...А как я гордилась, когда брат делился со мной сокровенным...

Мама и папа были против его решения поступить после 7-го класса в авиашколу в Харькове, а мне он толковывал, что партия призывает комсомольцев в авиацию и не может же он, комсорг, призывать других на своем заводе (он уже работал после семилетки – десятилеток еще не было), а сам остаться в стороне. И записался первым.

И как я была горда, когда вместе с мамой поехала навестить его (карточка, где мы сняты втроем, всегда на моем столе под стеклом, я никогда с ней не расставалась). И очерк в газете, где было написано, что он и на теоретических занятиях, и в учебных полетах, и в шахматах, и в других играх на отдыхе – первый, я зачитывала до дыр, хвасталась всем друзьям (у Геры были большие способности к математике и другим точным наукам, и папу еще поэтому очень огорчал его выбор). «Грима» – так почему-то называли его в отряде, и по всему тону очерка чувствовалось, что его там очень любили.

Незабываем мой день рождения на 1-ом курсе – 26 декабря 1936 года... Геру отпустили на несколько дней. Народу собралось столько, что у нас не могли поместиться – праздновали у однокурсницы в квартире на Большой Подвальной, и в центре всего был Гера – красивый, высокий, сильный, ясный, в защитной форме, и все девочки, конечно, были влюблены в него. А он, сравнивая моих «мушкетеров» (Алешу, Лёню, Лёву), отдал тогда предпочтение не Лёве: его интеллигентность, манеры, попахивающие Англией, казались слишком «беспартийными», «не комсомольскими». Алеша с его любимыми строками: «Только тот наших дней не мельче, / Только тот на нашем пути, / Кто умеет за каждой мелочью / Революцию мировую найти», – был Гере ближе, чем пропитанный Пастернаком Лёва. И подарок Лёвы – потрясающая сумка из КВЖД – был, по мнению Геры, пижонским и «попахивал низкопоклонством». А у нашей

бабушки, при всем ее «вольнодумстве», было диалектичное отношение к Алеше (чью внешность сейчас, в 1990-е годы, назвали бы «радость славянофила») – она вспоминала известное изречение: «Он, конечно, не антисемит, но в горячую минуту не скажет ли “жидовская морда”?» Но до взрослого выбора, как казалось тогда, было еще далеко (на самом деле мы с Лёвой поженились год спустя), а «шекспировские страсти» уже кипели...

Я так и не знала (и не узнаю), была ли у «мушкетеров» договоренность не встречаться со мной по одному или это получалось стихийно, но, когда Алеша вдруг пришел один и надолго засел в моей комнате ждать меня, в этом было что-то нарочитое. (Примешалось и комическое: в комнате за стеной громко разговаривали мама и домработница Маруся, и Маруся, не зная, что у меня в комнате сидит и все слышит «кавалер», долго искала и не могла найти мои чулки, шумно комментируя этот процесс, и первое, что сообщил мне Алеша, когда я наконец объявилась, – «Можешь не волноваться, все в порядке, твои чулки нашлись!») Было что-то нарочитое и в его неожиданном (без словесных комментариев) объятии, я оскорбилась и резко выставила его из дома, сказав, что все это не по адресу, – намекнув на известные ему другие адреса, где он, видимо, встречал в таких ситуациях «большее понимание», – и что мой адрес ему следует забыть. Об этом «разрыве» я на следующий день рассказала Лёве, немало его обрадовав.

Вообще в те годы я отличалась «высокой принципиальностью» и часто воевала с моей самой близкой подругой Раяй Кун, обвиняя ее в беспринципности, когда она помирилась и как ни в чем не бывало принимала у себя в доме Шуру Ципировича, с которым я навсегда поссорилась из-за обиды, ей нанесенной. Рая была на несколько лет старше меня, пришедшая прямо из школы, и поражала меня знанием многих неизвестных мне писателей (от античности до Голсуорси, Томаса Манна, Ромена Роллана), мировой поэзии, поэтов Серебряного века. И биография ее была по-взрослому бурной, и это не были «бури в стакане воды»...

Наша компания часто собиралась у Раи, бывали танцы, кипели страсти. После нашего «разрыва» Алеша довольно долго не появлялся там. 5 мая 1936 года, в день рождения Юзика Чигиринского, мы все собрались у него. Он был самый преданный поклонник Раи, безответно влюбленный в нее тогда и любивший до конца жизни; он был всю жизнь и нашим очень близким другом – очень нежный, душевно тонкий человек. (На фронте он был тяжело ранен, лишился ноги, за ним преданно ухаживала фронтовая медсестра, с ней и вернулся с войны и женился... А до войны Юзик чудесно танцевал – лучше всех нас.) Лёвы еще не было, он где-то задержался, а Алеша пришел. Заиграл патефон. Вальс-бостон. Мы с Алешей – в разных углах. И вдруг одновременно, не сговариваясь, поднимаемся и идем навстречу друг другу. И вот – его рука у меня на талии, моя – на его плече. Ни слова не сказано, но опрокинуто молчание нескольких недель. Пластинка доиграла, он отвел меня к моему дивану и вернулся на свой. К концу вечера появился Лёва и по уже сложившейся традиции провожал меня домой. По дороге он сказал, что задержался потому, что должен был записать свой сон, и прочел мне эту запись. Я ахнула: это был тот самый вальс-бостон, в котором мы с Алешей медленно шли навстречу друг другу. Подобной мистики не было больше никогда ни с одним из нас.

Сейчас, из 80 – 90-х годов, мне видится все яснее и отчетливее, насколько принципиальной была роль Лёвы в моем взрослении (в переходе от 45-ой школы к 1-му курсу филфака в 35 – 36-ом учебном году) – намного большей, чем казалось тогда... Случайным ли был тот вечер у Иры Овруцкой? Многое о ней тогда не договаривалось, и умолчания, как мне понятно сейчас, связаны были с ее ранним созреванием, сексапильностью, ее философией «свободной любви», отрицанием предрассудков. Она лихо «охотилась» за Ильей Эренбургом, познакомившись с ним на литературном вечере в университете в один из его приездов в Киев, и рассказывала ребятам (Лёве в том числе) пикантные подробности. А сколько шуму наделал ее «брак» с Сережей Спиртом (известным в нашем кругу в те годы молодым поэтом) – протяженностью в одну ночь, с ее категорической резолюцией «не подходит». А он

любил ее. (Он погиб на фронте в первые месяцы 1941 года.) Пыталась она «приручить» и профессора Перлина, довольно уверенно шла к этому, но не успела (он был арестован в 37-ом году).

Моя «принципиальность», видимо, воспринималась ею как ханжество, раздражала и вызывала желание подразнить, спровоцировать... Может быть, и неожиданное приглашение меня к ней на вечер тоже было продуманным эпизодом негласного «соревнования»? Помню, как однажды она под села ко мне на лекции и стала расспрашивать, ревнива ли я. Я, конечно, ответила, что нет, но она продолжила беседу, спросив, как бы я реагировала, если бы узнала, что муж мне изменил. Но это было уже на 3-ем курсе, после моей свадьбы, а на 1-ом место за столом было приготовлено для меня возле Алеши, в бокал с вином несколько раз доливалась водка и, когда в голове уже очень зашумело, Алеша предложил выйти на воздух – пройтись, проветриться, но до улицы мы не дошли. Внизу, в коридоре, Алеша притянул меня к себе, и в этот момент рядом оказался Лёва. Он взял меня за руку и увел в комнату Иры, где никого не было, уложил на диван, заботливо укрыл, и я тут же уснула, а он сидел и охранял мой сон, не оставляя меня ни на минуту. Такая была защищенность. Когда я проснулась, Лёва увел меня домой и по дороге сказал, что любит меня и что этот дом (Ирин) я должна забыть. Что я и сделала.

Но настоящее объяснение произошло позже. Это было в декабре 1935 года, в дни празднования 100-летия (или 120-летия?) КГУ (Киевского университета), было много торжественных мероприятий, приезжали писатели из Москвы (Федин, Панферов). Впечатлений от этих дней тогда осталось много – и ярких, и смешных. В одном углу пьяный Андрей Угаров иступленно выкрикивал:

Что мне Уткин, что мне Жаров,
Если я – Андрей Угаров!

Когда он был совсем «готов» и свалился на руки Боре Минчину, тот комментировал: я держу на руках будущее русской поэзии! (Известные и очень популярные в 30-ые годы

комсомольские поэты Уткин и Жаров приезжали в Киев, и их вечера на многих сценах, в том числе в большом актовом зале университета, проходили с большим успехом.) Андрей Угаров, ярко-рыжий, шумный, простодушно верящий в свою гениальность, был у нас персонажем комическим, но все же я была польщена, когда он – взрослый и как-никак известный на факультете поэт (стихи его часто пародировались, но многим и нравились: «Тихо ночь над городом парила, / Нынче мне взгрустнулось неспроста, / Я облокотился на перила / Старого днепровского моста. / Пары шли и проходили мимо, / Было их в тот вечер без числа. / Я грустил о девушке любимой, / Что сегодня мной пренебрегла»), пригласил меня... почему-то в цирк. По такому случаю я даже выпросила у мамы роскошный старинный шарф. Впоследствии Лёва часто ехидно припоминал мне этот «высокоинтеллектуальный поход». Несколько лет спустя – уже во время войны, в госпитале, после тяжелого ранения, его имя мелькнуло в грустных стихах Лёвы о довоенной молодости нашей... Андрей Угаров погиб на фронте.

Верная своей «принципиальности», бдительно «оберегая» подругу, я не отпустила Дусю Глазберг в машину Ф. Панферова (или даже «самого» Фадеева, неотразимо красивого и обаятельного? – не помню точно, кто из них настойчиво «посягал» на мою наивную Дусю). Не отпустила «показывать ему вечерний Киев», а ей очень хотелось поехать – она была так польщена вниманием знаменитого писателя, но я с 1-го класса, с первой просьбы ее мамы «присмотреть» за Дусей, ощущала ответственность за нее. В 9-ом классе на производственной практике на заводе станок как-то затянул руку Дуси, я резко и быстро остановила станок (слава Богу – не растерялась!) и спасла руку, палец она потеряла тогда.

Забегая далеко вперед: после войны, в 40-е годы – до «космополитизма», когда я уже работала в Киевском университете, – к нам приехал Фадеев, и моя дипломница, пишущая о «Молодой гвардии», хотела проинтервьюировать его, но советский классик был беспробудно пьян. Я не сразу поняла его состояние и сказала ему о просьбе дипломницы, но когда услышала ответ: «Пусть приходит в гостиницу!» – сказала ей, что Александр Александрович очень занят и не может ее

принять. Трезвыми в Киеве столичные писатели бывали редко... На встрече со студентами Фадеев – румяный (и красный от выпитого) и все такой же красивый – вдохновенно одобрил замечания «Правды» по первой редакции «Молодой Гвардии» и пожелания ко второй и сказал, как это органично для него – усилить роль партии, с которой он неразлучен с 17-ти лет. Но вернуться в довоенные годы.

Опоздавшие на торжества и не успевшие пройти в зал шатались «по большому кругу» – там происходили многие объяснения, выяснения отношений, начала и концы многих страстей... Об этом – строки Лёвы через много лет: «...то, что в тесноте большого круга / Породило страсть декабрьских дней». Гера тогда как раз приехал из Харькова на зимние каникулы, и, прибегая домой переполненная впечатлениями, я изливала их на него. Хвасталась «успехами», но помню и как жаловалась ему на Лёву: он говорит, что у меня красивые руки, – смеется, наверное? издевается? (Дело в том, что наш папа – высший авторитет для меня! – говорил, что все у меня слишком длинное – и руки, и ноги, и особенно нос. Это потом я поняла, что он так меня воспитывал – чтобы «не задавалась» и не кокетничала).

Гера, как всегда, меня утешал и успокаивал: а может, ему действительно нравятся твои длинные руки? Но самому Гере по-прежнему больше нравился не Лёва, а Алеша, не Пастернак, а Безыменский и Уткин. Такие приоритеты были у комсомольцев 30-х годов. Из любимых строк тех лет:

Да, это выше, выше, выше
Разлук и холода в руке.
Вы снились мне, и я Вас слышал
На лазаретном тюфяке.
И я пронес Вас сквозь разлуку,
Как девочка больную куклу,
Как руку раненный солдат.
И даже предаваясь плоти
С другим, – вы слышите – с другим! –
Вы вашу нежность назовете
Библейским именем моим...
(Иосиф Уткин)

Я тогда еще и «Белое покрывало» со слезами читала на память (и над строками: «Да, бывают такие минуты, / Что на сердце ложатся, как ночь», – рыдала). Так что при встрече с Лёвой я была еще очень далека от понимания истинной поэзии, истинных ценностей, истинной любви. (Потом, через несколько семейных лет, когда он перевоспитал меня, я иногда угрожающе говорила: «Сейчас начну читать “Белое покрывало”»! – когда хотела настоять на чем-нибудь, а он упрямылся.) Вообще наши первые впечатления друг от друга были далеко не радужными: ему запомнилось, как я, расстроенная, выскочила с экзамена по математике (а мы в 35-ом году на вступительных экзаменах на филфак сдавали и математику, и физику) и завопила: «Провалилась!» (получила не «5», а «4»!) – типичная маменькина дочка, зубрила-отличница с белым бантом на белом платье! А мне запомнилось, как какой-то «пижон» хвастался, что приехал на экзамен на машине. На самом деле он приехал тогда не на такси, хотя и так щегольнуть любил при возможности, а на интуристской машине – он подрабатывал там гидом и совершенствовался в английском, переводя американцам материалы о наших достижениях. После 7-го класса Лёва поступил в автомобильный техникум, но вынужден был, не закончив его, начать работать – отец болел, и дома было тяжелое положение. Вечерами он ходил в группу английского языка, где был очень хороший педагог, он обратил внимание на незаурядные способности Лёвы и устроил его экскурсоводом для совершенствования в английском. Интересно, однако, что когда Лёва наделал ошибок в сочинении на украинском языке и хватанул двойку, заступаться за него пришли коллеги по цеху (его основная работа была на заводе): зашли к ректору и – «классовые аргументы»! – кулаком по столу: «Почему работают не принимаете?! Он у нас изобрел такое приспособление к вагонетке!»

Ректор сказал, что в этом году на филологическом факультете все места заполнены, пусть первый год позанимается на историческом, а на 2-ой курс его переведут на филологический, но когда дело дошло до 2-го курса, Лев Кертман остался на историческом. А если бы перевелся – стал ли бы таким ярким ученым? Не уверена...

В 18-летнем Льве Кертмане причудливо перемешались «аристократические замашки» и «дворовые», «пролетарские»: в «соревновании» за мое внимание с Борей Минчиным Лёва победил явно в духе тех лет... Помню вечер, когда они, случайно встретившись у меня, долго «пересиживали» друг друга. Никто не хотел уходить первым. Наконец я сказала им, что они не дают лечь спать моим родителям, тем более что еще до прихода Лёвы Боря читал мне свои стихи, и папа, как потом выяснилось, «оценил» их: на строках «В пустыне страсти на твои колени / Стихов горячих сыпется песок» – за стеной послышалось подозрительное «похрюкивание» – папин смех. Они ушли вместе, а на другой день в университете Боря Минчин торжественно объявил ребятам, что мы с Кертманом созданы друг для друга и он не хочет быть препятствием нашему союзу. Подозреваю, что решающие аргументы, подтолкнувшие Борю к этому выводу, были если и словесные, то не «сугубо интеллектуальные», что в них заключалось некое предупреждение, что если он не забудет мой адрес, то...

Вероятно, «исповедь» предполагает хронологическое построение, но я хочу свободнее, не ограничивая себя, распоряжаться материалом. «Но как мне быть с моей грудной клеткой?» Я подошла сейчас к прощанию с Герой и... опустили руки. Так мучительно пережить это еще раз.

Пока возьму себя в руки, вспомню еще несколько запавших в память мелочей. Сейчас, когда мы прощаемся с XX веком, подводим какие-то итоги, пытаемся осмыслить себя и свое место в истории, во многих мемуарно-биографических книгах возникает генеалогическое дерево, люди пытаются укрепить свои связи с прошлым. У нашего поколения этого не было, напротив – и это было закономерно для годов коренного перелома после 1917 года, когда «до основания» разрушились былые общественные отношения, перевернулась система ценностей, прервались многие семейные связи (семьи выгонялись из домов и губились...), когда «сбрасывалась с корабля современности» классика, в которой жила память о прежних отношениях между людьми и прежних ценностях, когда память о прошлом стиралась, – интерес к нему не

поддерживался, и многое сознательно замалчивалось. И вот теперь, в 1999 году, я не могу рассказать своим детям о том, что представляли собой мои дедушка и бабушка (их прадедушка и прабабушка) по моей отцовской линии: я не была знакома с ними, и это – знак истории. Мать моего отца была, видимо, женщиной волевой и суровой. Сына своего (моего отца) она хотела сделать раввином. Его определили в йешиву. И там, и дома говорили только по-еврейски (видимо, на идиш; впрочем, и иврит изучали, он хорошо знал оба эти языка). Когда мой будущий папа заявил, что не хочет быть раввином, мать выставила его из дома. С тринадцати лет он жил самостоятельно, зарабатывая на жизнь уроками *русского языка* (подчеркиваю это!), а когда в 30-е годы началась обязательная украинизация, он давал и уроки украинского. У него были блестящие способности к языкам. И не только к языкам. В гимназию путь ему был закрыт (пятипроцентная норма для евреев), но он сдал экзамены экстерном. А потом окончил учительский институт. Помню, как в начале 30-х годов, когда началась сплошная коллективизация, под Ростовом (на станции с экзотическим названием «Верблюды») организовали институт механизации сельского хозяйства. Папа в тот момент был безработным, и брат моей мамы дядя Митя, который был заместителем наркома по сельскому хозяйству (в 37-ом его арестовали и расстреляли вместе с другими делегатами XVII съезда партии), предложил ему преподавать математику в этом институте. Хорошо помню, как дядя Митя спросил, изучал ли он высшую математику и сможет ли ее преподавать, и папа ответил, что если ему дадут пару месяцев на подготовку, то сможет. Помню, как папа читал лекции в палатке (я приезжала туда на каникулы) в тридцатиградусную жару, часть слушателей была в трусах. Когда он кончил курс, его так восторженно качали, что я дрожала, как бы его не уронили на землю. На курсах по подготовке в университет при киевском Доме офицеров, где он работал недолгое время после войны, было так же. Я тоже читала там небольшой курс, и это было единственное в моей жизни место, где я работала под фамилией мужа (чтобы не было «семейственности»).

Последнее место работы моего папы – книжный магазин на углу улиц Саксаганского и Красноармейской, где он заведовал букинистическим отделом. Моя дочка, которая очень любила деда, в один из своих приездов в Киев – уже после его смерти – заходила туда и взволнованно рассказывала, как тепло и благодарно вспоминали его там: как он помогал молодым продавщицам, учившимся в вечерней школе или в техникуме, решать задачи и писать сочинения, как объяснял теоремы, как рассказывал им содержание не прочитанных ими к экзамену книг, какая потрясающая память была у него, как он знал и любил книги, какой талантливый и яркий был человек.

Я в школе, когда в какой-то анкете спрашивалось: «Кто, по-твоему, самый умный человек?» – ответила: «Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин и мой папа». Сталин не входил в эту четверку не потому, что я пророчески разглядела или предчувствовала, что придет в нашу жизнь с ним, а просто в 20-е годы «культ личности» (во всяком случае на поверхности) еще не было. Запомнились мне январские дни 1924 года, когда по Крещатику мимо нашего дома долго шли толпы (в первое время после приезда в Киев, до покупки квартиры на Стрелецкой, мы жили на Крещатике 14), шли по направлению к Октябрьской площади и дальше – к Бессарабке, многие плакали: умер Ленин; плакала и мама, а папа был спокоен. Он говорил, что, вероятно, что-то теперь изменится, но с книгой (очередной, которой был увлечен) и в этот день надолго не расставался. Папа всегда жил не «над бытом», а скорее вне быта: когда мама бушевала из-за не положенной на место вещи, он не откладывал книгу; не мешал ей, когда она очищала его пиджак от табака (прямо на нем!), если при этом не отбиралась книга, – подобные попытки им мягко пресекались.

С нами папа был терпим, с раннего возраста относился к нам уважительно и доверчиво. Мама могла и шлепнуть, и накричать, папа – в принципе нет, но когда один раз (за всю жизнь!) он сильно отшлепал Геру – это было ошеломительно, но справедливо и запомнилось Гере и его товарищу на всю жизнь. Они тогда без спроса вскочили на телегу, проезжавшую мимо нашего дома, и заехали очень далеко, заночевали в какой-то

деревне, и Гера явился домой утром (ему не было еще и десяти лет), а родители всю ночь сходили с ума.

Характерно, что папа – в отличие от мамы! – никогда не «демонстрировал» детей: когда нас на детских именинах ставили на стулья, чтобы мы «выступали», Гера вырывался, убегал и прятался, и папа к этому относился с пониманием, а я отбивалась лишь для виду, чтобы поугovarивали, а потом с удовольствием декламировала, долго и выразительно. Мама восторгалась и радовалась вежливым похвалам гостей, а папа смотрел насмешливо. «Коронным» номером нашим были стишки собственного сочинения к юбилею (золотой свадьбе?) бабушки и дедушки:

Вашу радость разделяем,
Вас сердечно поздравляем.
Мы вас любим бесконечно
И любить вас будем вечно.

В тот раз, кажется, папа, вопреки своим принципам, помог нам в создании этого «шедевра». Этим опытом моя поэтическая деятельность началась... и завершилась.

У папы была потрясающая память. Лучшие, самые праздничные минуты общения с ним были, когда он читал нам вслух (особенно запомнились рассказы Шолом-Алейхема в его исполнении). А еще – стихи... Почти весь его репертуар я запоминала сразу и на всю жизнь: Пушкин, Есенин, Надсон, Некрасов... А как он подмигивал в сторону комнаты бабушки-дедушки, когда доходил (в романсе на стихи, кажется, Некрасова) до строчки: «И обидно покажется теще...»! Какое великолепное чувство юмора было у него и как он не щадил и себя! Такие дедушки необходимы в настоящей семье. И сколько раз я горевала, что папа не успел подружиться с Герой (моим сыном, своим внуком). Он успел только обнаружить у двухлетнего Геры математические способности...

Соседи «подстерегали» папу – когда он «вынырнет» из книги и станет доступен к общению, – чтобы получить необходимый совет на самые разные темы: от вопроса, как правильно «прочесть» подтекст очередной газетной статьи – «Не начинается ли опять что-нибудь такое?» – до просьбы о

«педагогических рекомендациях», а то и практической помощи, когда у их детей «хромал» какой-нибудь школьный предмет. Оживает в памяти колоритная сцена – заключительная сцена развода одной соседской пары, когда они пришли к папе как к «третьейскому судье» или «мудрому ребе». Речь шла о разделе имущества, и шумная супруга (родом из Одессы!) восклицала по поводу каждой вещи, на которую претендовала: «Вместе наживали!» – или: «Ради ребенка!» Папа же пытался решить их проблему «по-научному», математически, приводя аргументы из высшей математики, от которых они почтительно замолкали.

У мамы была в квартире другая функция – «мать всех скорбящих», по нежно-ироническому определению папы. Вот ситуация, очень характерная для мамы. Вернулись однажды все мы откуда-то поздно домой, а соседи говорят: «Проходите через наш коридорчик – вас обокрали, у вас милиция!» Наша Маруся была все время дома и спала на антресолях в кухне, ничего не слышала (по ее словам). На полу в коридоре – разбросанные вещи (кто-то из соседей услышал подозрительный шум и вызвал милицию – не все успели вынести). Кого подозревать? Неужели Марусю? – Нет, ни в коем случае! Милиционер, однако, сказал: «Мы ее заберем. Если не виновата, утром вернется!» Маруся и мама плачут. Мама собирает ей еду. Утром звонок: «Она призналась!» Оказалось, ей необходимо было сделать аборт (а в те годы абORTы были запрещены), и цыгане пообещали ей, что сделают, если она в условленное время откроет им дверь в коридор, а сама будет якобы крепко спать на антресолях. Но как догадался обо всем милиционер?! Он обратил внимание, что среди разбросанных на полу (не унесенных) вещей, среди всякой никому не нужной ерунды (галоши, старые скатерти) – несколько хороших летних шелковых платьев (моих). Маруся, как выяснилось, поставила им такое условие (и они его честно выполнили!) – чтобы оставили мои платья. Мы с ней дружили, она меня любила. Утром, после звонка из милиции, мама встала пораньше и понесла ей еду...

Вчера (4 апреля 1999 года) в телевизионной передаче о Юрии Визборе его друзья вспоминали, что на его похоронах был большой венок от соседей по коммунальной квартире. Их это

поразило. «Никто из нас с таким не сталкивался никогда прежде, – говорили они. – И вряд ли такое возможно еще с кем-нибудь». А мы с Линкой, не сговариваясь, сказали, что, если бы моих папу и маму хоронили не в Перми, а в Киеве, такое очень могло бы быть. Это подтверждают и письма соседок из их коммунальной квартиры, опечаленных смертью моей мамы.

Мой папа очень хорошо пел, помню это с раннего детства. У него – единственного в семье! – хороши были и слух, и голос. (Еще у Марьи Самойловны, моей свекрови.) А вот Лёву, когда он, «охмуряя» меня, иногда громко запевал на улице, я умоляла прекратить, а он с серьезным видом спрашивал: «Неужели тебе не нравится? А все находят, что я отлично пою!» Но в лодку с ним я соглашалась сесть только после того, как он клятвенно обещал мне, что не начнет громко петь, пока мы не окажемся подальше от берега, на середине Днепра...

По каким законам память поднимает из глубин, и удерживает, и упрямо несет через жизнь какую-то подробность, деталь, эмоцию, в которых годы спустя вдруг обнаруживаются черты времени? Если бы я сознавала тогда, что участвую в трагедии гражданской войны... Мы бежали ночью из какого-то пригорода, где уже бушевал еврейский погром, в Гомель. Ничего этого я тогда не понимала, но в памяти сохранилась фигура дедушки, точнее, прадедушки – очень высокого, с густыми седыми волосами. Ему было 92 года. Когда стало ясно, что погромщики приближаются к нашей улице, он приказал бросить тяжелые вещи и бежать (и это помогло «младшим» выйти из оцепенения). Меня – самую маленькую – он посадил на плечо, и я гордилась, что сижу выше всех и мне все видно.

Дедушке моему трудно было объясняться по-русски – вспомнилось вдруг, как он произносил «палцы» (без мягкого знака), а его дети, в том числе моя мама, свободно говорили на русском и на идиш – на последний часто переходили, когда говорили о чем-нибудь не предназначенном для моих и Гериных ушей. Дедушка с бабушкой были очень разными, но жили на редкость дружно: он никогда не называл ее по имени, только «тайринька» («дорогая» по-еврейски), даже когда сердился или был обижен на нее, если она смешивала посуду

«трефную» и «кошерную» или в дни пасхи нарушала запреты. В эти дни в доме не должно было быть ни крошки хлеба, только маца, а бабушка, заходя в нашу «детскую» комнату, могла «незаметно» откусить хлебца. Дедушка, увидев или заподозрив нарушение, хватал злополучную тарелку, вилку, рюмку и бежал к раввину, чтобы освятить молитвой. Бабушка была по сравнению с ним «вольнодумкой» и посмеивалась над таким педантизмом, а мы, отбившиеся от рук внуки, и вообще громко распевали:

Долой, долой монахов, раввинов и попов.
Мы на небо залезем – разгоним всех богов!

После этого, правда, я бежала домой и с аппетитом ела бабушкин очень вкусный пасхальный обед. И не видела в этом никакого противоречия! Дедушка был очень добрый, мягкий (не помню случая, чтобы он повысил голос), типичный джентльмен. Он очень смущал моих девочек, когда, провожая их до дверей, подавал пальто, и, если они приезжали ко мне в гости «издалека» (на городском транспорте), непременно провожал их до остановки и подсаживал на трамвай. При этом он иногда отступал от правил: в субботу «по закону» нельзя носить палку, без которой он не мог выходить (в ней было железо), но не проводить девочек (детей!) он не мог – это было бы нарушением нравственного закона.

Я никогда не была маменькиной дочкой, с раннего детства рвалась к самостоятельности, радостно осваивала все новое, активно лидировала. Вспоминаю, как в 5 – 6 лет участвовала в «гражданской жизни» двора (еще в Гомеле), в которой, как я понимаю сейчас, своеобразно отражалась идеологическая окрашенность всего нашего бытия. Спорили почему-то о происхождении человека. Старшие ребята задумывались об этом, читая книги, готовя уроки, слушая учителей, а мы, малыши-дошколята, воевали за компанию. Столкнулись два взгляда: 1) Человек произошел от обезьяны. 2) Человек возник из клетки. (Религиозные взгляды, если они и были у кого, в те времена не озвучивались.) И вот две партии «воевали» (кулаками, камнями, снежками), выкрикивая соответствующие

лозунги. Запомнилось, как «клеточники», когда они побеждали, забивали нас, «обезьянников», снежками, набивали снег за ворот – долго потом не проходило это ощущение тающего и стекающего по спине снега.

Хорошо помню день, когда мы прибыли в Киев (из Гомеля) – на Костельную 5, где в большой квартире жила семья дяди Симона, старшего брата мамы. У бабушки было шестеро детей. Симон, как старший и неплохо устроенный (образование он получил в Париже), опекал младших детей (братьев и сестер). И нам он прислал вызов в Киев и помог устроиться. Второго (по старшинству) своего дядю Элю я видела только на фотографии, где он с женой и двумя детьми снят возле собственной (это было для нас чем-то фантастическим, невообразимым, «из другой жизни»!) машины. Он уехал в Америку еще во время Первой мировой войны. Помню, как радовались каждой весточке от него бабушка и дедушка. В годы НЭПа он подбрасывал им понемногу долларов, на них в Торгсине покупались вкусности, которых не было в наших магазинах. Но ко второй половине 20-х годов НЭП закончился, и связи с Элей («родственником за границей») прервались.

Лиза, жена дяди Олега, яркая красавица, типичная одесситка, бойкая и смешливая, острая и резкая на язык, трудновато вписывалась в образ жизни и традиции нашей большой семьи, но когда Олег был арестован, Лиза за два года ни разу не съела и не выпила ничего из того, чего был лишен он, а когда его выпустили, она ночью прибежала к нам и плакала – и как плакала!

Два маминых брата были арестованы в 37-ом году. Митя был «в эшелонах власти», жил с семьей в «доме на набережной» – том самом, трифоновском, где внизу кинотеатр «Ударник». Моя подруга Рая Кун, с которой мы в зимние каникулы на 1-ом курсе ездили в Москву и заходили в гости к дяде Мите, была поражена и долго вспоминала этот дом, эту квартиру (контраст с киевскими нашими коммуналками был разительным). Но особенно поразил ее маленький Юрочка, сын дяди Мити (ему было тогда лет 6 – 7): «Маленький лорд Фаунтлерой!» –

восклицала она. Родителей не было дома, и он очень вежливо, «светски» принимал нас...

С годами разница в возрасте стерлась, и мы с моим кузеном Юрой Герчиковым подружились, встречались в каждый мой или наш с Лёвой приезд в Москву, однажды провели вместе в подмосковной Загорянке летний отпуск, и он многое рассказал...

Он учился в привилегированной школе вместе со многими «кремлевскими детьми», Светлана Аллилуева училась с ним в одном классе, они дружили всю жизнь. Однажды в детстве он был на ее дне рождения, и на короткое время к детям вышел «сам» Сталин. Он подзывал каждого ребенка к себе и спрашивал фамилию. На фамилию Юры («Герчиков») вождь живо отреагировал: «А-а, Герчиков! Помню». Вернувшись домой, Юра радостно и гордо закричал: «Папа! Товарищ Сталин тебя помнит!»... Незадолго до своей смерти – в 90-х годах, в конце XX века, – Юра рассказывал нам об этом и вспоминал, что Митя, вопреки его ожиданиям, совсем не обрадовался, а помрачнел и тихо сказал: «Очень жаль!» Это было вскоре после XVII съезда партии, где, как известно теперь, большинство делегатов проголосовало за Кирова (то есть против Сталина) и вскоре поплатилось за это. Впрочем, внезапный испуг Мити в тот момент мог быть вовсе не связан с чем-то конкретным (просто он знал, что лучше не быть «обозначенным» в памяти вождя) – теперь-то мы это понимаем. Это тогда, в 30-е годы, мы были столь наивны, что пытались, потрясенные арестом Мити, угадать причины...

Я вспоминала свое первое детское знакомство с дядей Митей: он тогда приехал в Киев, чтобы познакомить родителей со своей второй женой – красавицей Лялей Канель. Митя тогда приехал из Москвы, а Ляля – из Германии. Она ездила туда (и теперь возвращалась) вместе со своей матерью Александрой Юлиановной Канель и с Полиной Жемчужиной (женой Молотова) – Александра Юлиановна была врачом кремлевской больницы и домашним врачом в семье Молотова и Калинина. В тот раз она сопровождала Полину Жемчужину на рекомендованное той лечение в Германии, и эта поездка годы спустя дорого обошлась им всем, особенно – ее дочери, красавице Ляле, которую она взяла с собой «посмотреть мир».

Впрочем, нет никакой гарантии, что, не будь этой поездки, судьба Ляли и ее матери сложилась бы благополучнее.

В другой раз дядя Митя приезжал с Калининым – маленьким, худеньким, с острой бородкой. Про «дедушку Калинина – всесоюзного старосту» тогда слышали даже маленькие дети, и я гордилась, что прошла несколько шагов, держась за его руку, что он погладил меня по голове. Но и Митя гордился своей близостью к Калинин...

Митя погиб, а Олег был выпущен в 39-ом году. Олег ни словом не упоминал о своих «гулаговских» годах (во всяком случае, при мне), запомнилась только одна его горько многозначительная шутка. Лиза и Олег обедали у нас, и мама по старой привычке выбрала ему нежирное мясо (жирное не рекомендуется при язве желудка), а Олег сказал: «Моя язва за эти два года вылечилась!»

У Юры Герчикова – моего двоюродного брата – было тяжелое детство: арестованы и погибли родители. Его судьба могла бы сложиться еще тяжелее, если бы не муж Дины Канель, сестры Ляли (тоже арестованной в 37-ом и, слава Богу, вернувшейся в 54-ом). Адольф все эти годы верно и преданно ждал Дину и заботился о детях ее сестры. О трагической истории семьи Канель подробно рассказывается в книге М. Белкиной «Скрещение судеб»: Дина в Лубянской тюрьме оказалась в одной камере с Ариадной Эфрон, дочерью Марины Цветаевой, и они подружились на всю жизнь.

Юра стал известным архитектором и со временем (разумеется, после хрущевской оттепели и реабилитации родителей) занял довольно высокий пост. Но страшная память и страх (как у очень многих людей нашего поколения) жили на дне души. Как коверкало время характеры, судьбы, человеческие отношения! Об этом и сейчас (при всей «гласности» перестроечных времен) не сказано до конца. Не обнажено. Приспосабливаясь к системе, люди часто и лучшее в себе (а не только страх) погружали «на дно души», и шла в душах нелегкая борьба...

Мне очень запомнилось несколько встреч с Юрой в 70-ом году. Это было время подготовки к 100-летию со дня рождения

Ленина. Меня командировали в Москву на конференцию, посвященную этой дате. Нас, делегатов, расселили в гостинице «Россия», в большом зале которой проходила конференция. Выступление Шатрова, подробно рассказавшего, какие документы были положены в основу его драматургической Ленинианы, по тем временам было сенсационным, хотя сейчас понятно, что рассказал он, видимо, далеко не обо всех документах, с которыми познакомился... Хватало там и совсем дурацких выступлений – так, Катаева бичевали за повесть «Маленькая железная дверь в стене»: партийных аппаратчиков возмутила сцена, где Ленин в Париже проезжает на велосипеде мимо рынка, смотрит на проститутку – вот ужас! – и думает: «Не дочери ли это тех, кто создавал Парижскую Коммуну?»

Вечером ко мне в гостиницу зашел Юра, я поделилась впечатлениями, посмеялись. Заговорили о том, когда встретимся у Зори, нашего общего двоюродного брата, сына Симона. Юра сказал: «Завтра я, наверное, не смогу – у Светланы день рождения, надо поздравить. Вот только не знаю, вернулась ли она». Затем он набрал ее номер. Светлана Аллилуева тогда после смерти мужа поехала в Индию, чтобы похоронить его там по традиционному обряду и по его завещанию. Катя, дочь Светланы, ответила: «Мы ждем маму завтра». А на следующий день Юра, очень встревоженный, прибежал ко мне ранним утром и попросил подробнее (по возможности дословно!) вспомнить, как проходил его разговор с Катей, какие слова он произносил, не сказал ли чего-нибудь «двусмысленного». Оказалось, что буквально через час после их разговора Би-Би-Си передало, что Светлана Аллилуева, дочь Сталина, попросила политического убежища и остается в США. И понятно – в какой стране-то жили! – что разговоры прослушивались, и Юру охватила тревога... И все же их давняя школьная дружба выдержала испытания времени (точнее даже – «времен», как обозначено это в романах Ю. Трифонова). Уже в 80-е годы (до «перестройки», при Черненко) Светлана с родившейся в Америке и не знавшей ни слова по-русски дочкой Олей приехала в СССР и, прожив год, поняла свою ошибку, поняла, как плохо здесь ее дочери, никогда этой жизни не знавшей, и решила уехать обратно. Юра, если и испытывал прежнюю тревогу и страх за свое положение,

преодолеет, подавил это в себе и не отдалился от Светланы, поддержал ее в трудную минуту (один из немногих), – и с какой теплотой и благодарностью она вспоминает его доброе участие в своей «Книге для внуков» («Октябрь», 1991, № 6). Она не называет его имя, но все, знавшие Юру и знавшие об их дружбе, не могли не узнать его по описанию. Юра сказал ей: «Ты всегда была умницей. И все правильно решила»...

В романе В. Гроссмана «Жизнь и Судьба» меня очень взволновало место, где он говорит о том, что страшному сталинскому режиму все-таки не удалось разорвать простые семейные связи (дедушки и бабушки, внуки, родители и дети, любящие жены и мужья, братья и сестры, племянники) и это спасло народ от полного обесчеловечивания и одичания. Думаю о нашей большой семье. Вспоминаю, как Симон во время войны оказался «связующим звеном» между ближними и дальними родственниками, без него надолго бы потерявшими друг друга; он всю войну оставался на своей Палихе, 2 «А», отказался уезжать из Москвы, и по этому адресу шли письма от всех родных и друзей, часто не звавших адресов друг друга (всех ведь завертело в те «сороковые – роковые»), – с фронтов, из госпиталей, из эвакуации; через него и мы с Лёвой нашли друг друга: получив письмо Лёвы из госпиталя, Симон послал в Актюбинск, где была я с родителями, телеграмму: «Лёва жив!» – и его адрес, и ему сразу же протелеграфировал наш адрес.

Я нарушаю хронологию не только потому, что пришло время всерьез и диалектично сказать о стране, в которой мы росли, а потому, что пришло время прощаться с любимым братом Герой, и сразу – комок в горле, дрожит рука и на недели (даже месяцы!) откладывается эта тетрадь, и всплывают детали кровоточащие. И вновь снится тот же сон – как он разворачивает самолет, спасая машину и двух летчиков, а сам гибнет – задыхается... Но пока собираются мои силы для этого, всплывает еще груда «мелочей»...

Раннее детство. Первое мое соприкосновение с чудесами техники XX века – больше 70 лет отделяет меня от него, – но

этот миг, когда я с мамой вошла в открытую дверь какого-то маленького коридорчика (как показалось тогда), сделала еще шаг... и завопила! – пол под ногами зашевелился, и мы с мамой вдруг поехали вверх, – этот миг забываем! Это ощущение движущейся клетки, дверь которой сама закрылась – мне никто не объяснил, что такое лифт и как им пользоваться, – было пугающим. Это было в первый день нашего приезда в Киев.

После первых недель на улице Костельной мы какое-то время жили на Крещатике, напротив Почтамта, а потом переехали в квартиру в доме на Стрелецкой (угол Рейтарской), где прошли все мои детские годы (и начало студенческих), оттуда в 1925 году я пошла в 45-ую школу (она находилась на углу Пушкинской и бульвара Шевченко). Запомнились учителя младших классов – Алексей Николаевич, молодой, красивый, добрый, и Этя Николаевна. В старших классах очень запомнилась Анна Пантелеймоновна (мы прозвали ее «Панталоновна»), она преподавала литературу и, как теперь особенно понятно, вопреки духу времени прививала нам вкус к настоящей литературе. И к хорошему языку. Она приходила в ужас от слова «кушать» и внушала нам, что надо говорить «есть». Помню ее старомодные седые букли – она вся была из XIX века. С каким сочувствием и пониманием говорила она о Раневской из чеховского «Вишневого сада», о чеховских интеллигентах: «Их сейчас принято ругать, а ведь это были истинно культурные люди...» Догадывались ли мы тогда о подтексте ее слов?.. С ее уроков на всю жизнь запал в душу и память мою Шекспир. Сколько сочинений про Гамлета я тогда написала! Для половины класса, наверное... Самое интересное, что это даже и не очень скрывалось – во времена «бригадного метода» обучения я «выдавала» сочинения, а со мной «расплачивались» чертежами, решением задачек и т.п. Только сейчас понимаю, как грустно было Анне Пантелеймоновне от этого метода...

Она была одинока. Во время войны не имела возможности эвакуироваться, оставалась в Киеве. Очень нуждалась, но работать в школу при немцах не пошла – отказалась. Умерла до освобождения Киева (может быть, от голода). До нас после

войны дошли слухи, что перед смертью она завещала свои книги любимым ученикам, что вспоминала и меня...

В те годы обязательное образование было семилетним, но когда мы заканчивали 7-ой класс (в 32-ом году), в Киеве начали формировать восьмые классы (впервые в стране!), для начала всего в нескольких школах города, и наша 45-ая вошла в их число. Отбирали из всех школ самых способных, был большой конкурс, так что ребята собрались очень яркие. Четыре года наш класс был самым старшим, выпускным. И отношение к нему было особое, предоставлялось больше свободы, во многом с нами обращались как со взрослыми: парни открыто курили (девушкам тогда это просто не приходило в голову!) вместе с преподавателями. Я была для мальчишек-одноклассников «своим парнем»: они свободно говорили при мне о своих любовных похождениях, делились со мной своими переживаниями. Я считала тогда, что меня как девушку никто не воспринимает, школьных романов у меня не было, разве что моя первая любовь в 4-ом классе – увы, безответная: Сема Шифрин, который вылил чернила на мою тетрадь.

Первый поклонник появился у меня только после 9-го класса, когда я поехала в пионерский лагерь воспитательницей (!) и заработала – впервые в жизни! – 450 рублей, на которые купила красное пальто. Я с удовольствием носила его все студенческие годы, и когда Лёва начал ухаживать за мной и поджидал у входа в университет, высматривая в толпе, приятели дразнили его: «Ах, это красное пальто! – Не то!»

Приехала я в пионерский лагерь с направлением горкома комсомола, но мой юный вид сразу вызвал сомнения: «Отдыхать приехали?» – «Нет! Работать!» – «Кем?!» – «Воспитательницей». – «Ну-у? И в старшую группу пойдете?» – «Пойду!» И пошла. И гордилась завоеванным, как мне казалось, авторитетом. Добилась, чтобы называли по имени и отчеству и быстрее, чем в других группах, затихали после отбоя (правда, с условием, что я буду рассказывать – «сериями», как назвали бы это сейчас, – и рассказывала то из «Графа Монте-Кристо», то из «Трех

мушкетеров», а то и из «Женщины в белом»). Каково же было мое разочарование, когда коллега открыл мне глаза, разоблачив ребят. Во-первых, выяснилось, что старшие загоняли младших спать кулаками; во-вторых, он в темноте незаметно подвел меня к окну спальни мальчиков старшей группы, поднял на плечах повыше, и я услышала, с какой циничной откровенностью они говорили обо мне, разбирая по косточкам мои «статии». Я была потрясена и, не объясняя причины, попросила начальство перевести меня в группу помладше. Возможно, впрочем, что о причинах начальство догадывалось, да и с самого начала в направлении меня в старшую группу было полускрытое стремление сбить спесь... Но с младшими меня ожидало потрясение: мальчик из моего отряда сбежал из лагеря, была большая паника. Я чудом догнала его шагающим по рельсам в город, довольно уже далеко от лагеря...

Во всех этих переживаниях меня опекал и утешал тот самый коллега, что открыл мне глаза. Ему было 24 года, мне – 16. У него были синие глаза и черные брови. Он играл на гитаре и пел: «Да, бывают такие минуты, что на сердце ложатся, как ночь». Серьезно пел, без юмора. Он и предложение мне сделал серьезное – стать его женой, когда я окончу школу, он готов подождать. Подарил свою фотографию с трогательной надписью. С какой гордостью я осенью демонстрировала одноклассникам это доказательство влюбленности в меня взрослого человека! Этот роман закончился, когда герой прислал мне письмо... о ужас! – с грубыми грамматическими ошибками. Я и к своим ребятам придиралась, когда писали с ошибками, но у них это искупалось остроумием и живостью: Далька Кунявский однажды (он тогда болел и долго не приходил в школу) прислал мне через навещавших его ребят записку с предваряющими ее стихами (на самом деле Михаила Светлова, но тогда я поверила, что его собственными):

К моему смешному языку
Ты не будь жестока и придиричива –
Я ведь не профессор МГУ,
Я всего лишь скромный сын Бердичева.

Ну как тут было не простить!.. А с Юрой Перлиным мы в 9-ом классе поссорились и не разговаривали целых полтора года: шли из школы и заспорили, какой дорогой лучше идти – по Рейтарской или по Подвальной. Юра спросил этак высокомерно-снисходительно: «Хочешь, чтобы я тебя проводил?» А я, памятуя папино неизменное «девушка должна быть гордой» и задетая самоуверенностью Юры, ответила: «Да какая разница, бубнит кто-то над ухом или нет!» Он оскорбился, резко повернулся и ушел. И до окончания школы мы старательно демонстрировали безразличие. Помирились только на выпускном вечере, да и то не по инициативе кого-нибудь из нас: одноклассники настойчиво подталкивали нас друг к другу, а мы капризничали и сопротивлялись, как гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Сережка Спирт, мстя мне за то, что я в школьные годы была слишком «правильной», а он, по моим тогдашним суровым – сейчас, видимо, их назвали бы «ханжескими»! – взглядам, вел «развратный образ жизни», однажды, уже в студенческие годы, сочинил такое: «Там Фрадкина, кипя от злости, / Взирала на чужой успех. / И Кертман был ей только мостик / Для демонических утех... / Но Минчин был мой ученик, / И быстро он ее постиг». Вообще за нашим с Лёвой романом наблюдали не только добрые глаза. Девушки-исторички ревновали своих мальчиков к филологиям, и не без оснований: при переходе на 3-ий курс (в 37-м году!) в нашей компании было сыграно 7 свадеб, где женихи – историки, невесты – филологини.

Был у меня период, когда я увлекалась математикой, – ее вел тогда Чепиков, любимый нами и умевший поддерживать интерес. Когда он ушел, ему на смену пришел какой-то пошляк, пристававший к нам – десятиклассницам – с комплиментами и намеками. Ко мне он тоже приставал, и однажды мы с ребятами договорились. Он, вызвав меня к доске, подошел близко и начал «объясняться», внезапно «по сигналу» все замолчали, и стало все слышно. Каким хохотом взорвалась тишина! У меня пропал тогда всякий интерес к математике.

Химик Леонид Николаевич казался нам слишком требовательным и скучным, а после войны мы узнали, что он добровольно – с женой – пошел в Бабий Яр...

По-особому открылось, какой яркой была наша школа, в 1975 году, когда мы собрались через 40 лет после выпуска. Встретились мы в квартире Нюры Беккер, благодаря энергии и энтузиазму которой состоялась эта незабываемая встреча, на которую мы съехались в Киев из самых разных городов (Ленинграда, Перми, Кишинева). Нюра из-за тяжелой болезни не могла выходить из дома, но вела очень активный образ жизни: давала уроки химии и математики, и ее ученики успешно поступали в трудные вузы. Встрече нашей посвящен интересный альбом (с воспоминаниями, ответами на вопросы анкеты и т. д.).

Борис Погребинский – один из самых близких друзей Лёвы. О нем в стихах Лёвы 41 – 42-го годов: «...И когда говорил я, что «надо творить», / Ты, быть может, один надо мной не смеялся». И еще: «Где ты нынче, товарищ неласковый мой?» И в стихах, обращенных к Юлику: «Ты помнишь ночи в комнате моей? / Античный мир тогда почти нам снился... / Студенческие споры трех друзей / И мрачные гипотезы Бориса» (Борис все понял про страну раньше нас, горько посмеивался над нашим романтизмом – Лёва часто вспоминал его «мрачные гипотезы» годы спустя: и в начале «хрущевской оттепели», и читая «Архипелаг Гулаг»...). Юлик и Борис погибли в первые месяцы (а может быть, и в первые дни... – они служили в армии на самой границе, там их и застало страшное начало войны). Их жены не получили похоронок – «пропали без вести» называлось это тогда – и долго еще надеялись на чудо... Когда Лёва, тяжело раненный, в госпитале в Сталинграде писал обращенные к ним стихи, он не знал, что их уже нет в живых: «Настанет день... / Ты будешь ли со мной, / Мой старый друг и умный собеседник?» Лёве остро не хватало их «на всю оставшуюся жизнь». Я думала об этом, слушая очень хорошую песню (в телевизионном фильме по роману Веры Пановой «Спутники»): «На всю оставшуюся жизнь / Нам хватит горя и печали / О всех, кого мы потеряли...» Люся, жена Бориса, так рано оставшаяся одна, вырастила чудесную

дочку (Борис не успел увидеть ее). Мы всю жизнь дружили, и встречи с Лёвой и со мной в наши приезды в Киев всегда были для Люси по-особому важны: мы помнили ее рядом с Борисом, помнили их любовь... Много лет спустя, когда мы с Линой были в Израиле (по приглашению родственников) и встретились там с Ирой Погребинской, дочерью Бориса и Люси (Люси уже не было), она так сердечно, так по-родственному пригласила нас погостить в их доме, так уютно и свободно, именно подомашнему мы почувствовали себя в том дружном доме (Иры и Фимы – ее мужа, очень симпатичного, нежно любящего ее); их счастливая семья так радовала Люсю, душа которой была на всю жизнь ранена гибелью Бориса... Дети Иры и Фимы уже выросли и живут самостоятельно, старшего сына назвали Борисом.

1 мая 1937 года мы встретили на Владимирской Горке. Была большая веселая компания, гуляли всю ночь. Отмечали еще и возвращение Раиного двоюродного брата Макса из Испании. Говорить об этом не полагалось, но он все же кое-что рассказал Рае (а она – мне и Лёве) – что воевали они как французы, но «легенду» поддерживали с трудом и не слишком убедительно: выделялись российским аппетитом, маленькие французские булочки были им «на один зуб»; выдавал и акцент... С Лёвой Макс говорил (отстав на какое-то время от шумной компании) более откровенно и грустно – обо многом, что открылось ему там... Сказал, кивнув на наших ребят, громко певших что-то веселое: «А ведь скоро начнется война, и кто знает, многие ли из них останутся в живых...»

Праздник и горе шли рядом (об этом очень точно сказал Наум Коржавин: «Гуляли, целовались, жили-были... / А между тем, гнуся и урча, / Шли в ночь закрытые автомобили, / И дворников будили по ночам»). Был май, была любовь. И тогда же дошло известие об очередной «разоблаченной группе врагов народа» (в Москве), среди которых наш Митя. И маму сняли с работы (она была зубным врачом в военной части погранотряда), Зорю Герчикова отчислили из авиашколы. Только Геру почему-то не тронули (не успели? Хабаровск далеко – поэтому?).

1 сентября (в Лёвин день рождения) мы опоздали в ЗАГС, и чиновница не согласилась нас зарегистрировать, несмотря на все наши мольбы. Но дома нас ждали родители с праздничным обедом и несколько самых близких друзей – шумные свадьбы тогда не были приняты. Папа мой, пристально на нас взглянув, догадался и тихо сказал: «А ну-ка, покажите паспорта!» Пришлось сознаться... Расписываться мы пошли через несколько дней. Нам было по 20 лет.

Лёва отстоял нашу «материальную независимость» (родители сначала уговаривали подождать с женитьбой до окончания университета, потом – что они будут помогать, чтобы мы учились не отвлекаясь; Лёва отказался от обоих предложений). И потом долгие годы мы вспоминали, что «зажиточнее» всего жили студентами 4 – 5-го курсов: в шкафу всегда вино, шоколад, и был спекулянт, который подбрасывал модные тряпки. Установили в нашей компании правило: кому больше повезет на экзамене – попадется вопрос получше – ведет всех в кондитерскую кормить мороженым. (Поить в те годы у нас как-то не было принято, мы и на вечеринках пили немного – нам и без этого бывало весело!) Много было юмора. Зоря любил цитировать призыв, поразивший его на дверях бани: «Не лей кипяток под соседа!» Был клуб поэтов. Пародии их друг на друга, остроумные «подкалывания». Гриша Скульский был ярким человеком – мужественным и лиричным, остроумным, талантливым, верным дружбе и памяти. Чем-то напоминал он героев Ремарка, особенно после войны... В юности Гриша писал стихи, в зрелости стал прозаиком. Он прошел войну – всю, до конца. После войны жил в Таллине. Был известным писателем. Нас – киевлян – многое в его прозе волновало по-особому... После войны мы много лет не виделись, встретились впервые после молодости в 66-ом году, когда отдыхали недалеко от Таллина, в Пярну. У Гриши и Раи подрастали две дочки, младшая – сейчас известная журналистка и писательница Елена Скульская. После смерти Гриши (он умер в 88-ом, через несколько месяцев после моего Лёвы) она написала пронзительную мемуарную повесть об отце. Меня очень тронуло, что там много о друзьях юности Гриши, знакомых ей

лишь по рассказам отца. Так наша юность живет в памяти и наших детей...

А Густа пришла нам с Лёвой на помощь в очень трудное время – после войны, когда у нас родилась дочка и нам негде было жить (нашу квартиру в войну заняли). Когда я пришла туда незадолго до родов, женщина, занявшая квартиру, попросила разрешения прожить еще несколько дней. Я согласилась, а когда пришла снова, она встретила меня с топором и с угрозами, что, если я поселюсь в своей комнате, она обварит ребенка кипятком. Лёва тогда еще не приехал из Казани, и я не решилась. Так вот, Густа позвала и поселила у себя с орущей ночью Линкой. Мы жили несколько месяцев и съехали «тайком»: Густа и слышать об этом не хотела! – а мы боялись помешать им с Борей в период ухода за ним. Мало людей так самоотверженно выручали, я буду помнить это «по гроб жизни», как говорили в старину...

Но продолжу рассказ о нашей жизни в 37-ом году. Усилилось напряжение на Дальнем Востоке, куда Гера был направлен после окончания авиашколы. Было это в наш с Лёвой медовый месяц. Я все вспоминаю наш разговор с Герой в прощальную ночь. У него уже было направление в Хабаровск, и он говорил, что «летчики долго не живут» и неизвестно, встретимся ли мы скоро и встретимся ли вообще. Он имел в виду не только близящуюся войну, хотя, конечно, и ее, но чувство «впередсмотрящего», место которого – на передовой – было органично для него. И он внушал мне, что я должна быть готовой к ответственности за родителей. Так не хотелось тогда думать о страшном, не хотелось верить, и я отмахивалась, а теперь – тревожно и мучительно вспоминать это.

...Руки опустились. Ушел Гера. Но после этого прожито еще 60 лет – больше, чем жизнь. И в какой-то мере это мешает. Все же попробую вспомнить, как начинались весна и лето 37-го года. Мы с Лёвой обживали свою комнату. У нас часто собирались, заседала редколлегия нашей юмористической газеты, и когда после возвращения в Киев из эвакуации в 44-ом году я увидела на стенке в подъезде дома чудом сохранившееся с довоенных лет объявление краской – «4 мая в 4 часа состоится заседание «Парнасского Брадобрея», – пахло весельем тех

лет... А многие уже вернулись инвалидами (Юра Ивакин на костылях, наш Юзик без ноги), и многих, кто сочинял и кто веселился, читая, уже не было (в 44-ом мы еще не обо всех знали).

Летом 38-го года мы с Лёвой отправились в свадебное путешествие – это был «медовый месяц» с опозданием на год (для нас важно было самостоятельно собрать деньги на него, зарабатывали без отрыва от учебы публичными лекциями и репетиторством). Мы поплыли пароходом вниз по Днепру (маршрут Киев – Херсон – Одесса – Сочи). Многое из того путешествия стоит перед глазами... Рядом с нашим пароходом – испанский теплоход. Зашли на палубу – все как из сказки или из Грина. Все пропитано воздухом Испании, так волновавшим нас тогда... И капитан – тоже весь из сказки. Он гостеприимно водит нас по теплоходу, показывает и капитанский мостик, и каюты, и музыкальный салон – удивительно красивый, поразивший нас редким сочетанием голубизны и позолоты. Они с Лёвой говорят на английском, и он говорит (Лёва, конечно, переводит мне), что очень рад принимать у себя такую романтическую пару. В ту ночь мы так и не вернулись к себе на пароход и не легли спать. Нельзя, казалось нам, спать рядом с такой красотой, с таким редким великолепием. Утром расстались с капитаном друзьями.

От Одессы мы поплыли на очень комфортабельном теплоходе. Там был бассейн, где мужчины и женщины купались по расписанию в определенные часы (разные). Плавать я не умела (так никогда и не научилась), и когда, не зная, как устроен бассейн, я ступила за полосу, где дно резко пошло вниз, и погрузилась в воду с головой... – раздался оглушительный женский визг: в женскую кучу врезался мужчина в брюках и рубашке! Это был Лёва, который, как оказалось, неотступно курировал мое пребывание в бассейне. С этого момента мы стали центром внимания: где бы (на теплоходе) мы ни появились, за нами раздавалось: это тот самый муж, который прыгнул в бассейн! (Много лет спустя Лёва еще больше поразил народ и прославился на все лето и на весь пляж в Острове, когда моя уже очень немолодая мама поскользнулась, выходя из лодки. Это было в двух шагах от берега, там было мелко, но Лёва этого не знал и, не раздумывая, прыгнул в воду. Теперь за

ним раздавалось: «Это тот самый зять, который бросился спасать тещу!»).

На берегу мы «подсчитали – прослезились» (убедились, что денег явно не хватит на жизнь в Сочи и на обратный путь), но с Лёвой всегда было как за каменной стеной. Прежде всего он нашел комнату, потом сказал: «И без денег не пропадем!» – и пошел... в общество по распространению знаний. Договорился о чтении лекций – у нас уже был опыт. Лекции нас спасли. Лёва составил план знакомства с Сочи, в центре было посещение дендрария. Это – из рода самых ярких, самых трогательных впечатлений. Воздух, пропитанный запахом необыкновенных цветов, богатство красок, удивительная широта обзора, а над всем этим – любимый человек, который всю эту гармонию дарит тебе. И я благодарно преклонила колени и запомнила эти минуты на всю (такую огромную) оставшуюся жизнь.

...А путь домой был страшен. Тревожное предчувствие охватило. Всю дорогу в поезде я не находила себе места, не могла ни есть, ни спать. На вокзале нас встречал папа. Всю недолгую дорогу домой он отбивался от моих настойчивых вопросов о Гере, но вот мы уже приехали, входим в подъезд, поднимаемся по лестнице, звоним в дверь, я слышу шаги мамы, папе уже совсем некуда отступать, и за секунду до того, как открылась дверь, он сказал. Обнявшись с мамой, рыдаем. Тяжелая миссия выпала тогда папе: ему пришлось и мне, и маме сообщать страшную весть. Когда почтальон принес телеграмму о гибели Геры, дверь открыл он, прочел – и несколько дней не решался сказать маме. Молча нес в себе этот ужас. Смотрю сейчас на фотографию, с которой мама не расставалась: она у могильного холма. Мама тогда за несколько дней буквально выплакала глаза: почти потеряла зрение, уже не могла ни работать, ни читать, а потом потеряла сознание. И годы спустя меня не утешала мысль, что через 2 – 3 года, в большой войне, его бы не стало. А я так крепко сжимала зубы во сне – мне снилась гибель брата – что сломала два зуба...

Война коснулась каждого. У каждого свой опыт, своя память. Я много лет писала о литературе войны, сейчас хочу обратиться к собственному опыту. В июне 1941-го Лёва оказался

в Киеве (40-ой – 41-ый годы – до рокового дня – он после университета служил в армии, был призван на год: он сам предпочел этот вариант посещению военных занятий в студенческие годы). У него был острый гайморит, и была намечена рекомендованная операция. В воскресенье 22 июня, утром, я ехала навестить его в госпиталь. Помню переполненный трамвай, в котором я услышала о начале войны. В больнице все уже знали, и все, кроме тяжело больных, попросили о срочной выписке. Лёва был уже готов (не в больничной одежде) и только ждал меня. 25 июня я провожала его на фронт. Но до этого был один тяжелый ночной разговор – мы резко поспорили: Лёва говорил, очень велика вероятность, что Киев скоро будет взят и поэтому я с родителями должна уехать как можно скорее, не затягивая (речь шла о моих родителях, его родители и брат эвакуировались с заводом, где брат работал). Я была искренне возмущена таким «капитулянтским настроением»: я была тогда еще очень правоверной комсомолкой, верящей предвоенной пропаганде, даже песенкам типа «И врагу не сунуть рыло / В наш советский огород!» или «Наша поступь тверда, / И врагу никогда / Не гулять по республикам нашим...», а также тому, что война будет вестись на территории противника. Я гневно восклицала: «Как ты можешь даже мысль такую допускать, что Киев будет сдан?! Не может этого быть, не будет!» Я даже задумалась тревожно о «пропасти» между нами – такое глубокое расхождение во взглядах! Не прошло и месяца после этого спора, а мы с родителями уже в панике бежали из города... Но сначала расскажу о проводах Лёвы на фронт.

Мне казалось важным демонстрировать бодрость – «мы не сдаемся! Жизнь продолжается!» – по пути на вокзал я забежала в писчебумажный магазин (отстав на минутку от Лёвы и его родителей); тогда, видимо, Хаим Симхович и сказал тихо, чтобы не услышала Мария Самойловна, то, о чем он мне рассказал только годы спустя: «Лёвушка, на всякий случай пусть у тебя в кармане всегда будет записка – фамилия, имя и адреса, по которым можно написать...». А я ни о чем подобном не думала – я обрадовалась, что в писчебумажном магазине оказалась хорошая бумага, которую мы давно искали, и, догнав их, довольным голосом громко сообщила, что купила эту бумагу.

Выражения боли на лице Лёвы я тогда не заметила... (а он с горечью помнил эти минуты долгие годы, уже после войны). И сколько раз потом я казнила себя за это... В то страшное утро, когда долго глядела вслед ушедшему поезду – дачному, пригородному, такому мирному, – я начала что-то понимать. Хотя и продолжала демонстрировать бодрость: прямо с вокзала поехала сдавать экзамен (и гордилась этим! – «Война не нарушит наших планов!»). У меня шел первый год аспирантуры, и надо было сдавать древнерусскую литературу. Символично, что я тогда с энтузиазмом докладывала доценту Маслову о военной повести XV – XVIII веков (я и подумать не могла, что много лет после этой – только еще начинавшейся – войны я буду писать о стихах, повестях, романах, ей посвященных, что о ней будет писать еще много лет после ее окончания).

Все еще только начиналось. В университете полным ходом шла подготовка к эвакуации в Среднюю Азию, но мы с родителями долго (сравнительно долго – время тогда как-то «сжалось» и шло убыстренным темпом) не понимали, что отъезда не избежать. И только когда начались панические слухи, что немцы уже в Голосеевском лесу (совсем близко от Киева), мы бросились на пристань. Вещей взяли немного – не потому, что собирались в спешке (время на сборы еще было), а потому, что верили, что очень скоро вернемся обратно, что это не может быть надолго – немцев отобьют от города, и мы вернемся. Сейчас поражаюсь степени нашей наивности – даже папа говорил: «Маруся посторожит, не будем разрушать квартиру, – мы ведь ненадолго, переждем на другой стороне Днепра, пока отобьют, – и обратно!» В эту квартиру мы больше никогда не вернулись. Пропало все, что в ней осталось. У меня не сохранилось ни одной моей детской фотографии. Мама взяла фотографии и несколько писем Геры – то, с чем не расставалась никогда...

И вот – почти безнадежно штурмуем набитый до предела пароход. Мы поплыли в Кременчуг, рассчитывая перебиться там недолгое время – и назад. Пароход тронулся, но я еще не понимала, какой путь мы начинали... Я выяснила, где находится

библиотека, и отправилась туда. Запомнилось, что первая строчка в первой книге, которую я там открыла, была: «Нам нельзя раздельно умирать»... Так прошло дней 10 «мирной жизни» – бомбежки почти каждый день загоняли нас в вырытые ямы. Привыкли... Но однажды выстрелы послышались совсем близко, проехала колонна мотоциклов, мальчишки на улице закричали: «Немецкий десант высадился!» – а нам крикнули: «Прячьтесь куда-нибудь, они евреев расстреливают!» Мы вскочили, и мой первый рефлекс был – выброситься из окна, но дом-то был двухэтажный, и я стала командовать: завернуть в одеяло наиболее ценные и необходимые вещи. Мы сделали три свертка и выбежали с ними – до вокзала недалеко. Но навстречу нам бежали и кричали люди: «Вокзал горит!» Мы остановились в растерянности. И тут какой-то мальчишка лет 12-ти закричал нам: «Идите дальше! Там, за вокзалом, есть еще пути!» Бежим. А мальчишка взял у мамы ее узел (она задыхалась от бега и хотела бросить, мы с папой уговаривали не бросать: там зимнее пальто!) и изо всех сил бежал за нами. И забросил его в вагон, и бежал за поездом, махал нам рукой. Если бы не он, мы бы не спаслись.

Запомнилось, какая близость всех нас – чудом спасшихся – возникла в том вагоне. Ехали как одна семья. Чайник оказался только у кого-то одного – его пускали по кругу, и все пили. Когда раздавался шум самолета, все прижимались друг к другу и закрывали глаза детям (не только своим)...

Мы приехали в Актюбинск (как добирались туда – отдельная история). Мама вдруг категорически заявила, что больше никуда не поедет, с места не сдвинется, а местом этим была привокзальная площадь, где мы сидели в усталости и растерянности. Папа пытался ее переубедить – он считал, что надо доехать до Алма-Аты, или во всяком случае поближе к тем местам (в Среднюю Азию), – ведь мы остались без зимних вещей и почти без денег, а там хотя бы теплее (зимы в Актюбинске нам еще предстояло узнать), да и дешевле, и знакомые есть, и Киевский университет, наверное, уже в Алма-Ате. Но мама не поддавалась: после длительного путешествия в полутемном вагоне у нее (с ее ослабленным зрением) возникла

клаустрофобия, очень мучившая. Долгий горячий спор между родителями шел возле вокзала, и пока что нам негде было ночевать, а к вечеру сильно похолодало. Нам повезло: на нашу «троицу» обратил внимание дежурный по вокзалу, он нам очень помог – привел в Дом колхозника и договорился, чтобы нас пустили ночевать. Не забыть, с каким искренним сочувствием он смотрел на маму... Через несколько дней мы вынуждены были отсюда уйти, так ничего и не найдя и не решив. Шли по улице с чемоданом, купленным здесь на рынке, – наши киевские чемоданы были брошены в Кременчуге – и со свертком с постельным бельем. Мама и папа продолжали спорить. Тут мой взгляд упал на вывеску «Актюбинский учительский институт», и я вдруг сказала: «Вы здесь подождите, а я пойду устраиваться на работу!» Вхожу в кабинет ректора, представляюсь и прошу о работе. Слышу в ответ: «У нас нет вакантных ставок», – и удаляюсь. В коридоре ко мне подошел человек в гимнастерке с рукой в гипсе (раненный на фронте): «Что у вас случилось? Что вы здесь делаете?» Объясняю. «Вы комсомолка?» – «Да». – «А с кем вы здесь?» – «С родителями». – «А муж у вас есть?» – «На фронте». – «А справка об аспирантуре у вас есть?» – Показываю. – «А стаж?» – «Вела занятия на 1-ом курсе и по языку в школе для взрослых». – «Дайте ваши документы! Мы вас зачислим, если вы завтра же выедете со студентами в колхоз». – «Я готова, но не могу же я оставить родителей на улице». – «Сейчас созвонюсь!»... Так все и решилось. Несколько недель в колхозе на хлопке запомнились жуткой жарой, духотой, постоянной усталостью, но и светлое было – дружелюбные и доверительные отношения со студентками сложились. Одни тосковали по женихам, другие кокетничали с военными (из «выздоровливающих», которые тоже были посланы на хлопок).

Постепенно, казалось, привыкала к знойным дням и холодным ночам. В страшный день 22 сентября услышала в сводке по радио, что Киев пал. Мне очень сочувствовали (я одна здесь была киевлянкой), а я не могла заснуть, ходила по ночной степи и прощалась с Киевом... И убеждалась, уже не в первый раз, насколько Лёва прозорливее меня. О нем я давно ничего не знала, – казалось, что кончено все... Не в эти ли жуткие дни Лёва написал пронзительное: «По городу юности нашей / Немецкий

полковник идет...» Жить не хотелось. Только жалость к родителям еще держала. Но что-то во мне надорвалось, и через несколько дней я грохнулась без чувств – на поле, в разгар трудового дня. Солнечный удар. Меня отправили в город.

Надолго запомнилось короткое путешествие на вокзал на верблюде (лошадей не было, машин тем более). В поезде мест не было, я пристроилась на площадке между двумя вагонами. Ветерок приятно обдувал, это казалось спасением от жары. Но надвигалась ночь, а я была в легком летнем платье. Потом я узнала, что люди порой на этих площадках замерзали насмерть. Я бы тоже замерзла – снова спасла доброта незнакомых... Сперва подошла проводница и объяснила, какой мороз будет ночью. А у меня уже зуб на зуб не попадал от холода. Мой сосед по площадке был одет гораздо теплее меня и держал в руках узел с одеялом. Проводница сказала, чтобы он «поделился» со мной одеялом. Он не хотел, но она настояла и быстро закутала мне ноги. Подошли трое мужчин в железнодорожной форме – проводники. Сначала я испугалась: сейчас ссадят как безбилетницу. Но они сказали совсем не то, чего я боялась: «Здесь вы замёрзнете, мы вас можем взять в свое купе и довести до Актюбинска, только... – тут я испугалась – ...только мы иногда грубо выражаемся, когда играем в домино». Уфф! Взяли. И напоили горячим чаем, обогрели. С какой горячей благодарностью я с ними прощалась! «Будете в Актюбинске – обязательно заходите! Запишите адрес: Амангельды, 20». И они зашли однажды – меня, к сожалению, не было дома, но мама приняла их очень по-родственному, накормила обедом, что было тогда непросто – они знали это и смущенно отказывались, но мама настояла: «Вы же моей дочке жизнь спасли!»

...Примчалась я тогда домой, а навстречу мама в слезах: «Лёвушка жив! Пришла открытка от Симона». (А мы слышали – боясь думать, боясь даже друг с другом об этом говорить, – что весь их полк, который был очень близко от границы, погиб.) Открытка Симона пришла раньше, чем письмо от Лёвы. В ней было сказано, что Лёва в госпитале в Сталинграде. Ревем. Гадаем, какое ранение – руки? ноги? глаза? Потом вдруг опомнились: какое бы ни было ранение, главное – жив! Как мы

ждали письма от Лёвы! Оно пришло через несколько недель: когда выпишут – приедет!

Ждала я напряженно, но угадать день приезда было невозможно – поезда шли не по расписанию, иногда несколько дней не было ни одного... В тот день я была в институте, за мной прибежала хозяйская дочка (из той квартиры, где нас поселили, – хозяйка произносила вместо «эвакуированные» – «выковыренные»), прибежала, открыла дверь аудитории и закричала: «К вам муж приехал! С фронта!» Я помчалась, бегу через гору изо всех сил, задыхаюсь – и девчонка бежит за мной в том же темпе, ни на шаг не отставая. Спрашиваю: «А ты-то чего так мчишься?» – «Хочу увидеть, как вы встретитесь, как целоваться будете!» Добежали, врываюсь в дом: Лёва опирается на костыли, но стоит на ногах, мама изо всех сил усаживает его, но для него было очень важно встретить меня на ногах. Заросший, изможденный, в поношенной пилотке набекрень, без сапог (их «стянули», как и часы), в обмотках, в прохудившихся ботинках, но – на ногах!..

...Наговориться не можем, насыщен каждый час. Их госпиталь эвакуировали из Сталинграда в Астрахань (откуда он и приехал к нам в Актюбинск), когда немцы были уже совсем близко от города. Их отправили вниз по Волге парохомом, носилки с тяжело ранеными (не ходячими) поставили на палубе, и прямо над ними – очень низко – летали немецкие самолеты. Бомбили. В их парохом не попали, но это состояние беспомощности, когда нет возможности хоть что-то сделать, Лёва с ужасом вспоминал всю жизнь. И говорил, что в боях (даже в первом его бою) так страшно не было. Да еще в рукопашном! – Лёва испытал это один раз в жизни, и стихи Юлии Друниной поразили его совпадением с остро запомнившимся собственным ощущением: «Я только раз видала рукопашный, / Раз – наяву, и много раз во сне. / Кто говорит, что на войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне»... А я рассказывала обо всех наших приключениях, в том числе и о том, как добирались до Актюбинска. Об этом я здесь еще не рассказала... Давка возле касс была невообразимая, ни о каком соблюдении очереди и речи быть не могло. А мне нужно было

раздобыть не один, а три билета, да и с ними не было бы никакой гарантии попасть в поезд, тем более с родителями, – битва у дверей вагонов шла страшная. В конце концов лейтенант, довольно долго, видимо, наблюдавший за моими действиями, вдруг спросил – после пятой, кажется, попытки: «Ну и долго еще вы собираетесь таким «спортом» заниматься?!» – «А что делать?» – «Вижу, у вас, видно, нет практики и помощников нет?» – «Увы... Зато есть родители, которых надо вывезти». – «Попробую помочь». И помог. Договорился с двумя красноармейцами и, когда подошел поезд, быстро ворвался в вагон, открыл окно и по очереди принял на руки нас троих: я подтянулась сама, родителей подсаживали те красноармейцы. Проводникам он сказал, что мы его семья, и они не стали мешать лейтенанту и документы проверять не стали... В долгой дороге мы с ним о многом переговаривали: я рассказала, что муж на фронте, а мы с родителями вот – мечемся; он – о своей семье (показал фотографию жены с маленьким сыном), о том, что ему скоро снова на фронт... Был очень сдержан, даже застенчив, а до этого, на вокзале, в экстремальной ситуации, – решителен и уверен в себе. Прощаясь на вокзале в Актюбинске – ему надо было срочно в военкомат отметиться, – мы договорились встретиться вечером на привокзальной площади – он хотел узнать, как мы устроимся и, может быть, помочь найти жилье, если ничего не найдем до этого. Я – узнать, как его дела, что ему скажут в военкомате, скоро ли на фронт. Мама говорила, что в благодарность за все, что он для нас сделал, мы должны проводить его, чтобы ему было не так одиноко. Вечером я приходила на условленное место и долго ждала – он не пришел. Больше я его никогда не видела... Лёва слушал и все понимал – даже то, что осталось тогда в глубоком подтексте... Я тоже в его рассказах всегда понимала такое...

Да, – у нас в дороге была неожиданная волнующая встреча с киевлянами. Мы в растерянности сидели на привокзальной площади в Полтаве, после того как всех неожиданно ссадили, и вдруг проходящий мимо пожилой мужчина останавливается: «Сарра! Откуда вы и куда?» – со слезами обнялся с моими родителями: они были большими друзьями. Глауберзон –

известный в Киеве детский врач, после войны он не раз лечил мою дочку, родившуюся в 44-ом... «Где остановились?» – «Да вот негде! Придется ночевать на площади». – «Пойдемте к нам! Попробуем уговорить хозяйку, которая нас пустила. Может, пустит и вас ненадолго». Хозяйка говорит: «Но ведь в комнате занято все, до последнего стула». И тут Тамара, дочка Глауберзона, тогда только что кончившая школу, говорит: «А мы устроимся все на одной постели!» Так и легли – 6 человек – поперек кровати, по 3 головы на одной подушке. И спали крепко!

Вообще такие неожиданные – самые потрясающие иной раз! – встречи случались во время войны чаще, чем можно было бы предположить. В литературе о войне такое почти всегда кажется искусственным, придуманным авторами «в художественных целях»: даже в «Войне и мире» случайная встреча князя Андрея и Пьера в вечер перед Бородинской битвой кажется необходимой Льву Николаевичу условностью, о которой, правда, быстро забываешь и веришь. Но живая жизнь порой сильнее любой литературы... Так встретились мои одноклассники по 45-ой киевской школе Юра Перлин и Даля Кунявский. Юра после ареста отца – профессора Перлина, талантливого филолога, яркого лектора, на лекции которого в киевском университете сбегались студенты других факультетов и даже других вузов, – был выслан в 37-ом году вместе с матерью из Киева и несколько лет не видел никого из своей «прошлой жизни». Воевал он под Москвой и осенью 41-го года был послан туда в командировку. Ночная бомбежка загнала его на станцию метро. У Юры, по его словам, глаза слипались и голова с плеч валилась от усталости, но вздремнуть в уголке никак не получалось – приходилось то и дело вскакивать и уступать место то женщине с ребенком, то старику или старушке, то инвалиду. Наконец Юра настроился хоть немного расслабиться, и тут с досадой видит – в конце зала большой станции метро появляется высокий военный. Неужели ему – рядовому – снова придется уступать место? Майор приближается, и Юра узнает Дальку. И кричит вслед: «Товарищ майор, я вам место уступать не буду!» Далька обернулся и...

всплеснул руками: «Юрка, это ты?!» После войны я слышала эту историю от них обоих.

В Актюбинске Лёва пробыл недолго, но и за эти короткие недели случилось немало волнующего. Нас предупреждали об опасностях местных буранов: сын хозяйки так и пропал, по ее словам, – пошел к колодцу за водой и не вернулся. Закружил буран, он заблудился, и его нашли замерзшего совсем недалеко от дома. Я не раз напоминала Лёве об этом, всячески предостерегая, а сама так каждый раз торопилась домой – к нему, что забывала об опасностях. И однажды помчалась через гору домой, не замечая, как резко стала меняться погода, и попала в самый эпицентр начавшегося бурана: внезапно – густая темнота, страшный, с ног сбивающий порыв ветра, шатает, ничего не вижу, холод обжигающий. Совсем не знала, где иду, думала, что еще нахожусь на горе, и вдруг в крошечной тьме, совсем рядом, в шаге от меня, – свет и распахнутая дверь нашего дома! И на пороге – Лёва, рвущийся – на костылях! – идти искать меня, и мама, отчаянно вцепившаяся в него и не пускающая. Как вовремя я появилась! Какое-то чудо спасло тогда нас обоих – страшно подумать, что было бы, если бы Лёва вырвался на улицу! Годы спустя, читая своим детям пушкинские описания метели (в «Метели» и – особенно! – в «Капитанской дочке»), я всегда вспоминала тот буран...

Помню, как я волновалась, когда шли с ним в военкомат на переосвидетельствование. Отпуск по ранению продлили на два месяца (вся его тяжесть выявилась позднее, уже в Казани, и тогда его «комиссовали», как называли это солдаты в годы войны), и Лёва начал оформлять документы для поездки в Казань, к родителям. Предполагалось, что он вернется в Актюбинск – уже была договоренность, что он будет преподавать в Актюбинском учительском институте, где я работала (там был и исторический факультет). В Казань он собирался всего на неделю, но все обернулось по-другому: в Казань был эвакуирован Институт истории (Академии Наук) СССР, в котором – Евгений Викторович Тарле. Лёва хорошо знал его работы, был увлечен ими – и рванул. Попросил принять его и уделить минут 20, но они проговорили часа два, и

Тарле хорошо запомнил эту встречу с «мальчиком на костылях». Они тогда многое обсудили – интересно было обоим! Евгений Викторович даже заглянул в его курсовую работу (кажется, о Берке, – награжденную ста рублями, очень нас порадовавшими на 2-ом курсе; ее бережно сохранили родители Лёвы, всегда гордившиеся его способностями) – и оценил аналитичность и самостоятельность подходов и выводов. Он пригласил Лёву к себе в аспирантуру. Это было большой честью, волнующим событием, но принять решение было непросто: Лёва не хотел после всего пережитого снова расставаться. И вот я получаю письмо от Лёвы – он предлагал мне принять решение, писал, что если я не захочу оставить относительно налаженную жизнь в Актюбинске (работа, жилье), побоюсь после всех наших «железнодорожных мытарств» снова с родителями сорваться с места, он готов отказаться от этого варианта (при всей его ценности и соблазнительности) и вернуться в Актюбинск, как договаривались до встречи его с Тарле. Я сразу поняла, что от такого отказываться нельзя, и стала думать о технической стороне вопроса – как сделать, чтобы меня отпустили из Актюбинского института (во время войны это было не так просто). В конце концов меня отпустили и даже дали хорошую характеристику для устройства в Казани. Мы запаковали вещи и отправились. В Казани я нетерпеливо бросилась к выходу из вагона в надежде увидеть Лёву на перроне (хотя откуда он мог знать, когда поезд прибудет, – об этом я не подумала). Не увидела, и мы с папой побежали в разные стороны перрона, чтобы найти его и не разминуться, а маму оставили сторожить вещи. Возвращаемся – на месте только валенки, остальное – «было». А в этом остальном – все наше «богатство». Прошло всего несколько минут, и – ни следа. Я даже (неожиданно для себя) разревелась: там и труакар (модный наряд, привезенный мне Лёвой в 40-ом году из Львова, после присоединения – пресловутого «освобождения» Западной Украины), и зимнее пальто, и вещи родителей. И платьев не осталось! Правда, Марья Самойловна (мать Лёвы) сразу же подарила мне отрез шерсти на платье (подаренный нами ей ко дню рождения, к 5 мая, последнему перед войной). Так и было у меня в Казани одно платье и одна летняя кофточка с юбкой, но меня научили по-

разному пришивать воротничок, и создавалось впечатление, что много разных нарядов, и девочки-студентки говорили: «Как Сарра Яковлевна хорошо одевается!» А весь «секрет» (как сейчас понимаю) – 25 лет! Но до работы моей в университете было еще далеко. А хлебные карточки нужны сегодня, и я пошла воспитательницей в среднюю группу детсада. С детьми мы очень дружили – они ревели, когда я уходила, я вспоминала для них игры своего детства, им это нравилось, но главное – у других воспитательниц они не получали добавок каши и супа: те относили их своим детям.

Когда я подала в детском саду заявление об уходе (в сентябре надо было начинать читать курс в университете), заведующая спросила: «В школу уходите работать?» – «Нет, в университет!» Немая сцена. Из детсада в университет – путь нетривиальный...

Лёва в Казани работал «многостаночно»: кроме занятий в университете, вел 10-ый класс в школе, писал кандидатскую диссертацию (защита состоялась там же, в Казани), читал публичные лекции в самых разных аудиториях (однажды я услышала: «Вот сейчас послушаем Кертмана, когда кончится война», – так доверяли его прогнозам!). Особенно часто он читал в драмтеатре по ночам, после спектаклей. Артистки сходили с ума: молодой, красивый, уже не на костылях, а опирающийся на палку, чуть прихрамывающий, что придавало мужественности и романтизма. Успех он имел неизменно... Зато в 9-ом запасном авиаполку самыми частыми (потому что приглашали чаще других!) и самыми посещаемыми были лекции по литературе С.Я. Фрадкиной! Этот успех был закреплен... на танцах в Доме Красной Армии, куда мы ходили по субботам. С этими слушателями можно было покапризничать: однажды они попросили о совсем внеплановой для меня лекции, долго уговаривали, я отказывалась – и наконец: «Только если на самолете полететь на лекцию!» Думала, что на этом разговор закончится, но один летчик вдруг сказал: «Попробую!» И прилетел за мной на самолете со словами: «Карета подана!» Полетели. Он демонстрировал (по моей просьбе – впрочем, удивившись ей и спросив: «Не испугаетесь?»), – на что я – гордо: «Ну что вы!») «мертвую петлю» и другие приемы – на

«кукурузнике»! Сейчас мне самой трудно поверить, что не боялась и прекрасно перенесла, что было время, когда я не знала, что такое слабый вестибулярный аппарат, не говоря уж о других болезнях. И это при том питании! Но – 25 лет!

...На «банкет» после защиты Лёвой диссертации купили на рынке буханку хлеба за 200 рублей, Марья Самойловна разрезала ее на тоненькие «листки» и приготовила фаршированную рыбу. Больше на столе ничего не было, и все было сметено за полчаса. Но защита прошла блистательно, и на «банкете» было весело. Вскоре после защиты Лёва принес муку, масло и яйца. Когда он торжественно выложил все это, я испугалась, а это был его первый кандидатский паек! Мы затопили печь, и Лёва, смешав муку с водой, гордо пек на сковородке блины. Сколько радости было... Похожее «потрясение» было, когда из авиачасти мне привезли мешок картошки. Мы решили, что этого нам хватит на всю зиму, и «шиковали» – делали обед из трех блюд: 1) картофельный суп; 2) картофельное пюре; 3) картофельные оладьи. Хватило на неделю!

Когда осенью 1943 года освободили Киев, на площади в Казани собралась вся киевская «колония». Мы на радостях обтанцевали всю площадь...

И вот тогда мы решили – пора рожать! Но дочь (Лёва почему-то был уверен, что нашим первым ребенком будет дочь) должна была быть киевлянкой. И я рассчиталась с университетом и пединститутом и вернулась в Киев с родителями. Лёва приехал позже.

Все было непросто, но было выполнено...¹

* * *

¹ На этом последовательные – более или менее – записи обрываются. Дальше отрывки (прим. Л.Л. Кертман).

1999 год. Москва (у Геры). Сегодня – 53 года с моей защиты диссертации (5 июня 46 года). В обычный день иногда врывается гул истории, и он становится значительным не только для меня.

Однажды на пляже в Остре ко мне подошли две женщины и, удостоверившись, что я – Сарра Фрадкина, заявили: «Вы нас не знаете, но мы знаем о Вас, слышали и запомнили на всю жизнь». Я решила, что это кто-то из бывших киевских студентов (не обязательно филологов – я тогда очень увлеченно читала курс советской литературы, и мне говорили, что на лекции приходили даже «технари»). «Нет, – сказали молодые женщины, – мы вспомнили нашумевшее на весь город собрание, где вам организовали травлю, а вы блистательно отбивались. Для нас это было школой гражданского мужества, это передается следующим поколениям». И они взволнованно, перебивая друг друга, стали вспоминать, как у студентов старались извлечь конспекты моих лекций, а они не давали, как, когда руководители «действия» пытались меня прервать, из зала, где было тысячи полторы студентов, неслось: не мешайте говорить! И какую овацию мне устроили после выступления, и как организаторам собрания не удалось «выбить» резолюцию, клеймящую «космополита Фрадкину» (не проголосовали)... И все это как будто было вчера (а я уже лет 8 работала в Перми, и они были не из поколения моих студентов – слышали все это от очевидцев). Они даже процитировали запомнившиеся им фразы из «обличающих» меня выступлений: «Когда я читала главы из диссертации Фрадкиной о влиянии Чехова на английскую литературу 1920-х годов, мне казалось, что я слышу гнусавый голос “БИ-БИ-СИ”», – так декламировала доцент Крутикова, которая на защите этой самой диссертации произносила хвалебные речи. И далее: «Фрадкина ищет чеховские традиции в декадентской зарубежной литературе, враждебной нам. Нам надо избавиться от таких преподавателей, проповедующих безыдейность, понять истинное место Чехова, не унижая его сопоставлениями с декадентами». И еще о том, что так мыслить могут только «безродные космополиты», не способные любить родную литературу... Было дико и больно слышать такое – мало я тогда еще понимала... – я в той своей «исторической речи»

сказала ведь и что-то в духе: «Партия этого не допустит!» А Лёва в своих стихах военных лет писал: «Нет, я верну тебя! / Мы снова обретем потерянное небо Украины...» И вот – в мирной жизни мы снова потеряли его...

В Перми (Молотове сначала) мы еще долго оставались киевлянами. В Киеве я шила себе платья и пальто. Родители оставались там. Обильная переписка с киевлянами – и с теми немногими из друзей, кто оставался там, и с «безродными космополитами», разбросанными по стране. Летом на дачу с детьми много лет ездили под Киев, задолго до лета в переписке с друзьями начинали обсуждать летние планы – старались «совпасть», часто получалось. Звонковое, Ирпень, Казновка, Остёр... К Остру «прикипели» и стали ездить только туда. Ездили весело, хоть и хлопотливо, особенно в первые годы. И были веселые переправы на пароме, и дачные романы...

Но жизнь была прекрасна.

ДОКУМЕНТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

1. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

АНКЕТА¹

1. Твои первые впечатления от школы? ²

– Добрый Алексей Николаевич, который согласился, вняв мольбам мамы, принять меня в свой 1 «Б» в середине года, когда мне, наконец, исполнилось 8 лет.

Дуся Глазберг с роскошным бантом и в бархатной юбочке, делающая реверанс при встрече с учителями.

¹ Из ответов С.Я. Фрадкиной на анкету выпускника 1935 года школы № 45 г. Киева. Встреча проходила в 1975 г., в 40-летие выпуска (прим. Л.Л. Кертман).

² См. также комментарии к анкете, сделанные Л.Л. Кертман (прим. ред.).

2. Твое самое яркое воспоминание о первых годах учебы?

– На всю жизнь запомнила, как замерло и затрепетало мое сердце, когда Сема Шифрин – моя первая и, разумеется, безответная любовь – перевернул чернильницу на мою тетрадь.

3. Вспомни смешное и грустное.

– Самое смешное – как Миша Лерман, обогащая астрономию, раскрашивал скромные звезды во все цвета радуги, и как мы поссорились (на 1,5 года) с Юрой Перлиным, не сумев решить «принципиальную» проблему – по Подвальной или Рейтарской нам следует шествовать домой, и как нас мирили на выпускном вечере, подталкивая друг к другу, а мы упирались, как гоголевские Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Трагично было наше с Дусей Глазберг купание под занавес коллективного «сбегания» на пляж в 7-ом классе (с географии, кажется). Я была связана словом, данным отцу, – не купаться в мае. Но соблазн меня одолел – и я ринулась. Дуся – со мной. Попали в яму, она бултыхнулась удачнее, а меня вытащили уже успевшей проститься с жизнью. Я не сразу пришла в себя и с тех пор плавать не научилась (страх одолевает, едва перестаю чувствовать дно, что немало веселых минут принесло моим детям).

4. Был ли среди твоих товарищей кто-либо, кому ты хотел бы подражать?

– В 10-ом классе мечтала бы подражать неотразимой Надежде Загорской, но это было настолько выше моих возможностей...

5. Что ты помнишь о дальтон-плане и бригадном методе?

– Дальтон-план был до нас. Благодаря бригадному методу сохранила девственную неосведомленность в химии, не выполнила, кажется, ни одного чертежа, зато сочинения научилась писать одновременно двумя руками.

6. Что ты помнишь о наших поездках на село, работе на музфабрике, в мастерских?

– На селе – как на нас спускали собак, когда мы вербовали не учившихся в школу. На музыкальной фабрике помню деки и

прочие милые политехнические премудрости. В мастерской – как выключила станок, захвативший руку Дуси Глазберг (до сих пор счастлива, что не растерялась и схватила раньше рубильник, а потом – ее руку).

7. Твоя жизнь между школой и войной.

– Кончила филфак КГУ в 1940 г., затем аспирантуру там же, с перерывом на войну. Вышла замуж в 1937 г.

8. Твоя память о первом и о последнем дне войны.

– Войну я встретила в Киеве, в аспирантуре КГУ, с родителями. Муж, отбывавший после университета службу в рядах РККА, находился в военном госпитале, и на 23 июня 1941 года ему была назначена операция по поводу гайморита; 22 июня я отправилась его навестить, в трамвае услышала: «Война!» – и, добравшись до него, узнала, что он уже отказался от операции, выписывается, и через пару дней я его проводила на фронт.

Закончила войну тоже в Киеве, куда вернулась из эвакуации в апреле 1944 г., чтобы дочь моя родилась киевлянкой. Эту-то, тогда уже почти 10-месячную дочь, я и бросила на руки бабушке, услышав на улице поздно вечером выстрелы и крики «Победа! Война кончилась!» Целую ночь мы с мужем и друзьями ходили по Киеву... Немного было в нашей жизни таких переполненных эмоциями ночей.

9. Насколько твоя профессия соответствует тому, о чем ты думал в школе?

– Не очень. Ведь после 7-го класса я подавала в механический техникум, после 9-го – устремила на исторический.

10. Твоя семья?

– Муж – историк (стаж брака – 39 лет), дочь – филолог (32 года), сын – историк (22 года). Считаю семью свою вариантом оптимальным, учитывая судьбы семьи и брака, заслуживающих специальной обстоятельной монографии.

11. Твое хобби?

– Хорошие спектакли, хорошие стихи, интересные люди. На хобби в точном смысле слова времени – увы! – «не хвата»...

12. Школьные привычки?

– Болтливость, высказывание с целью самоутверждения (попробуй не орать среди звезд 45-ой, чтоб тебя хоть чуточку услышали), тяга к острословию и т.п. – вещи не самого изысканного вкуса.

13. Ворчишь ли ты, а если ворчишь, то осознаешь или нет?

– Увы, бывает (бедные дети! и кафедры!), но, конечно же, осознаю и числюсь вне ворчливых.

14. «Яблоко от яблони...»: твои дети и ты?

– Дочь – добрее и тоньше, сын – умнее и справедливее. Оба – талантливые. Впрочем, так и надо.

15. Рассказываешь ли ты своим детям о нашей школьной жизни?

– Еще бы!

КОММЕНТАРИЙ Л.Л. КЕРТМАН

О маминой 45-ой школе я слышала с раннего детства, многие эпизоды помню из ее давних рассказов. Я любила эти истории и с удовольствием слушала их не по одному разу, любила школьных друзей мамы – сначала «заочно», а потом и узнавая их «очно» – сразу как давних знакомых; с некоторыми у меня были интересные доверительные беседы. С Юрой Перлиным – физиком, крупным ученым, профессором Кишиневского университета Юрием Евгеньевичем Перлиным – мне всегда было особенно интересно, его я помню с младенчества, так как он очень подружился с моим отцом и дружба продолжалась семьями. Тепло встречалась я и с Дусей Глазберг, и с Нюрой Беккер, с Асей Колчинской. Я их всех – на поколение старших – долго воспринимала как молодых людей и, честно говоря, отцеств многих не знаю до сих пор.

Из разговоров с «дядей Юрой» – мне было 14 – 15 лет – очень запомнилось: «Я вообще считаю себя однолюбом: всех своих женщин помню и люблю»; и еще – его рассказ о встрече со своей первой любовью: кажется, это была девочка из параллельного класса, любовь в школе и несколько лет потом

была безответной, он страдал и остро помнил это, и вот – взрослые годы, и неожиданная встреча в Ленинграде, и он чувствует, что сейчас вполне мог бы состояться роман, но... «Понимаешь, Линка, я, как ты догадываешься, не ханжа, и хороша она была по-прежнему, даже еще красивее стала с годами, но... сам себе удивлялся, а тормоза какие-то сработали – первая любовь все-таки, и столько лет сидел у меня этот гвоздь в сердце, и я решил – пусть он и дальше «сидит» во мне, а взрослый роман – еще один! – с ней мне не нужен».

А Ася Колчинская вспоминала интересные уроки обществоведения, когда они по рядам делились на «большевиков» и «меньшевиков», отстаивали платформы Троцкого, Бухарина, Шляпникова, яростно и увлеченно дискутировали – такой был у учительницы творческий подход... Я все это «очень слушала» (люблю это выражение в романах Достоевского!), и эта равнодушная «посвященность» дает мне право уточнить мамины ответы, добавить то, что считаю важным.

Об эпизоде на пляже с Дусей Глазберг, когда они чуть не утонули, – помню из рассказов мамы ее последнюю мысль: «Какой ужас! Теперь папа узнает, что я не сдержала слово!»

Об учительнице литературы Анне Пантелеймоновне (которую «непочтительные дети» прозвали «Панталоновной») мама рассказывала очень много: вспоминала, с каким не полагающимся в те годы сочувствием и явным пониманием их «изнутри» говорила та о чеховских Раневской и Гаеве... Она была одинока и одиноко умерла в Киеве во время войны (эвакуироваться не смогла – не было сил и некому было помочь, но работать – преподавать – при немцах отказалась и голодала), перед смертью завещала свои книги любимым ученикам, маме в том числе, мама потрясенно узнала об этом, вернувшись в Киев после войны.

Ася Колчинская – фантастическая женщина! Профессор-биолог, крупный ученый, она изучала изменения давления (и другие изменения в организме) на большой высоте и под водой и сама взбиралась на высокие горы и спускалась под воду с аквалангом, была очень спортивной и держалась на этом уровне до 70 лет и после.

Еще о 45-ой школе. В последний раз (в последний – с мамой) мы приезжали в Киев в 1996 году, когда маме было уже 79 лет. Это был почти сознательно «прощальный» приезд ее в родной город. Мы остановились у родственницы (двоюродной сестры папы), к ней зашла соседка – незнакомая нам пожилая женщина, – взглянула на маму... и воскликнула: «Боже мой! Неужели это Сарра Фрадкина?!» – и в ответ на недоуменный взгляд: «Ну, вы же учились в 45-ой школе, разве нет?! Ну вот, я же вижу! Вы-то меня, конечно, не помните, младших всегда не помнят – я была в 6-ом классе, – а мы вас всех знали! Тем более у вас такой класс был, такие все умные, интересные, такие мальчики»...

Поэтому мне очень захотелось, чтобы здесь прозвучали, кроме маминых ответов на анкету, голоса ее одноклассников – дорогих ей людей. Правда, возникает одна трудность: ответы анонимны. В предисловии к альбому сказано: «Мы долго думали, делать эти воспоминания персональными или обезличенными – и остановились на последнем. Пусть они характеризуют нас всех, нас вместе, ведь, как учил старый, мудрый Балу маленького Маугли, – «Мы одной крови, я и ты».

АЛЬБОМ ВЫПУСКНИКОВ

Из предисловия редакторов альбома

В 1935 г. 22 девушки и 26 юношей закончили 10 класс. А сегодня нам уже 60 лет. И можно подвести предварительные (мы надеемся – сугубо предварительные!) итоги. Среди нас оказалось 70 % «физиков» и 30 % «лириков». Деление это более чем условно, так как внутри мы почти все были чистой воды лириками. Итак, мы стали:

- 18 – инженерами и конструкторами;
- 14 – преподавателями;
- 5 – врачами;
- 4 – профессиональными военными;
- 3 – работниками искусств.

Среди нас есть 2 члена-корреспондента Академии наук, 5 докторов всяческих наук, 5 кандидатов, остальные – нормальные люди, но все с высшим образованием.

Мы народили 37 детей, а они 26 внуков (внучек). С детьми, видимо, мы закончили, а по внукам и внучкам есть еще резервы. Живем мы в 8 городах нашей страны: в Киеве – 17 человек, в Москве – 2, в Минске – 2, в Львове – 1, в Перми – 2, в Свердловске – 1, в Кишиневе – 1, в Ленинграде – 3.

Максимальное расстояние между нами составляет 2250 км. по прямой (Киев – Свердловск), а минимальное – два соседних дома на одной улице в Киеве (Соня Быкова – Миша Дейген).

На нашу молодость прихлась война, и мы воевали.

26 человек из нашего класса воевали на фронте, в том числе: в авиации – 3, в артиллерии – 3, в Морфлоте – 1, в медслужбе (врачи) – 3, в связи – 1, в пехоте – 15.

Семеро наших товарищей не дожили до Победы, отдав за нее свою жизнь... Мы строили, учили, лечили, изобретали... Мы теряли на этом пути своих товарищей, и вместе с ними уходила наша собственная жизнь...

На нашей встрече были два наших дорогих учителя: Николай Андреевич Пушкарь и Анастасий Сергеевич Карамоско.

Мы жили трудно, весело и интересно, и нам есть о чем вспомнить.

Итак, вперед (в смысле назад), к воспоминаниям.

– Я помню драку во дворе школы, в которой группа взрослых парней избивала школьника. Моя попытка (третьеклассника) оказать помощь закончилась тем, что я был изрядно побит. Это один из эпизодов, который помог мне понять, что правда отнюдь не всегда торжествует.

– Запомнился мне стишок:

В 45-ой школе,
В 3-ем классе «А»
Феня Шингарева
В Далю влюблена.

Стишок я запомнил, а вот Феню Шингареву забыл начисто. Ася Колчинская 47 лет спустя вспоминала, что я никому не давал сидеть на одной парте с Феней, из чего следует, что в стишке была только половина истины.

– В 3-ем или 4-ом классе я долго болел скарлатиной, и родители решили оставить меня на 2-ой год. Так что теперь я один из старейших. В тот же период я – единственный раз в жизни – занимался с репетиторшей по математике. Я плохо усваивал материал, репетиторша, молоденькая студентка, смущалась, расстраивалась и сердилась. Мне было и стыдно, и жаль ее, и я, уже не пытаюсь понять, как правильно решить задачу, старался угадать последовательность действий и результат. Хорошо помню, что к концу занятий я здорово наловчился в этом угадывании. Но неумолимый Федор Михайлович Чепиков мгновенно меня разоблачил и, показав, что я не понимаю логики решения, – объяснил ее. Угадывать было много труднее, чем решать, что меня немало озадачило.

– Мы пришли из немецкой школы № 24 еще с тремя «немцами»: Галей Рощиной, Таней Рекашевой и Юрой Спектаревым. Первые впечатления – мы кролики среди удавов...

– Первое впечатление на уроке математики – собственное несовершенство. В 35-ой школе подготовка была слабее, и мои отличные оценки оказались в новой школе «переоценками». Пришлось догонять...

– В Киеве несколько школ впервые открыли 8 класс. Мы трое пришли в 8 класс 45-ой школы: Нина Браткова (школьное прозвище «кошка»), живая, не по годам развитая девочка, с длинной косой за плечами и обязательным бантом – была любимицей класса; Зина Спивак – милая, серьезная девочка, и я. Так как Нина Браткова умерла в 9-ом классе, а Зина Спивак погибла во время войны, считаю своим долгом упомянуть о них...

– По школе в городе Белая Церковь у меня была очень хорошая подготовка. С 8-го класса я оказалась в обществе почти сплошных «вундеркиндов».

– Школьная жизнь всегда была полна событий. Школьные праздники, дни рождения, посещения театра, беготня на концерты, увлечение оперой под влиянием Дуси Козловой и Сони Быковой, занятия в фотокружке с Николаем Андреевичем, уроки астрономии поздними вечерами на балконе Леонида Дмитриевича, посещения лекций ученых «светил» по атомной физике в университете... Всего не перечислить. Все было хорошо и мило. Смеялись часто. Смеялись много. В оперном театре на «Онегине» Юра Перлин просит Николая Андреевича в первом антракте: «Убедите, пожалуйста, Мишу, что Онегин убьет Ленского, а не наоборот», – Миша не хотел верить в такую несправедливость.

– Приезд в Киев спасителей челюскинцев был ознаменован демонстрацией. Мы всю ночь рисовали портреты для демонстрации. Запомнил, что нам к 12 часам ночи принесли полкило колбасы (мы не обедали и не были дома). Это был первый в моей жизни случай, когда искусство не причинило огорчений, и я поверил в свои силенки.

– Помню, как безнадежно влюбилась в Николая Андреевича и окончательно отупела, так как ни о чем не в состоянии была думать. Спасло бегство в Москву, где потом училась.

– В памяти осталось многое. Например: на экзамене по химии Миша Бонферман никак не мог ответить, что натрий – металл. Я ему громко подсказала, и Носов меня выгнал из класса. Помню очень интересное доказательство формулы Герона на уроке Чепикова (до сих пор сама так же доказываю).

– В 8-ом классе произошел случай, который остался в моей памяти. Дело в том, что у нас ввели экзамены (всего 7). 7 экзаменов сдать – значит быть на седьмом небе. Я сказала вслух, что до седьмого неба не доберусь. Оказалось, седьмым экзаменом у нас числилась математика – мой предмет. Все рассмеялись, но я упрямо заявила, что, значит, я именно математику не сдам. Слово я сдержала – у доски ничего не соображала. Чепиков перевязал голову мокрым полотенцем: «Я ничего не стою как педагог, раз такие ученицы, как Быкова,

проваливаются». С трудом педсовет уговорил его не возражать против отметки «удовлетворительно», учитывая мои успехи в году.

– Вспоминаются уроки математики у Чепикова – как большинство ребят его побаивалось и на уроках дрожало. А как интересно проводил уроки географии и геологии Анастасий Сергеевич! До сих пор помню шкалу Моссе (твердости) и лишь благодаря тому, как научил запомнить ее А.С.

– Помню, как Сарра Фрадкина сидит на подоконнике в веночке из ребят и сыплет анекдоты...

– В 9-ом классе похоронили нашего самого грозного и самого любимого учителя Федора Михайловича Чепикова. Это грустные дни в нашей юности. С какой гордостью мы говорили: нас учит Чепиков!

– Учителей помню всех. Даже эпизодических. Любимыми были Анна Пантелеймоновна Снежкова, которая выработала чутье, интуицию в восприятии литературы и русского языка; Леонид Дмитриевич Носов, который научил хотеть все знать. Этя Осиповна привила любовь к истории, несмотря на то, что курс истории по нынешним временам кажется анекдотичным – «история революционного движения и классовой борьбы», а на деле ассорти из русской и зарубежной истории: сегодня Петр I, завтра английская революция; сегодня Екатерина II, завтра Великая французская революция; сегодня народники, завтра Парижская Коммуна... Анастасий Сергеевич и затылком умел нас видеть. Чепикова боялась и любила... А своим учителем педагогики (ведь я учитель) считаю Владимира Федоровича Барабасенко, хоть учил он меня не педагогике, а биологии. На мой взгляд, он лучше всех вырабатывал в нас этику поведения, причем ненавязчиво, тактично, как-то по ходу дела. А о Николае Андреевиче Пушкаре и говорить нечего: это была любовь неземная, в то время мне казалось – пожизненная, безответная, безнадежная. Смешно! Но тогда немало слез было пролито.

– Николаю Андреевичу Пушкарю я в значительной мере обязан тем, что стал конструктором. Он поддерживал мои увлечения радиотехникой и очень интересно вел физику. Anne

Пантелеймоновне я обязан любовью к литературе, хотя вышел из школы совершенно безграмотным, в чем повинен, конечно, один я.

– Бригадный метод помню. Это 5-ый и 6-ой классы, даже 7-ой. Соня Быкова решала за бригаду задачи, я писала сочинения и доклад о «Годе великого перелома», добывали брошюры, много валяли дурака.

– Наша бригада изучала корову по всем предметам. Сейчас сказали бы, что это системный подход.

– Бригадный метод – шикарный метод для лентяев. За них делал уроки бригадир, он же отвечал в классе. Отметки получала вся бригада. По-моему, все это зацепило нас до 8 класса.

– Работа на музфабрике познакомила меня с механической обработкой металла, а также с гальваническими покрытиями. Здесь и определилась моя специальность – электрохимика.

– Мастерским и мастеру (по-современному – наставнику) искренне благодарен: меня научили забивать все, что забивают, и завинчивать все, что завинчивается.

– Работу на музфабрике и мастерские помню отлично. Мастерским я обязан тому, что умею (и люблю) работать руками.

– Школьные мастерские оставили малый след в моей памяти, так как никаких навыков я там не сумела получить.

– Они помогли мне окончательно утвердиться в мысли, что когда перегорает пробка, во избежание неприятностей для родных и близких следует вызвать монтера.

– На музфабрике очень хорошо помню свою самостоятельную работу на сверлильном станке и на маленьком токарном станке – «козочке», вытачивала какие-то спиральки для какой-то «червяной передачи». Так как в 6-ом и 7-ом классах была бригадиром производственной бригады, знала весь процесс производства духовых инструментов – от раскроя до сборки. Очень хорошо помню и мастерские в углу школьного двора. В столярной мастерской помню верстаки, ленточную пилу и

циркулярную пилу, на которой Дуся Глазберг в день своего рождения отпилила палец. Внизу была слесарная мастерская, где мы опиливали детали для музфабрики, и электромастерская, где мы должны были уметь собрать электропатрон. Там же нас научили переплетать книги. Я там переплела том Белинского, том Достоевского и «Хижину дяди Тома». (Моя мама их торжественно показывала всем родственникам).

– Дипломником я сделал проект моста им. Щорса через Днепр (сейчас мост Патона), который по конкурсу оказался лучшим и был принят, но осуществление его из-за войны не было закончено. Вместе с управлением ЮЗЖД меня вывезли на строительство железной дороги Сталинград – Казань, где я в чине инженер-капитана руководил строительством № 62 тукшумского моста. В 1941 – 42-ом гг. через этот мост была организована доставка к Сталинграду боеприпасов. В Киев вступил в 1943 г. вслед за войсками.

– Войну встретила в Дагестане, где была преподавателем в педучилище. Узнала о войне в 5 часов дня на пикнике, куда рано утром отправился весь педколлектив на проводы меня и мужа: собирались в Киев.

– Встретил войну младшим лейтенантом западнее Львова, 24 июня.

– Встретил войну в Севастополе, в должности штурмана подводной лодки «Щ-203».

– Когда началась война, я переходила на 5-ый курс Киевского университета. Во время войны работала во Фрунзе старшим лаборантом, а затем даже зам. заведующего вакцинным отделом Киргизского института микробиологии. Мы производили вакцины и сыворотки для фронта.

– 22 июня ко мне в Москву (я работал в НИИ ГВФ) приехали в отпуск сестра и мама. От Киевского вокзала мы ехали в такси ЗИС-101 и, включив приемник, услышали речь Молотова.

– Война застала меня в Ленинграде, я проходил преддипломную практику в ФТИ.

– Войну встретила в Киеве на заводе № 43 мастером ОТК. Эвакуировалась в Уфу, где работала инженером по покрытиям в АН УССР на кафедре электрохимии. Потом переехала в г. Иркутск, работала в штабе ГО инженером-химиком.

– Война застала в Киеве на работе в Ортопедическом институте ассистентом лаборатории. Во время войны была в Иркутске, потом в Алма-Ате научным сотрудником института физиологии АН СССР.

– Война началась, когда я была в Киеве. Моей дочери был год. Муж мой перед войной заболел тяжелым туберкулезом и был на лечении в Тиберде. Мне пришлось эвакуироваться с сестрой, имея на руках годовалого ребенка. Ехали месяц в теплушках. За это время два раза ели хлеб. Иногда на станциях получали похлебку. А чаще сутками голодали. Привезли нас в Сибирь, в город металлургов, который теперь называется Новокузнецк. Население нас встретило очень хорошо. Обеспечили жильем. На второй день приезда я пошла работать в школу. В школе давала по 12 уроков в день. В период каникул ездила с учениками в колхоз и там работала по 2 месяца. Организовала в школе кинотеатр, и выручку от него отправляли для фронта. Первый год было очень трудно. Потом обзавелась огородом, появились овощи собственные. Кормила свиней, гусей и потому избавила семью от голода.

– После окончания университета (1940 г.) я училась в аспирантуре. Когда грянула война, мы 23 июня сдали кандидатский экзамен по философии и на следующий день отправились куда-то под Васильков рыть противотанковые рвы. Работали мы там от зари до зари примерно до середины июля. Когда подожгли нефтебазу в Василькове, нас отправили ночью пешком в Киев. В это утро на Киев был массированный налет немецких бомбардировщиков. Мы под грохот зениток еле добрались домой. После этого через неделю я уехала с родителями в эвакуацию, в г. Алма-Ату. Там с 1 октября 1941 г. я устроилась на работу ассистентом кафедры физики Казахского сельскохозяйственного института. Позже по совместительству

заведовала Казахским подготовительным отделением при этом же институте.

– Закончил одну из работ 20 июня 1941 г. и приехал в Киев для подготовки технической документации по автоматике котлов для Минской ТЭЦ. Война помешала, события развивались очень быстро. Дороги на Минск были уже перекрыты, а я был призван в армию. В военкомате меня направили на курсы военных техников при Артиллерийской академии им. Дзержинского (Москва). Окончил их в ноябре 1941 г., получил звание воентехника 2-го ранга и отбыл в 387 артполк резерва главного командования, который формировался на ст. Верещагино. Через месяц, в новогоднюю ночь, вместе с полком выехал на северо-западный фронт. Участвовал в окружении 16-ой немецкой армии.

– Войну я закончил гвардии инженер-майором, старшим инспектором по радионавигации авиации дальнего действия. Был 9 мая 1945 г. на Красной площади в Москве. Меня, как и всех военных, качали и угощали водкой. Состояние было такое, что описать его не берусь.

– Муж был мобилизован 22 июня вечером. Погиб в первых боях в 41-ом году под Шепетовкой. В сентябре родился сын. В 1964-ом и 68-ом гг. одарил очаровательными внуками.

– Муж погиб во время войны. Родители и брат умерли. Детьми, а значит, и внуками обзавестись не успела.

– Окончил войну в Москве в звании сержанта и в должности старшего электромеханика на одной из военных радиостанций.

– Конец войны встретила в Н. Тагиле. Работала на танковом заводе и по совместительству преподавателем пединститута. К тому времени стала вдовой и матерью.

– Окончание войны совпало с приобретением Правительством моего проекта восстановления Крещатика. Восстановил оперный театр, Русскую драму и десятки крупных зданий.

– Закончил войну в Новороссийске командиром гвардейской подводной лодки «Щ-215» (звание гвардейской получено моим предшественником – Героем Советского Союза Грешиловым).

– Люблю свою профессию (науку физику) и, да простят мне некоторую выпренность, не мыслю себя без нее.

– Профессией доволен. Я стал автором 129 крупных зданий, двух площадей, трех министерств и т.п. Но сделал я гораздо меньше того, что мог сделать. Моя специальность полностью отвечает моим школьным мечтам.

– Работу свою очень люблю и выполняю ее без напряжения, с удовольствием. Я еще в школе мечтала быть научным работником.

– Мне кажется, что в школе мы о своих профессиях думали как-то не очень конкретно. Но мне было ясно, что буду заниматься физикой, а также было ясно, что экспериментатором я быть не способен. Так что соответствие полное.

– Всю жизнь мечтала о филологии и думаю, что в некоторой степени овладела ею – знаю немецкий, французский и английский, кандидат филологических наук, доцент (не очень ли расхвасталась?!).

– В выборе института не ошиблась, а ошиблась в выборе факультета – я получила квалификацию психолога. Это исправила: в 50-е гг. закончила истфак Уральского университета в Свердловске. Убежденный учитель.

– В школе очень любила химию, понимала ее, увлекалась формулами. Но будущую свою работу представляла не достаточно ясно и не совсем так, как потом получилось. Но, в общем, своей специальностью довольна. Несколько лет преподавала биохимию, физиологию и биологию. Затем заведовала лабораторией в институте у Амосова.

– Еще будучи ученицей 6-го класса, решила стать учителем физики и математики. Кончила университет с дипломом физика-электроника, но попросилась в школу. Любила и люблю детей и

получаю удовольствие, обучая их. Если брошу работу с детьми, то на этом кончится все для меня. И, не хвалясь, скажу, что мои ученики полностью отвечают мне, как говорят, взаимностью.

– Моя профессия полностью соответствует моим школьным мечтам – помогать людям.

– Интересуюсь редкими ныне событиями и вещами: хорошим футболом, интересными книгами, настоящей музыкой. Но хобби ли это? Мне кажется, что я слишком старомоден для этого модного слова.

– Мое «хобби» – решать задачи и ухаживать за внуком. Больше ни на что не остается времени.

– Мои увлечения с детских, школьных лет остались неизменными: филателия и рыбалка во все времена года.

– Считается, что филателия, однако она мне осточертела и тянется по инерции. Мое истинное призвание – предсказывать погоду.

– «Хобби»? Пишу стихи, делаю любительские кинофильмы. Увлекаюсь очень.

– Собираю библиотеку, в основном по филологии; с другой стороны – люблю печь и услаждать моих друзей вкуснятиной.

– Хобби? – О, их много. И коллекционирование, и собирательство, и туризм. Но главное – лекционная работа в области.

– Резьба по дереву, сбор оригинальных корней, рыбалка.

– Мое хобби – рисование и живопись.

– Мы с мужем увлекаемся вокальным искусством, собираем пластинки с исполнением любимых артистов, ходим на вокальные концерты. Увлекаемся живописью, собираем небольшие произведения русских художников. Любим также путешествовать на своей машине по нашей обширной стране.

– Мое хобби – работа и спорт.

– Литература, рыбалка, водомоторный туризм, нумизматика, собирание книг, история (в порядке возникновения).

– Мои дети моложе меня на 23 года, поэтому их жизнь проходит в значительно лучших условиях, чем прошла моя. Соответственно у них вкусы иные, потребностей больше...

– Дети, особенно старший, значительно способней меня, но ему не хватает настойчивости, устремленности, ибо нет борьбы за существование. Есть папа, на которого можно опереться. Младший – менее способный, более деловит, знает, что ему нужно. Оба очень скромны и предельно честны.

– Единственный сын отличается от матери отсутствием общественной жилки, отсутствием высшего образования, диковатостью, замкнутостью, презрением к родственным связям, презрением к благотворительности. Неожиданно для нас – однолюб, домосед, хороший отец.

– Лучше, чем я, дети разбираются в различных областях искусства; значительно меньше, чем я, занимаются спортом и общественной работой. То, что можно сделать завтра, не будут делать сегодня.

– Сын отличается от меня своим характером. Он более вспыльчив, но в то же время и ласковее. Обладает инженерными способностями. Любит собирать радиосхемы, мастерить что-нибудь.

– Дети отличаются тем, что растут в другое время, когда легче учиться и не грозит война.

– Дети от меня отличаются меньшей воспламененностью и меньшей доверчивостью. Причина – исторические уроки.

– Мой внук удивляется, как могли люди жить в общих квартирах, как можно не иметь чего-либо, что хочется иметь. Он моложе меня на 47 лет, и потому ему еще лучше, чем его родителям. Он хочет быть лириком, а не физиком.

– Для меня дети отличаются от внука только тем, что я их очень (больше) люблю. Привязан (не то слово), переживаю их горести и радости, как свои собственные.

– Ответ откладывается до 70-летия, потому как внуки еще не успели проявить свою индивидуальность по малолетству. И вообще вопрос какой-то идиотский – вы что, собрались проверять законы Менделя?!

– Дети и внук знают о школе из моих рассказов, но больше их увлекали мои рассказы о героизме нашего народа в годы войны.

– Фотография школы стоит на видном месте, и все фамилии ребят знакомы детям по моим рассказам.

– Рассказывал детям о школьной жизни после нашей встречи 1975 года.

– О школьной жизни изредка приходилось рассказывать сыну.

– Сыну я много рассказывала о школьных товарищах и школьной жизни. Он всегда с интересом слушает мои рассказы.

– О школьной жизни рассказываю и детям и внукам много. А еще больше рассказывала своим ученикам.

– Внукам еще рано, а сыну уже не интересно. Кроме того, я не люблю врать без особой необходимости (в отличие от некоторых), а суровую правду не так уж приятно вспоминать. Я на полном серьезе считаю, что был в школе изрядным лоботрясом и мои «блестящие» знания на самом деле были весьма поверхностными.

– О своей школьной жизни рассказываю немного. Но после встречи нашей мои дети и особенно внук очень привязаны к моим товарищам, живо интересуются всем, что относится к моим товарищам, рады письмам от товарищей, рады, когда товарищи к нам приходят, звонят и т. д.

– Прошлую встречу ожидала с удовольствием, хотелось поскорее повидать всех после столь длительного перерыва. Ничего не опасалась, ко всему была готова.

– Никогда не колебалась. Ничего не опасалась, так как была уверена, что нет лучших друзей, чем школьные.

– С радостью ехал на встречу со своей юностью и счастлив, что не ошибся.

– Так как я в организации встречи принимала активное участие, то уже это говорит о том, что я ничего не опасалась и не раздумывала о том, стоит ли ее организовывать.

– Раздумывал. Боялся, что годы и судьбы слишком отдалили нас друг от друга. Очень рад, что ошибся.

– Колебаний не было, опасения были: знал, с кем имею дело. Но друзей своих я люблю не критически: «не по хорошу мил, а по милу хорош».

– За многие годы я не могу назвать более памятного, волнующего, яркого события, чем наша встреча – встреча с отрочеством, юностью, встреча с возмужавшими одноклассниками. самого доброго вам всем, друзья!

Послесловие редакторов альбома

Вот и закончилось наше путешествие в юность... Многие из нас учились вместе всего три года – 8, 9, 10 классы. После этих трех лет прошли еще сорок. И какие сорок! Но оказалось, что они бессильны похоронить нашу дружбу, нашу общность, родившуюся в те годы. Это очень важный, очень ценный вывод, который мы сделали, работая над воспоминаниями, и которым делимся с тобой.

И последнее. Мы желаем тебе и твоей семье, твоим близким еще много, много счастья и радости. Ты их заслужил.

2. УНИВЕРСИТЕТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА

педагогической и научной работы С. Я. Фрадкиной¹

Воспитанница Киевского Университета, где она и училась, и проходила аспирантуру, и защищала диссертацию на степень кандидата филологических наук (в 1946 г.), С.Я. Фрадкина начала свою педагогическую работу еще в студенческие годы (с 1937 г.). С 1941 г. она работает в качестве преподавателя высшей школы непрерывно (в 1941 – 44 гг. в учительском Институте г. Актюбинска, а затем в университете г. Казани, а с 1944 г. по настоящее время в Киевском университете).

Ее научные и педагогические интересы сосредоточены преимущественно в области истории советской литературы и истории русской литературы XX века. В течение ряда лет, по поручению кафедры русской литературы, т. Фрадкина читала общие курсы советской литературы на филологическом факультете (а также на философском факультете и факультете международных отношений) и ряд спецкурсов, сопровождавшихся семинарскими занятиями: «Творчество А.П. Чехова», «Литература периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», «Литература послевоенных лет». Кроме того, она систематически руководила студенческими дипломными работами по темам из истории советской литературы, неоднократно выступала в КГУ с лекциями по советской литературе, организовывала читательские конференции и диспуты по вопросам текущей литературы – и вообще много способствовала активизации интересов студенчества к явлениям и событиям нашей литературной жизни и подъему значения предмета – истории советской литературы – в общем цикле литературоведческих дисциплин филологического факультета.

Ее лекции, основанные на тщательной проработке материала, хорошо продуманные и с методологической, и с методической стороны, излагавшиеся в ясной, простой и

¹ См. также комментарий к характеристике, сделанный Л.Л. Кертман (прим. ред.).

увлекательной форме, проходили с неизменным успехом, собирая иногда аудиторию не только из студентов-филологов, но из студентов других факультетов. Ее специальные курсы стимулировали самостоятельную творческую работу студентов – и немало докладов, прочитанных у нее в семинарских занятиях, – так же, как и дипломных работ, выполненных под ее руководством, – получали высокую оценку от ее сотоварищей по кафедре, выступавших рецензентами этих работ.

Ее кандидатская диссертация, написанная 4 года назад («А.П. Чехов и его влияние на современную английскую литературу»), разумеется, не вполне отвечает требованиям, которые сейчас, в 1949 г., после ряда постановлений и решений руководящих органов нашей партии, а также дискуссий по вопросам литературы, искусства и критики, мы предъявляем к литературоведческим работам. Но то же самое можно сказать почти о всех работах, выполненных до 1947-го года, явившегося моментом великого перелома в работе и старшего, и младшего поколения наших критиков, философов, историков и историков литературы.

Внимательно следя за движением теоретической мысли, активно участвуя в совещаниях, проходивших в университете по вопросам методологии и методики преподавания, С.Я. Фрадкина, вместе с другими товарищами, выправляла свои ошибки и совершенствовала свое преподавание.

У т. Фрадкиной есть все данные для дальнейшего и научного, и педагогического роста.

На 1949 – 50 учебный год кафедрой русской литературы ей поручено чтение курсов советской литературы на 4 и 5 курсах филологического факультета и пропедевтического курса «Введение в советскую литературу» на 1 курсе отделения филологического факультета.

Как руководитель кафедры русской литературы КГУ, я считаю т. Фрадкину чрезвычайно активным, непрерывно работающим над собой и весьма полезным для дела преподавания членом кафедры.

Проф. А.И. Белецкий,
действительный член Ак. наук УССР,
член-корреспондент Ак. наук УССР.

(Печать и рукописная пометка: «Подпись А.И. Белецкого удостоверена зав. Секретариатом президиума».)

20 июля 1949 г.

КОММЕНТАРИЙ Л.Л. КЕРТМАН

Вот потрясающий документ времени. Академик Александр Иванович Белецкий, старый русский интеллигент. В 1949 г. от него потребовали характеристику на маму. К этому моменту уже были «озвучены» все «полагающиеся» обвинения по ее диссертации, защищенной в 46-ом году с самыми похвальными отзывами (иногда тех же самых людей, которые теперь «обличали»). От его слов в какой-то степени зависело, оставят ли ее на работе на следующий год или «не пройдет по конкурсу» (в лучшем случае с такой формулировкой. У папы в городе Молотове в 1949 – 50-ом гг. еще не все было ясно, положение казалось настолько непрочным, что они с мамой еще не приняли решения о ее переезде). В таком сложном положении оказался академик. Мог и он пострадать «за поддержку космополитов, недостойную русского советского профессора».

ПИСЬМО РЕКТОРА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Александра Ильича Букирева Л.Е. Кертману

26.12.49 г.

Уважаемый Лев Ефимович!

Как жаль, что Вы столь внезапно выехали из города Молотова и я не смог повидаться и переговорить с Вами до Вашего отъезда. Поэтому я решил написать Вам и просить Вас

ответить мне до Вашего возвращения из Киева. Я имел в виду переговорить с Вами о переходе на работу в Молотовский Университет Вашей супруги. Мне передавали, что Вы несколько обеспокоены неприятной перспективой совместной работы с некоторыми из сотрудников кафедры, на которую имеется в виду пригласить Вашу супругу. Мне кажется, для беспокойства больших оснований не должно быть, т. к. при наличии возможностей положение на кафедре будет резко изменено. Поэтому опасаться неприятностей, мне думается, не следует. Наш коллектив в состоянии, кроме того, парализовать попытки чинить неприятности, если даже лицо, кого Вы имеете в виду, попытается это сделать, если будет иметь к этому возможность, в чем я не уверен.

Что касается бытовых условий (квартира), то я надеюсь, что и в этом отношении мы с Вами договоримся. Во всяком случае, вторая комната будет Вам предоставлена. Само собою разумеется, что мы будем принимать меры к получению квартиры за счет города. Хотя и не так часто, но все же город время от времени предоставляет нам квартиры. Так, Вам, вероятно, известно, что квартиру в городе получили проф. Воробьев, доц. Верещагин и др. наши научные работники. В перспективе у нас новый 40-квартирный дом, который хоть и медленно, но строится и будет в ближайшие два года построен.

Наших холодов, надеюсь, Вы теперь уже не боитесь. У нас, как Вы могли убедиться, стоит хорошая, сухая и теплая относительно зима.

Итак, я жду от Вас ответа. Было бы хорошо, если бы Ваша жена приступила к работе во втором полугодии уже в МолГУ, в чем, я рассчитываю, нам поможет и министерство. Последнее в лице отдела кадров нашего Главка надо просить оформить переход Вашей жены в Молотовский Университет служебным переводом, хотя это, мне думается, не обязательно. Если необходимо, то надлежащее ходатайство мы можем возбудить. Об этом я также прошу Вас меня уведомить.

Жду от Вас известий.

Позвольте поздравить Вас с Новым годом и пожелать Вам и Вашей семье счастья, здоровья и успехов. Надеюсь, что следующий новый год – 1951-ый – Вы будете встречать в кругу своей семьи и друзей уже в городе Молотове.

Будьте здоровы!
С уважением, А. Букирев.

(Преписка чернилами) Прошу извинить за ошибки в письме, они проистекают оттого, что я лишь начинаю осваивать технику письма на пишущей машинке.

А. Б.

АВТОБИОГРАФИЯ¹

Родилась в 1917 г. в Москве. В 1924 г. с родителями переехала в г. Киев. С 1925 по 1935 г. училась в 45 п. с. ш. г. Киева. В 1935 г. поступила и в 1940 г. окончила филологический факультет Киевского государственного университета, получив диплом с отличием. В 1940 г. была принята в аспирантуру по кафедре русской литературы. Будучи студенткой и аспиранткой, преподавала (с 1937 г.) русскую литературу и язык в учебном комбинате Наркомвнуторга, а затем – на курсах по подготовке в Академии РККА при ДКА.

В июле 1941 г. эвакуировалась в г. Актюбинск, где работала старшим преподавателем кафедры литературы Учительского института. В 1942 г., после демобилизации мужа по ранению, переехала в г. Казань, где работала старшим преподавателем кафедры литературы университета и педагогического института и одновременно читала лекции в воинских частях, госпиталях и на предприятиях города.

В 1944 г. эвакуировалась в г. Киев, где была восстановлена в аспирантуре университета. Окончив ее, защитила в июне 1946 г. диссертацию на тему «А.П. Чехов и его влияние на современную английскую литературу». В 1945 – 46 гг. читала в университете спецкурс «А.П. Чехов». С сентября 1946 г. читала курс советской литературы, литературы XX века и спецкурсы по советской литературе на филологическом факультете КГУ.

¹ Написана С.Я. Фрадкиной для «Личного дела» в Пермском (Молотовском) государственном университете (прим. ред.).

1 сентября 1949 г. была освобождена от работы в университете на основании решения комиссии о замещении по конкурсу должностей, объявленных вакантными.

В 1949 – 50 гг. читала лекции по советской литературе по поручению Общества по распространению политических и научных знаний.

В марте 1950 г. по приглашению Молотовского государственного университета прочла на филологическом факультете спецкурс «Советская литература периода Отечественной войны 1940 – 45 гг.».

10/V 1950 г.

С.Я. Фрадкина

Родителей нет в живых.

Брат погиб на Отечественной войне.

9/VI. 1976 г

Фрадкина

ПИСЬМА

Из личной переписки С.Я. Фрадкиной¹ (1950 – 1980-е гг.)

Начало 1950-х гг. Из писем мужу

...Вчера по радио слушала из Большого «Декабристы». Сильно, и все-таки кое-что в музыке начало входить в круг моего понимания...

Чего мне не хватает?

1) Тебя. Но не просто тебя, а тебя в досужные для обоих дни – чтобы вместе говорить, думать, читать. То есть жить, как нужно и как мы страшно редко живем.

2) Родных... хотела добавить: «и друзей (не молотовских – настоящих)», – но сообразила, что их у меня нет. Мы с Линкой немножко как на острове; она, правда, этого не чувствует,

¹ Материал подготовлен Л.Л. Кертман.

потому что находится в возрасте, когда мама может заменить многое, но я такого еще не достигла.

3) Хотелось бы побыть с близкими, своими. Напиши, какое сейчас давление у моей мамы, какое она на тебя произвела впечатление. Мне очень тяжело писать об этом, но прошу, договорись со своей мамой, что, если возникнет в ее состоянии хоть что-нибудь серьезное, пусть обязательно тотчас дадут знать.

...Я очень по-настоящему завидую творческому в тебе. Пожалуй, никогда еще я так остро не ощущала в себе отсутствия божьей искры – именно этого мне более всего не хватает теперь. И не очень тянет взяться за Чехова – недостаточно я верю в себя, а делать по-старому не хочется. Выжду еще немного, подумаю, а потом попробую как-нибудь по-другому, наново к нему подойти.

...По ночам я сейчас часто читаю классику, настоящую. И думала, и плакала над «Обрывом». На таком страшном напряжении чувства перестрадать свой «обрыв» – это значит навсегда подняться из него.

...В Киеве и на улицах не стало знакомых лиц. Студенты сменились. Преподаватели – одних уж нет... В пединституте со вчерашнего дня по сокращению штатов уволено 12 человек, в том числе много знакомых.

...Опять вечер. Тоска. ...Пробовала что-то делать, разбирать бумаги, но вместо этого опять погрузилась в архивы (смешной Симонов: «Там начало конца, где читаются старые письма...», – когда конец любви, письма не нужны).

Лёвонька!

Говорила вчера вечером по телефону с твоей мамой и узнала, что у тебя все по-старому. Так страшно, что жизнь идет и предела несправедливости не видно. А сейчас что? ...Жду хотя бы телеграммы, из которой что-нибудь узнаю о тебе. Иосиф и Рива, у которых я провела воскресенье, уговаривают, чтобы ты хоть на сколько-нибудь приехал к ним. У Иосифа прошло в четверг отчетно-перевыборное собрание по знакомым рецептам

(в присутствии секретаря крайкома). Он с выговором, но с работы не снят...

Позвони Н.В. Фридману и поблагодари за оттиск из «Известий АН» о Батюшкове и Грибоедове, который абсолютно убедил меня, что без Батюшкова никакого Грибоедова не было бы вовек <...>. Я не имела адреса, чтоб поблагодарить и послать свои опусы о Чехове и Пановой.

Спи, лапонька, побольше.

1953. 1 сентября

Любимый мой, мой Лёвонька!

Мне так невыносимо тоскливо сейчас, так больно, что, если бы можно было напиться до бесчувствия, я бы напилась, чтобы хоть на время высвободить сердце из тисков. Весь длиннейший и мучительнейший сегодняшний день я металась, как раненая, вспоминая твои дни рождения 1949-го и 1950-го годов. Мне так безумно больно за тебя и так ненавистно все вокруг – это море подлости, наглой и вызывающей, и это скрытое или едва маскируемое бездушие, что я совершенно задыхаюсь...

С каким трепетом жду от тебя хорошего доброго слова, от которого рассеялся бы нестерпимый трагизм восприятия скверных, обидных фактов и людей, все бы стало на место и при свете дня стало бы ясно, что мы – вместе, <...> что мы достаточно здоровы и сильны, чтобы нигде не пропасть, и достаточно бодры и верим друг в друга, чтобы быть счастливыми.

1954. 27 января

...Ищу – пока тщетно – чего-нибудь интересного... в «Звезде». А интересное, наоборот, в кино. Была и вчера, и сегодня, и жаль, что пока нового итальянского не видно. В «Вернись в Сорренто» все было мило, особенно когда в самых проникновенных местах Фаина Абрамовна начинала подпевать герою. Отрешившись накрепко от филантропии, я «Неаполь – город миллионеров» посетила сама. Это совершенно новая страница в кино. Просто жизнь и просто обыкновенные человеческие трагедии («вне бурных сцен / в сиянье тысяч свеч»).

А какую дикуую муру написал Антокольский, обозначив ее поэмой «Атлантический океан»!

...Буду читать «Порт-Артур», чтоб укрепить свой злосчастный «исторический роман» к приезду нового руководства, и Чехова – для рождения таланта (он же сказал: «Талант – это труд») и воспитания души.

(Окончание письма утром 28 января)

...А я читаю и не Чехова и не Степанова, а Юрьева «Записки». Очень интересно потому что.

1954. Февраль

...Я сегодня после твоего письма часов 5 посидела над Чеховым и лишь после этого позволила себе писать тебе. Я, вероятно, действительно, работая над послевоенным, себя вдвойне обкрадываю – и работа не дает той радости, которую ощущаешь, прикасаясь к настоящему искусству, и творчество легче подменяется и вытесняется ремеслом и штампами. Вот напишу о Чехове, а потом подумаем о дальнейшем. Да?

1954. Апрель

...Твардовский написал «Теркина на том свете», который был доведен чуть не до набора, когда кто-то спохватился, дал сигнал в «Правду», оттуда в ЦК, Пospelов вызвал Твардовского и стал объяснять, что произведение вредное, порочное, тот залез в бутылку, сказал, что и с «Муравией» так начиналось и что и это будет напечатано. На вопрос, понимает ли он, что не должен быть редактором «Нового Мира», – сказал, что понимает, и пошел выпить. Теркин там (на том свете!) заполняет карточку, пишет автобиографию, где указывает, что родители его нигде за границей не бывали, дед выпивал, но взыскания получал лишь от бабки, правда, растет он уже вниз, а не вверх. Пайки Теркин там получает, как в колхозах (только расписывается, а в руки – ничего), цензура в стенгазете того света бдительная, а в конце на Теркина заводится персональное дело. Этому (все это, конечно, крупницы со слов Виктора и Иры) предпослано авторское предисловие, что, может быть, следовало, по мнению редакторов, показать Теркина не на том свете, а в колхозах, на стройках, в армии, но он редакторов никогда не слушал (они

могут захотеть и планчик проверить), а всегда писал и будет писать, что захочет. Вот так. А по интимному вопросу Ира говорит, что ослабление явно ощущается, указаний нет, реакции она не замечает, а есть инициатива на местах.

1954. Июнь. Кисловодск

...Я первый раз пришла на «Храм воздуха» (пункт, до которого прогулки мне предписаны). До сих пор препятствовали всякие проверочные процедуры, да и погода не очень располагала... Приятно мне сейчас стало оттого, что горы и простор впервые «дошли». А когда я смотрела на них в пути и из санатория, мне уже стало казаться, что жизнь и проза ее взрастили мой панцирь нечувствительности еще и еще. А теперь, походив и сидя здесь наверху (а «Кавказ ведь “подо мною”»), я почувствовала, как в клубочек свернулся страх перед визитом к врачу...

1954. 15 июля. Кисловодск

...У нас здесь организовалась чудесная бабская компания с Ириной, Раисой (инженершей с сыном, сбивающей всех на волейбол и пр.) и, главное, недавно приехавшей из Москвы Эммой Вольф – моим бесспорным увлечением (с полной взаимностью).

Она – редактор испанского выпуска «Советской женщины», женщина редкого ума и культуры, в Испании при атташе генерального штаба провела всю войну (от «Известий» послали ее и Кассиля, но тот сбежал от бомбежек через месяц), всю Отечественную войну была политработником на фронте... У нее 30-летний сын, но поверить этому нельзя. Женщины умнее, культурнее, острее я еще не встречала. Вообще редкий случай в санатории, когда женщины на высоте, а мужчин интересных и не академиков почти нет (почти, потому что с Эммой приехал ее друг – физик-атомщик из Москвы, тоже умница). Но я, в отличие от Ирины, от этого соотношения не только не страдаю, но как-то мне особенно легко живется... Нельзя, конечно, сказать, что сердце мое не имеет пищи для переживаний – в нем появилась трещина от разочарования в советской классике: Самед Вургун – докладчик на съезде СП по поэзии (отдыхающий здесь с

взрослыми сыном, дочкой и женой) – в ответ на мои пытливые вопросы полез обниматься (и где же?! – на скамейке почти у столовой... – для дважды лауреатов закон не писан!), и я теперь так душой и умру. Ирина смеется, а мне все-таки обидно, что таланты – и такие пошляки (ты бы видел, как это было!)...

А к концу (я все-таки женщина) – самое главное. Сегодня, когда Линочка вступает в свое второе десятилетие, я думаю не о том, что произошло десять лет назад в этот день, а о ее будущем. И ближайшее ее будущее, которое еще в нашей власти, изо всех сил хочу сделать хорошим и радостным. Я очень во многом виновата перед ней, и в самом недавнем прошлом, и хочу поскорее быть с ней не для нотаций и «воспитания», а для тепла и душевной близости (хочется верить, что еще не поздно). И очень думаю о том, как мы должны быть с ней зимой и потом, чтобы перемены в семье принесли ей радость, не сдобренную ни крупницей горечи (тут я очень-очень рассчитываю и на тебя)...

1954. Записка из роддома

...Хочу, чтоб этот штурм был ПОСЛЕДНЕЙ лошадиностью, после которой мы не позволим себе лимитировать жизнь и отводить на такие «нечаянные радости», как рождение сына, считанные часы....

1950-е, зима. Кисловодск

Я сегодня ходила в горы одна... Воздух так прозрачен, что Эльбрус как на ладони, и перспектива необозрима, и меня не насытило сворачивание на боковые тропки и чтение там стихов, а так захотелось чего-нибудь своего сказать, что это подступило к горлу, к сердцу, но немота не оставляет меня. И если когда-нибудь случится чудо (а какое бы это было для меня счастье!), чудотворцем будешь ты. Но все, что подкатывает во мне, это о тебе, о нас...

Была 17-го в симфоническом... Слушали Эмиля Гилельса. Он стал зреее, глубже, на бис исполнял Шопена, но никогда я так глубоко не почувствовала 4-ую симфонию Чайковского, как в этот вечер. Это была – наша жизнь, юность, твой мятежный талант, страшная буря и отчаяние, конец всего, а потом – сквозь

это – начало жизни, пробивающаяся любовь и торжество творчества в будущем.

1955. Июнь. Киев

...Я думаю сейчас чуть больше, чем положено, хотя почти ничего не успеваю додумать – суматошно и противно жить в этом городе. Чтобы попробовать ощутить его не таким чужим, я вновь предприняла экскурсию в дальнее, но даже двор 45-ой школы стал крошечным и совсем другим...

1958. 18 марта

Вчера идиллически провели с Линой день. После выборов в школе не было занятий. Я пошла с ней к зубному врачу (неделю не удавалось ее направить – все дрейфила!), а потом – 2 часа должно было болеть; чтоб она не мучилась, мы шлялись с ней, кутили в кафе «Отдых». Ей так понравилось, что я спросила, не потянуло ее еще на операцию фурункула или на мышьяк и получила в ответ: «А что же делать, если от моих родителей только такой ценой добиваешься удовольствий!» Впрочем, она тебе пишет сама (острит, наверное!).

1958. Март

...Страшно щемит до сих пор воспоминание о маме, прощающейся с могилой, и особенно – она в окне в вагоне, такая одинокая, несчастная и смотрящая мимо, что вспоминать просто невозможно...

1958. 22 марта

...Так мне тоскливо, так тяжело, что, вероятно, разумнее было бы не писать. А с другой стороны, кому же погрустить в кофточку замочную. При том что я унаследовала от папы иммунитет к датам, сегодняшняя дата [год со дня смерти] не может не тронуть сердце. Так больно за то, что он недочувствовал, недодумал, недолюбил, так не хватает его сочувствия и умудренности, так горько от всего, что ему недодано, так хочется просто целовать его белые волосы и коричневые пальцы. Поеду сейчас на кладбище одна. Хочу побыть с ним там наедине. Ты-то ведь знаешь, насколько он мне

– родная душа, и в хорошем, и в плохом. Чудовищно быстро прошел этот год...

1958. 5 июля. Москва

...Уехала с середины доклада Друзина <...>, т.к. мой поезд отбывал в 7, я в 6 убежала, успев услышать, что вредно делать обойму современных классиков: Панова, Казакевич, Каверин, Бек – и что Овечкин стал писать хуже, а Николаева молодец, что широко охватила, и что Мартынов на 50 % формалист, а Слуцкий еще молод и глуповат, и обойму из них тоже нельзя делать, а современные классики в поэзии – Асеев и Луговской...

...На совещании слушала <...> доклад Метченко (без единой мысли, но погромный и под сплошным девизом борьбы с ревизионизмом, с дифференциацией на сознательных и бессознательных (но тоже вредных!) ревизионистов и с анонимными доносами на московских преподавателей, «поднимавших» Пастернака.

1959. Февраль

...Передумала всю жизнь и хочу жить лучше, сердечнее, веселее. С тобою. А благодетельствовать человечество не так уж страстно хочу. Во-первых, не ощущаю бремени неисчерпаемых источников мыслей и эмоций. Во-вторых, холод сковывает довольно буквально. Но так как Панова прислала «Сентиментальный роман» в сентиментальном кремовом ледериновом (а ты такое слово знаешь?) переплете и не только с «наилучшими пожеланиями», но и с «уважением», придется, как всегда бывает после моих гамлетствований, все-таки сделать. Раз вы все (и она, и Римская, и главное ТЫ) меня уважаете.

Но лучше у меня получается не писать книги, а читать их. Позади маленький «запойчик» из Колдуэлла, «Дитя человеческое» (здорово после 20-летнего перерыва!) и «Исполнение желаний» (умеет). Фейхтвангер хорош тем, что герои у него умны и по-настоящему значительны – вот с ними и интересно. А впереди – обет неприкосновения.

Начало 60-х. Лето

...А ежели тебе попадется сборник Смелякова «Работа и любовь» (Молодая гвардия, 1960 г.), купи мне вместо туфель – такие два компонента вполне заменят <...>. Надо бы тебе в общении с Майским откликнуться на его «Встречи с Б. Шоу» в № 1 «Нового Мира». Тешит себя старик, но ведь есть же что вспомнить! А от Эренбурга я еще не опомнилась. Каков букет!

1960. Июнь

...Хочу написать тебе еще из Киева; в Остёр едем завтра утром, а сегодня поедem с мамой на кладбище, потом, после отдыха, встречусь в саду с Надей Загорской (узнаемся ли?), пообедаем у твоей мамы, и надо будет собраться. При этом заглянут еще и Люся, и Густа, а с Броней тоже повидаясь на ходу. Очень рада, что уезжаю. Не столько потому, что, ничего не делая, все же устаю, сколько потому, что Киев угнетает своей беспросветной чужиной и красота его воспринимается мною как нечто декоративно-бездушное. Были вчера с Люсей в Московском новом театре миниатюр (упаси тебя бог!) – ни одного даже отдаленно знакомого лица...

1960. Сентябрь

...Я твое письмо сегодня принимала, как лекарство, дважды, и оба раза действовало безотказно и радикально... Мне что-то тоскливо и противно в своем большом доме, где даже вдруг (когда на улице потеплело) начали подтапливать... Мы все любим тебя сильнее. У Герки каждый период начинается: «А вот папа...»

1960. Октябрь

...У нас все в норме. Герка функционирует и в саду (и ежевечерне «прогоняет» всю программу грядущего утренника), и у логопеда (где, еще не выучившись, уже активно учит коллег), и на английском. В школе сегодня провела итоговую конференцию по практике, где Линкина литературная одаренность прозвучала уже в отчетах студенток как нечто тривиальное. С участниками вечера у нее дружба. Было на днях коллективное посещение кино, где один из них в моменты

поцелуев на экране забирали у нее очки, чтобы оградить ее и присмотреться самому.

1961. Январь

Лёвушка, родной!

Мне вдруг так скучно стало и так тоскливо оттого, что еще не писала тебе. Ведь телефонные звонки чем-то напоминают пустышку, которой младенец имитирует кормление. А я стосковалась по письму твоему... Здесь всё в норме: все здоровы, все ходят, едят, спят, Линка иногда и занимается, Герка во время 1-ой прогулки пьет томатный сок, во время 2-ой – яблочный (с железной правильностью). И я тоже хожу и т. д. И делаю все, что у меня в календарчике записано, – консультации, электрик, портниха и т.д., и т.п. Но я себе при этом удивительно напоминаю механотропа (есть такой робот 2-ой половины века в пьесе Левады). Как и оный механотроп, я много читаю и усваиваю (и отбираю для тебя стоящее). Но мне ужасно хочется, чтобы все ожило. Просто даже удивительно, как меняется тонус в доме в твоё отсутствие...

1962. Июнь

...На вокзале, где поезд стоял 11 минут, было 13 человек <...>. Вагон наш в Киеве загрузили клубникой, варениками с земляникой и даже двумя помидорами...

Хорошо, что посвежело с чтением – с интересом прочла Эренбурга в № 6 «Нового мира» (и вообще хорош номер), да и «Странная судьба одного таланта» Смирнова в «Литературке» – это очень значительно. Прихвати, если получится, последние «Литературки» <...> или отложи дома. И, может, возьмешь у Риммы Пospelова «О природе искусства». Это стоит прочесть, и не спеша. ...А в № 6 «Звезды» за текущий год Л. Плоткин опубликовал литературный портрет В. Пановой, и такое рафинированное убожество, что дальше некуда. Вот тебе и дохтур!

1965. 31 мая

Вот, лапонька, тебе образчик эпистолярного стиля отпрыска: «Классом плавали на трамвайчике аж до Камской

электростанции. По дороге развели стряпню. Девчонки сделали даже окрошку, а мы – килограмма два отличного винегрета. <...> Сегодня мы с мамой были на могилах у бабушки и дедушки. Бабушкина могила в очень плохом состоянии. С дедушкиной могилы убрали желтые листья, и она сейчас очень хорошая. Целую. Сын». За этим протоколом есть и подтекст: 1) Годовая тройка сильно огорчила его и сутки, примерно, окрашивала настроение. 2) На могиле у папы я читала ему пушкинские «Стансы», много и хорошо поговорили. К маме я его брать не хотела, он настаивал, могила осела и на нее больно смотреть. Заплатила 5 рублей за то, чтобы выровняли, обложили дерном, посадили цветы.

1970. Лето. Остёр

...Вот уж никогда не думала, что бывает на свете такая блаженная тишина. Я наслаждаюсь ею физически, не спеша, пробуя на слух, на вкус, как стихи Беллы. Только здесь и нужно читать их.

А еще лучше – ничего не читать, а лежать, как я только что, – два часа на раскладушке под «нашим» окном – дремля и не дремля, думая и не думая, не вспоминая и вспоминая вплоть до первого моего Остра с мамой, когда я была меньше Герки и глупее настолько, что даже не подозревала, что есть на свете ты. А между тем, если бы не ты, ничего бы не было и меня бы не было. А если бы – чудом – была, то насколько же другая...

1971. Январь

Герка трудится, живет, по-моему, слишком замкнуто, домашне. Ему явно не хватает родителей – раз уж он к этой категории тянется, – которые бы ходили на лыжах, танцевали современные танцы и т. п. Однобокое, избыточно интеллектуальное развитие получается, что для современного парня – не совсем фонтан: нужно и самбо, и походы... Парень-то он чудный и самобытный, но тревожит меня...

1971. Февраль. Из письма дочери¹

...Что я <...> имела в виду сравнением Кандиды с Гесионой? И взгляд на семью, и на английского ее «главу», и на женщину с ее многопониманием и терпимостью, которые существенны для выявления положительного идеала Шоу, и эволюцию последнего (Кандида остается с мужем, чего-то недопоняв все-таки в уходящем поэте и в себе, а Гесиона и понимает все за всех, и жаждет, чтоб прилетели самолеты с бомбами в финале – очень искренне), и как создаются эти образы на скрещении многих эмоций и оценок, и выявление их проницательнейшего знания об окружающих, и т.д., и т.п. – вплоть до самоиронии героинь.

1971. 2 марта. Кисловодск. Из письма мужу

...Поразмыслив, пришла к выводу, что, раз атрофия одного органа обостряет и утончает другой (см. мое правое и левое ухо), то надо ли удивляться, что некоторое ослабление моего мыслительного аппарата привело к усовершенствованию сердечного. У российской интеллигенции ум с сердцем издавна был не в ладу. А тут еще «Острова в океане», которые я читаю не по-своему, по-обычному, а как только и надо их читать, не спеша, останавливаясь, перечитывая. А книга эта и по горечи, и по мудрости мало имеет равных. Не знаю писателя, который умел бы извлекать такую полноту бытия из каждой малости. Чертовски богатым человеком нужно быть для этого. И ум мой восхищает это, а сердце сжимается от страха. Так я люблю, и так я боюсь... (Помнишь у Берггольц? – «Я так теперь лелею и коплю / Людей любовь»?) Хожу я чаще всего по пустынным тропам и раз – под дождем – пела, иногда – стихи читаю, иногда – учусь думать (очень трудно это... тебе не понять, как трудно, – и, может быть, безнадежно в моем возрасте отучиваться иллюстрировать заданные выводы, сравнивать, комбинировать и пытаться вместо этого исследовать). А вчера, потрясенная, неожиданно для себя, стала почти молиться. Началось это от марта, когда я похоронила и папу, и маму, и вылилось в то, что

¹ Дочь С.Я. Фрадкиной Л.Л. Кертман в это время училась в аспирантуре (прим. ред.).

надо, чтобы мои любимые когда-нибудь похоронили меня. Только так...

Мои мысли до ужаса сосредоточены на тебе, Линке, Герке, по всем поводам и без всяких поводов, и я понимаю, что так нельзя (так не было раньше), понимаю, что если у Линки полноценно сложится жизнь, я гармонично шагну в период, к которому ты меня давно, мудро и бережно готовишь и к которому я подошла...

Живу я здесь преразумно – лечусь только полезным и приятным: ванны, массаж, душ шарко, воздушные ванны, физкультура, ходьба, много отдыхаю, не слишком много читаю. Как видишь, все правильно. Не хватает только людей – или их отсутствия. Понимаешь, их обилие мешает наслаждаться одиночеством (сегодня за завтраком соседки так искренне переживали, что вчерашнее «Отелло» оказалось с «плохим концом»), а раз не одиночество, так были бы хоть малость интересные люди. Впрочем, и это ерунда по сравнению с истинным.

1971. 8 марта. Кисловодск

Прочла в № 1 – 2 «Звезды» за 1971-ый «роман в письмах» В. Каверина «Перед зеркалом». Обеспечу это дома и тебе. Вначале мне это показалось немного стилизаторством, странным для Каверина, потом захватило силой чувства, связавшей двух самобытных людей, проводших почти всю жизнь в разлуке, любовью, ставшей больше творчества (но и творчеством тоже). И вдруг, в конце, выяснилось, что это – человеческие документы. Каверин ищет сейчас не капитанов и не 10-ую главу, а человеческие сердца. Мне захотелось, чтобы ты прочел это, зная Каверина, и подтвердил (или нет) мое чувство, что многое здесь по-особому близко ему. А мне, сегодняшней, по-особому близка мысль о неразрывности любви и работы (не совсем по Смелякову), о том, как много настоящие любящие могут дать друг другу и как они обкрадывают себя, когда не дают, когда мало общаются сердцем и умом...

1971. Март. Из письма дочери

...С Ольгой Берггольц первый разговор у меня был довольно беглый и, как мне показалось, натянутый. Она отвечала на мои вопросы (второй том «Дневных звезд» – о 1937 – 39 гг. в ее жизни – который был не закончен тогда, когда Твардовский торопил ее, сейчас уже не напечатают; Твардовский при смерти – к раку еще инсульт прибавился; Костя Симонов был у нее здесь пару дней назад перед своим отъездом; Панова не оправилась после тяжелого инсульта и уже ничего не пишет <...>).

Она предложила зайти к ней еще раз, и я сказала, что зайду, а сама сомневалась – мне казалось, что я была ей немножко в тягость, не нашла нужного тона и тактичнее будет не показаться. А получив сегодня перед обедом твое письмо, вдруг оделась и отправилась к ней (в подсознании здесь сработало два обстоятельства: 1) тебе интересно; 2) не надо быть инертной). Получилось очень хорошо. Я провела у нее минут 40 – 50; потом пришли какие-то знакомые – почитательницы, и она по-хорошему не стала меня удерживать, когда я поднялась, и очень искренне сказала: «Как хорошо, что вы пришли, а то я уже уезжаю – за 5 дней до положенного» (ее забирают в г. Орджоникидзе, где она не была 30 лет и где было очень многое, в том числе и первая любовь).

А когда пришедшие защебетали, что они ненадолго и, может, не стоит мне уходить, она сказала, что такие разговоры, как был у нас, не могут быть очень долгими – они дорого обходятся – и попросила мой адрес. А говорила она много, откровенно (у нее удивительно обнажены нервы), с болью о предвоенных своих годах, о рассыпанных наборах книг, о Ленинграде военных лет...

Интересно, что когда ее в 37-ом исключили из партии, райком послал («надо же кушать») преподавательницей литературы в 6-е – 7-е классы. Она не сразу нашла общий язык с учениками, но нашла уже всерьез и надолго. И в начале июня 41-го перед их выпуском пришла к ним и читала свои стихи:

Я так боюсь, что тех, кого люблю,
Утрачу вновь.

Я так теперь лелею и коплю
Людей любовь.

Ее огорчает, что многие (в том числе и Фадеев) считали военный взлет неожиданным у нее – она очень дорожит многими своими провидческими («Кассандриными») предвоенными, нигде не печатавшимися стихами.

И – говорит она – я могу писать только о себе (точнее, конечно, через себя) – «лирик по самой строчечной сути» – определяет себя Асеевским. Симонов в последнем разговоре с ней признавался, что и ему надоело «про Ивана Ивановича и Федора Федоровича», хочется про себя. Но у них это очень поразному. Он: ну, романы свои – это я могу отделить, а она говорит – ничего не могу отделить, все у меня переплелось в один узел. Не случайно и книжка, которая вышла (у нас есть, а 2-е издание рассыпали) – «Узел». Она, понимаешь, насквозь, насквозь женщина. У которой столько уже в прошлом, что она удивительно спокойно, между прочим, упоминает о смерти.

В общем, я тебе, солнышко, очень благодарна, что пошла к ней сегодня. И что ты мне часто пишешь.

...И еще вкладываю экземпляр «Пермского Университета» со статьей о Кожиной: она защитила докторскую – раз, среди перспективных ее учеников на первом месте стоит Гусев – два. Пошли ему, пусть ее поздравит и восстановит контакты...

А вот папа трудится по принципу «Ни дня без уймы строчек». Но делает это без судорожности и ночей, со вкусом, вставая рано и т.п. Сегодня прибыл № 1 «Вопросов истории» с его статьей (великолепной) «Законы исторических ситуаций»...

1972. Из письма дочери

А он [Гера] ведь еще и поэму творит о символах веры человечей и сам делится сомнениями – возрастная ли у него болезнь – стихи – или начинается всерьез? Вероятно, возрастное, но есть в нем и мышление образами, и чувства и мысли изрядного накала. Не повезло мне на детей – нет того, чтобы «попроще бы» – попримитивнее и посчастливее. Я вас, дорогие мои утонченные, ни на кого не сменяю (вот, высказалась, чтоб доказать, что хоть одна неутонченная натура в наличии).

1972. Осень. Из письма мужу

Что же касается Хемингуэя, интересно мы обменялись: я – прочтя тогда первые два [тома], ты – только третий. Лучше бы, милый, читать целиком. Во-первых, роман этого заслуживает. Во-вторых, Хемингуэй не из авторов, пишущих произведение во имя последней фразы – мироощущение героя не определяется тем, что он не понимает, чем был для главных своих людей.

Мне-то дорога и моя реакция (и не без основания, хотя тональность № 1 отличается от предыдущих) вызвала именно система ценностей героя, умеющего видеть за частным единственно главное – проявление жизни. Вероятно, самый большой человеческий талант в том, чтобы ее, жизнь, не выплескивать коту под хвост.

И не раздражайся, милый, тем, что в жизни Линки такое место занимает человеческое общение (иногда и не без потерь – в дурацких формах). Это такая огромная ценность, которой «с годами дорожить вдвойне» надо. Мне кажется, Линке немножко горько, что ты ваше общение нацеливаешь иногда *только* на помощь ей (подумай об этом не раздражаясь, ладно?)...

...Помню не очень пристойное выступление Бялика в 1963 г. в ИМЛИ (против А. Вознесенского). А тут в библиотеке попались его воспоминания о войне «Наедине с прошлым», в которых звучит голос нашей волны, и на фотографии он копия Юлика, и много острой правды, и Светлов, оказывается, по-настоящему дружил с ним, – так вот, когда в 49-ом его объявили космополитом за недооценку «Девушки и Смерти», Светлов зашел с бутылкой, завернутой в эту «Литературку», сказал жене Бялика: «Супруга униженного и оскорбленного, Поликушки и Муму, получай закусь!» – и вручил кекс с надписью на обертке:

Дождалась ты сдобы

От моей худобы.

И начал разговор словами: «А теперь о чем угодно, только не об этом. Порядочные люди не топчутся в дерьме, а обходят его. И – без многозначительных пауз! Мы не в Художественном театре»...

А в больнице незадолго до конца сказал: «А у тебя *там* собирается все больше друзей...»

1972. Декабрь

В век космической некоммуникабельности панически страшно отрываться от самых близких и думать о том, что и самые близкие могут отвыкать. Мне недавно после нечеловечески загруженного не столько делами, сколько заботами дня приснилось, что Арон Самойлович звонит из Киева, что мой папа при смерти и его везут в больницу в Пермь. Не стану описывать, щадя твои нервы, свой комплекс во сне, а утром вспомнилось, как я лет 12 – 13-ти рыдала, пряча под подушкой книгу Вербицкой «Горе шедшим, горе павшим», объясняя маме слезы болью в животе и глотая какие-то лекарства, над тем, как все заносится песком и люди перестают помнить лица ушедших...

1973. Май. Из письма дочери и зятю Мише

Приветствую вас, дорогие, с красочного ГЭКа. За последние 40 минут узнала немало ценного: что предложение «Он скучал и грустил» – неполное, так как «не сказано, отчего грустил»; что «каждый человек в «Железном потоке» изображен со своими интересами и своими самоварами»; что «Гаврила так унизил себя, что упал на колени перед Челкашом и готов был его убить», что «Маша Забелина ведет распутный образ жизни» и что, по Маяковскому, «любовь и общественную деятельность надо уметь совмещать». Так-то, поймите это в виду...

...Как-то все более обидно, что входит в традицию 15 июля проводить раздельно. Виновата, конечно, я – надо же умудриться рожать в сплошные каникулы – то летние, то зимние. Это типично для меня – в рабочее-то время я так закручена, что и родить было некогда... Когда обростете детьми, поймете, что в век авиакатастроф телеграмму о приземлении посылают не вечером, после Гидропарка, а утром – по телефону или по дороге на Днепр (мне даже обидно было выигрывать пари у папы, который был убежден, что вы лишь вечером 8-го приземлились).

1973. Осень

Компенсирую недостаток духовной пищи книгами и взяла этот листок, чтобы поделиться изречением, которое

В. Конецкий взял эпиграфом к одной из глав своих талантливых путевых заметок (возьму тебе в библиотеке):

«Население мира может увеличиваться вдвое каждые 30 – 40 лет, однако если закон, которому подчиняется рост числа ученых, будет действовать в течение еще двух столетий, то все мужчины, женщины и дети, все собаки, лошади и коровы будут учеными» (бывший министр просвещения и науки Англии профессор Бертран Бойден).

1973. Декабрь. Из письма дочери

...Казнь капитанши Мироновой в «Капитанской дочке» – первая убитая старуха в русской литературе...

И «презумпция незнания» – человек человеку загадка...

...От Пушкина к Достоевскому: Гринев и князь Мышкин.

...Каждый ведущий дневник – то есть постоянно видящий себя «со стороны» человек – немножко Грушницкий...

Бред, скажешь ты? – Но это надо послушать – и с доказательствами, и с анализом текста – очень он талантлив.¹

Середина 1970-х. Из письма дочери

Суслов с кафедры истории КПСС, член парткома, в своем выступлении черт-те что наговорил. К примеру, что т. к. классовые чувства, как известно, переживают классы, то у нас немало и сейчас классовых врагов – детей тысяч раскулаченных и т. п., что сейчас следует говорить не о борьбе идеологической, а о войне – и т. д., и т. п. ... Сказано было все перед переполненным актовым залом, который на обострение и усиление классовой борьбы реагировал шумом. Растерянный Фадеев, заключая и благодаря докладчиков, отметил, что выступление Суслова страдало рядом неточностей – и все.

1974. Март. Из письма дочери

...Что касается аксеновских мальчиков, – дело, по-моему, не в том, что мало мужчин рождалось в конце войны (не так уж мало), а в том, что такими – упрямыми, независимыми, нравственно требовательными, ищущими – их делало время. А

¹ О лекциях В. Турбина на ФПК в Москве (прим. Л.Л. Кертман).

иное время меняло эти качества, делало их либо спокойнее (да и года клонили к другому), либо скепичнее – и без напряженного поиска, либо – тут еще есть о чем подумать... Да ведь и для 60-х годов это не массовое явление, а захватившее часть – весьма определенную – городского, преимущественно, круга...

1974. Апрель. Из письма дочери

...Рвусь писать тебе с момента получения твоего письмища (спасибо тебе за него огромное), но – ну физически никак дойти до стола не могла (не до того, папиного, заваленного бумагами, где дописала, доперделала точнее, три главы из пяти и устала до чертиков, а до столового хотя бы, где ничто не напоминает о делах, делах, делах). Но так как всех дел не перделаешь, черт с ними!

Ох, как я понимаю тебя, родненькая, с этой ситуацией вечной «запарки» с лекциями и постоянным грузом над головой. Не только потому, что я с этого начинала, а потому, что даже сейчас, сидя или покрашенная, я ловлю себя на том, что недодуманная или паршивая лекция портит настроение (вот вчера такую прочла – тут появилась одна умнющая студентка: ох какую чудную речь на практическом занятии она произнесла против моей «казенной» концепции и в защиту Клим Самгина – и перед ней как-то неловко недодумывать и халтурить). А что делать, когда жизнь собачья. Ты только не подумай, что я мою ситуацию с лекциями (26-ой год дую советскую, не говоря о том, что все остальные были до нее, но тут мне как раз мешает этот стаж – надо ведь отрешаться и видеть свежими глазами) сравниваю с твоей. Я понимаю – тебе бы такие заботы! Но «утешаю» на будущее – «покой нам только снится». И ты умница, конечно, что вырываешься в концерт и в кино (а что это такое «кино»? – я уже забыла). Позволяю себе писать бредово, во-первых, потому что для логики слишком устала, во-вторых, потому что так создается иллюзия живого общения со мной во всей его алогичности...

...Вечер встречи прошел неплохо, из вашего выпуска не было ни одного человека.

...Ожегова такое учиняет Смирину, по лучшим образцам 1949-го. Лезет без конца во всю его работу, натравила на него

комиссию и подсказала выводы: лекции плохие, идейно порочные и т.д. (Это у нее, кажется, единственный думающий человек на кафедре!) Весело...

1974. Сентябрь. Из письма дочери

...В самые трудные дни и ночи бабушки я, чтоб не свихнуться, решила написать 3 месяца назад обещанную для радио передачу «Панова в Перми» – усилий интеллектуальных это особенных не требовало, а мысли все же отвлекало, и смысл какой-то вносило, и перспективу рублей на 30. Брала всякие интервью по телефону у общавшихся с ней в военные годы. Хорошо так поговорила с Гинцем под вечер, в среду, а в четверг рано утром звонок его жены, захлебывающейся рыданиями: в час ночи Савватий Михайлович у нее на руках скончался (сердце). Я побежала к ней (не очень тепло одевшись), а на следующее утро нагнулась достать что-то бабушке из шкафа, а разогнуться не смогла. Так меня еще не схватывало. В субботу хоронили Савватия Михайловича без меня, и больно мне от этого очень. Такой он был светлый и безукоризненно интеллигентный человек, которых все меньше остается. И я даже не представляла, как сердечно он относился ко мне – мне жена об этом сказала, позвонив на рассвете. Ее бесконечно жаль. Романтическая это история... Ее арестовали в 37-ом, провела она там 13 лет... И прожили они на редкость задушевно почти четверть века, и умер он с криком: «Наинушка, помоги!»

Так как логике в этом письме уже не бывать, сразу еще об одной жертве этого страшного года – сегодня в 4 часа утра скончался (сердце) Борис Облапинский. А ему-то не 71, как Гинцу, а около 40...

...Была на уроке у Е.Н. Мерлиной – она впервые меня допустила – и очень порадовала ее, сказав, что поняла добрую и долгую память о ней учеников. Совсем не шкрабистый, «методически порочный» – и с опросом не то, и задание давала после звонка, и письма Герцена к сыну совсем не программные, и комментарий их очень субъективный – и потому прекраснейший (хоть по существу мыслей о литературе XIX-го века и не бесспорный) урок...

Папа меня сейчас в письме бесконечно обрадовал чуть ли не детской увлеченностью своими Чемберленами, в каждом из которых, даже скучных, он откапывает изюминки, и восторгом от интереснейшей книги протоколов заседаний кабинета министров за 1937 – 40 гг., – тем, как впервые в истории опубликована вся английская кухня...

(Мои фразы, скобки и т. п. – влияние синтаксиса Фолкнера, – без его таланта, правда, но это уж – детали)...

1975. Зима. Из письма дочери

Очень огорчает меня настроение, которое я ощутила в разговоре с папой – то самое нервное напряжение (когда что-то висит и не получается, а время идет), которое больше всего укорачивает жизнь. Его надо снимать сочетанием мудрости и положительных эмоций, но мудрость слишком часто изменяет, а эмоций этого типа явно не хватает...

1975. Июль. Из письма дочери

...До чего папе необходим настоящий, полный отдых, но никакими силами сейчас не удастся его отправить. Обещает поехать в октябре, но я боюсь, что это будет у него разгаром работы над книгой. Кроме усталости, его, конечно, подкосила смерть Марии Самойловны. Он терзается, что ей было скучно в Перми (конечно, старость в Киеве была бы естественнее для нее, но что ж поделать) – его все время тянет на кладбище, и я очень рада, что его, наконец, просто вызвали в Москву на совещание...

1975. Август. Из письма дочери и зятю Мише

...Дайчи в своем репертуаре – как тут быть? Если обрастать кожей, чтоб не повадно было так злоупотреблять вашей душевной мягкостью (ну, на кой вам была эта машина?) – так не грозит ли это некоторой потерей индивидуальности? Вот дилемма, но решать ее будет жизнь, в которой либо – «мяли много, вот и мягок», либо – кожа дубеет.

Плохо лишь, что сердце не дубеет и под кожей. У меня, например, – уж на что металлическая женщина, – а стенокардия обострилась – и лечат меня (это я по дороге с уколов), и причитают, и сердце-таки побаливает. Но волнуюсь я, как

обычно, за папу – вроде и не жалуется он, но все принимает к сердцу, и оно сдает.

1977. Февраль. Из письма дочери

...Прогуливаюсь иногда со своей дояркой [соседкой по комнате] – неплохой она человек, с нелегкой жизнью (на детство пала оккупация, которую хорошо помнит, муж пьет, девочки болеют, а работу свою, коров, очень любит, и жизнь любит, и интересуется ею). Немало читаю. Кажется, писала тебе, что в восторге от книги Анатолия Эфроса «Репетиция – любовь моя». Попробуй взять в библиотеке. Центральные мотивы его творческой одержимости – раздумья над постановками Шекспира и Чехова...

...Смотрела «Джейн Эйр» – сентиментально, но местами трогательно. А вот в оценке «Последней жертвы» не согласна с тобой. Мне сочетание психологизма и сатиры показалось неорганичным, цельного впечатления не произвело.

Жду кое-чего от двух экскурсий, на которые записалась: 1) По литературным местам Карельского перешейка (Ахматовой, Андреева, Блока, Зощенко); 2) Репинские «Пенаты».

Да, впечатлили меня воспоминания об Анатолии Тарасенкове (критике, литературоведе, создателе полнейшей библиографии поэзии XX века и владельце уникальнейшей библиотеки, где были, например, им собранные, переписанные и переплетенные все стихи и вся проза Цветаевой, в том числе никогда не издававшаяся) его жены М. Белкиной. Вспоминает, как Цветаева гладила пальцами корешки этих книг, курила, ходила из угла в угол, не хотела забирать, когда началась война (некуда, а «если уж суждено сгореть, то пусть сгорю здесь...»), – а когда уговорили, автор видела из оконца, как «шла по булыжной горке, по клубам тополиного пуха, вверх, по переулку, туда, где теперь на площади Восстания стоит небоскреб... сын ее, высокий, красивый, не по возрасту большой, нес чемоданчик. Она шла рядом».

И еще о том, как не мог Тарасенков расставаться с книгами. «В 1955 г. из Сибири вернулась в Москву дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна – Аля Эфрон, она увидела у Тарасенкова на полке книгу матери «Царь-Девушка», купленную им у букиниста уже после войны. По переплету, по шифру на переплете она

узнала книгу. Эта книга принадлежала матери, была из личной ее библиотеки... Тарасенкову пришлось даже схватиться за валидол, у него было уже несколько инфарктов.

– Но я ни в коей мере не претендую на эту книгу, – сказала Аля. – Я знаю, что это значит для вас...

– Я должен был ей отдать? Да?

Это уже когда она ушла.

– Да.

– Но я не могу... Неужели остался осадок? Я ее так люблю, так хорошо к ней отношусь. Я готов для нее сделать все, что угодно, только не это! Неужели она не поняла...

(Поняла... Потом всем, чем могла, что сумела разыскать цветаевского, делилась с Тарасенковым).

1977. Октябрь. Из письма дочери

В Перми нам как-то все более неуютно жить – все больше ощущается, что нет близких людей. Вот получила сегодня пару писем из Киева (Густа очень болеет, а «девушки» из 45-ой благодарят за поздравления к 60-летию, шлют стихи и тяжелые новости...) – и почувствовала я, что родина все же там. Ты это внушала мне всегда, а я стала острее чувствовать с годами. Хотя жить бы в Киеве не хотела. Скорее – теперь уже – в Москве, но трудно и странно представить себя на пенсии. Но что неуютно – это факт. Жили бы вы в Перми, потеплее было бы. Но... Одним словом, расхныкалась я. Но имею же я право иногда быть слабой. А то даже на собрании сегодня говорили, что наш успех – результат и моего жесткого руководства (хорош комплимент!)...

Мне бы очень хотелось знать, когда, на какие дни можно ждать вас. Я ведь, как вы понимаете, юбилею особого значения не придаю, но повидаться, конечно, очень хочется. Если вам удобно не в районе 26-го, а 31 и 1-го, напишите (только сразу же), и тех (не очень многих), кого решим позвать, пригласим на 1-ое, допустим. Одним словом, прикиньте и сообщите. Герка как будто тоже подъедет. Он не пишет вовсе, что меня обижает. Было время, когда его привязанность рождала даже тревогу о том, как тяжело ему будет лишаться меня (только прими это эпически – я же не планирую это на обозримый период). Сейчас

же он так прочно отдалился, что подобными тревогами и не пахнет. А о том, что я полагаю элементарным сыновним долгом давать знать о себе (вспоминаю письма нашего Геры маме из Хабаровска), можешь ему от моего имени деликатно сообщить. Звонить и воспитывать его я не хочу, но, если так будет продолжаться, я займусь самовоспитанием в том же, отчуждающем ракурсе. А это не безболезненно. Не думай, родная, что я в такой форме отчитываю тебя. Твоя связь с «домом», с предками то есть, органичнее, и я, при отсутствии писем от тебя, просто психую, а не обижаюсь. Но и от этого «просто» следует – ей-богу! – меня щадить. Ведь силы мои (и нервные в том числе) с годами не прибывают, и после ночей с тревожными снами и бесконечными просыпаниями впрягаться в ремонт (слава богу, начал намечаться конец) и в нагрузку – часов 20 лекций в неделю и бесконечные кафедральные отчеты – все труднее.

1983. Зима

Бабушка по-прежнему, нянчиться с ней приходится очень много, и меня в связи с этим очень тревожит проблема моей поездки на ФПК. Живем мы накрепко привязанными к дому (не оставляем ее, как правило, совсем – вот вчера на «сороковины» к Горовой папу отправила одного...).

1983. Зима. Кисловодск. Из письма дочери

...Может быть, от отдельной комнаты, а может, от возраста больше, чем обычно на отдыхе, думаю, вспоминаю, преимущественно очень далекое, и часто-часто – Броню... Как бесконечно далеки были мы с ней летом (прощаясь до следующего лета) от мысли, что это – наша последняя встреча... Еще и еще раз просматривая, продумывая ее жизнь, убеждаюсь, каким же самобытным человеком была она. И каким цельным. И как во всех сложнейших ситуациях своей жизни (от отношений с Давидом Евсеевичем Тамарченко до последнего разговора с Лёвой) она ни разу не изменила себе. И я – человек иной системы ценностей, воспринимавшая многое в ее поведении как нарушение элементарных норм человеческого достоинства, – сейчас не то чтобы пересматриваю свои взгляды, но не могу не

преклониться перед такой абсолютной, убежденной и неизменной верностью собственному пониманию и мироощущению, для которого естественно было умение полностью стать на точку зрения другого человека, понять, прочувствовать за него и органично принять это в себя. Я несвязно выражаюсь, но ты поймешь, тем более что всегда диалектичнее реагировала на ее бытие...

1988. Июль. Из письма дочери

...Вот я уже еду домой, а поезд оказался какой-то дополнительный, не по расписанию, и в Москву прибудет не утром, как я сообщила, а около 6 вечера завтра. Попробую еще ночью дополнительно протелеграфировать, когда переедем границу, и не отстать. Стоит он, где только не лень (сейчас в Бресте, где нас очень поверхностно, в соответствии с новым мышлением, контролируют). А я собрала ошметки бумаги, оказавшиеся в сумке, чтобы побеседовать с тобой хоть чуть-чуть. С трудом верится, что лишь две с половиной недели назад я еще была дома. Много впечатлений, и разумно, что я поехала. Хотя иногда (преимущественно ночами, но не только), невыносимо тяжело... Во всем, что вижу, узнаю – папа, мысль о нем. Как это было бы вместе, и боль, боль и пустота...

Лина Кертман

«ПУСТЬ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ ВСТРЕЧА...»

Отрывки из повести

...Город Молотов начала и середины 50-х годов. Мы тогда жили в общежитии на улице Дальней. Оно стояло напротив железнодорожной насыпи, и мимо окон днем и ночью проходили поезда. Там были длинные широкие коридоры, и нас почти не ругали, когда мы мчались по ним сломя голову. Четырехэтажное здание ярко-желтого цвета было выстроено по широко распространенному типовому проекту тех лет – в форме буквы

«И», с двумя «крыльями». Но эта стандартность постройки не помешала общежитию стать для нас, живших там детей, единственным оазисом тепла и домашности в холодном чужом городе. Здесь, в узком промежутке между крыльями, помещался тогда целый мир. Здесь был двор нашего детства, с цветочной клумбой, в середине которой стояла традиционная статуя тех лет – девушка с веслом, со скамейками вокруг клумбы и вдоль стен, с песочницей для малышей, с волейбольной площадкой. Сколько людей выходило во двор весенними или теплыми осенними вечерами! На волейбольной площадке шли сражения команд студентов и преподавателей – там часто играли и наши родители. На скамейках сидели с книгами или шитьем няни, мамы или бабушки, тут же студенты с учебниками перед сессией – мы даже старались не очень шумно играть, чтобы не мешать им готовиться к экзаменам. В песочнице с другими малышами копошились и наши с подругой Валькой младшие братики. И никогда не было тесно в маленьком нашем дворе, всем хватало места на скамейках...

Зимы на Урале были суровые. Но именно поэтому случались у нас с Валькой наши «26-градусные праздники». Еще с вечера почувствовав сильное похолодание, из-за которого нам не удавалось подольше погулять во дворе, мы рвались позвонить в бюро погоды и выяснить прогноз на завтра, чтобы уж не прерывать напрасно драгоценный утренний сон, но против этого категорически возражали наши мамы: «Утром может так же резко потеплеть – и что тогда?» Ничего не поделаешь – приходилось вставать в полседьмого утра, чистить зубы, умываться, причесываться, вплетать в косы ленточки, завтракать, надевать школьные формы, пальто, шапки, завязывать шарфы, складывать портфели и спускаться на первый этаж, где дремала за столом дежурных старуха Галкина (почему-то все общежитие звало ее только по фамилии) и начинала утреннюю уборку этажей и лестниц ее соседка по комнате тетя Нюра – ее злых глаз и резкого крика общежитские дети очень боялись. Тихо, медленно и чинно спускались мы с Валькой в такие дни с нашего третьего этажа, спускались шагом, исключаяющим всякие сомнения в том, что мы идем в школу и ничего другого быть не может. Так мы заклинали судьбу. Но на

последних ступеньках не выдерживали: наперегонки устремлялись к висевшему в углу большой площадки первого этажа телефону, хватали, вырывая друг у друга из рук, трубку, нетерпеливо набирали номер бюро погоды и, затаив дыхание, ждали ответа. Ура-а-а! 27 градусов!

Когда меня в первый раз привезли в наше общежитие, мне как-то сразу показалось очень правильным, что улица, на которой оно стоит, называется «Дальняя». И остановка трамвая – тоже «Дальняя». Ну конечно! Дальняя – как бы еще могла она называться! Ведь так далеко от нашего Киева мы заехали. В город на Каме – тот самый, про который поется «не достать руками, не дойти ногами». Я знала эту песню, понимала, о чем она, но чувствовала ее совсем по-другому, по-своему: это до Киева нам теперь не достать руками, не дойти ногами...

...Но все-таки мимо наших окон днем и ночью проходили поезда и слышались гудки паровозов. Это очень важно...

В наши 26-градусные праздники мы – по многим причинам – старались пореже попадаться на глаза родителям, что было нетрудно, потому что во многих комнатах нас встречали весело и приветливо. Особенно нравилось нам заходить в гости к двум философам – дяде Илье и дяде Герасиму (по очереди). Стучать в двери каждого из них просто так, без причины, мы стеснялись, поэтому всегда говорили, что в школе объявлен сбор макулатуры. (Кстати, когда такой сбор в самом деле объявлялся, мы с Валькой притаскивали из нашего общежития бумаги больше всех и страшно гордились!) Не знаю, заметили ли философы, что пионеры нашей школы просто завалены непосильными планами по сбору макулатуры. Наверно, нет – чтобы это заметить, им надо было бы спуститься с философских высот. Во всяком случае, бумагой они нас снабжали исправно и гораздо в большем количестве, чем жильцы других комнат. Охотно и благодарно разгребал свои бумажные завалы на этажерке и на полу у окна дядя Герасим. Дело это было долгое, и дядя Герасим успевал рассказать что-нибудь интересное про свой родной Ереван, про письма мамы оттуда. В нашем общежитии почти каждый человек тосковал по своему городу. Он сам упаковывал и перевязывал для нас большие пачки и

радушно приглашал заходить еще: «Всегда буду рад быть полезным!»

Я знала, что это не просто красивые слова. Когда на первом уроке рисования в первом классе я получила задание нарисовать петуха и ревела от полной безнадежности, папа вздохнул, крепко взял меня за руку, и мы с ним отправились по общежитскому коридору за помощью. Самым отзывчивым оказался дядя Герасим. Он трудился с десяти вечера до часу ночи! В последний час, правда, к нему присоединился дядя Илья, который тут же заспорил с дядей Герасимом о создаваемом им образе петуха в сложных философских терминах. Результат их усилий был, кажется, ошеломляюще неожидан для них самих – петух был великолепен, глаз не отведешь! Это была моя первая и единственная на беспросветном фоне двоек и троек – пятерка по рисованию!

Много лет спустя, объясняя на лекции на нашем четвертом курсе суть понятия «софизм» и разницу между истинным и ложным утверждением, солидный ученый Герасим Сергеевич Григорьев вдруг ехидно-насмешливо скосил глаза в мою сторону:

– Ну вот, например, любой петух есть птица, но не любая птица есть петух...

Дядя Илья любил ходить в гости в «семейные» комнаты. У нас он тоже бывал часто и дружил в нашей семье с каждым по-своему. С бабушкой он ходил в кино и в оперный театр, а она больше всех других гостей любила кормить дядю Илью своими оригинальными печеньями. Дядя Илья всегда с нетерпением ожидал ее приезд из Киева к нам на зиму и встречал с цветами. С папой дядя Илья говорил о политике. К нему он спешил, съездив в Москву и набравшись всяких новостей. «Лёва, а Вы знаете, какая теперь самая длинная фамилия? – кричал он еще с порога. – Ипримкнувшийкнимшепилов!» И потом до глубокой ночи шептался с папой о подробностях «потрясающего переворота». «Вы знаете, все висело на волоске! Страшно подумать, как все могло обернуться...».

Взволнованно прибежал он к нам после самоубийства Фадеева и говорил что-то мне совсем непонятное: «Это

символическая смерть. Это приговор целой эпохе...» Смерть Фадеева тогда даже у нас в 84-ой школе всех взбудоражила. Буквально за несколько дней до трагедии у нас был культпоход – большая редкость для нашей школы – на фильм «Молодая гвардия» с молодыми Инной Макаровой и Мордюковой, и вдруг такое! Тогда чуть ли не единственный раз за всю нашу школьную жизнь кто-то из мальчишек на уроке задал вопрос Галине Петровне: «Почему Фадеев застрелился?» И все зашумели. И я совершенно не помню, что ответила Галина Петровна. Помню, что я сама ни с того ни с сего вылезла с версией, услышанной дома (видимо, отработанной специально для меня): «Он тяжело болел и не хотел больше мучиться!» А кто-то из мальчишек с досадой и насмешкой крикнул: «А ты уж прямо больше всех знаешь!»

Помню поразившие меня слова дяди Ильи: «От угрызений совести...» До этого дядя Илья рассказывал запутанную историю о Стаховиче – то есть не Стаховиче, а том парне, с которого Фадеев писал Стаховича, – что он совсем не предатель, что Фадеева обманули, а что предал кто-то другой, не известно кто. Это я тогда страшным шепотом рассказала Вальке, и мы в ужасе строили какие-то предположения, и было нам очень тяжело...

Вообще-то мама и бабушка замахали тогда руками на дядю Илью, чтобы он при мне не говорил о таких вещах, но папа резко возразил: «Пусть слушает!» А мне потом сказал, что я уже не маленькая и должна понимать, что в школе о таких вещах говорить не следует, к сожалению. Фадеева в том разговоре папа резко осудил: «Что значит «обманули»? Какое он имел право так – с человеческими судьбами? Он обязан был писать всех героев под вымышленными именами! Книга неплохая, но именно если смотреть на героев как на литературных! А эти претензии на столь конкретное знание внутренней жизни реальных, так недавно погибших людей – бестактность! Хотя бы по отношению к их родным! Я не уверен, что они узнают в книге своих детей». А в ответ на слова мамы о том, что мать Олега Кошевого в книге «Повесть о сыне» примерно так же и в таком же стиле написала о нем, папа совсем вскипел: «А об этих матерях, делающих себе славу на крови своих детей, я вообще слышать не могу!»

Не помню, чтобы я или Валька тяжело задумывались или переживали как тяжелую драму то, что в школе нельзя говорить о многом из того, что слышали дома: в школе была настолько другая жизнь, чем в нашем общежитии, настолько школа была «не дом», что и желания такого не могло возникнуть и в голову такое не приходило!

Услышав странные слова дяди Ильи об угрызениях совести, от которых застрелился Фадеев, я сразу подумала о невольно оклеветанном им прототипе Стаховича. О чем еще могла я подумать? Истинный смысл тех слов я понял несколько позже.

К смерти Фадеева мы вернулись еще через несколько месяцев, когда папа привез из Москвы отпечатанный на машинке прозаический отрывок – мы тогда не знали, откуда! – своего любимого Пастернака. Папа тогда велел мне сбегать за дядей Ильей и с большим волнением, со слезами на глазах читал нам, как Пастернак представляет себе последние минуты жизни Фадеева, как он улыбнулся себе в зеркале: «Ну вот и все, Сашка...».

С мамой Дядя Илья много спорил о литературе, вернее, даже не спорил, а азартно требовал от нее как от филолога ответа по поводу удостоенных Сталинской премии произведений. Мама смеялась и отмахивалась...

Свои отношения были у дяди Ильи и с моим двухлетним братишкой. Однажды, когда родители были приглашены к кому-то в гости и спорили, кто поедет, а кто останется с ребенком (няня братика уехала в деревню, к своим родителям), состязаясь в самоотверженности и благодетельстве, заглянувший в разгар спора дядя Илья сказал:

– Поезжайте оба! Я останусь!

Предложение было соблазнительное, но родители все-таки колебались. В конце концов дядя Илья убедил их, что он вынаничал младшего брата и все умеет не хуже, а может, и лучше их, такого опыта не имеющих...

Много лет родители не могли забыть картину, которую застали, вернувшись около часу ночи. Дружно обнявшись, лежали братишка с дядей Ильей на диване и на редкость слаженно и громко пели: «Шумел камыш, деревья гнулись...» Дядя Илья упоенно дирижировал ногой в порванном носке.

Увидев вошедших родителей, он на секунду запнулся, но братишка требовательно затормозил его и нетерпеливо запел дальше: «Одна возлюбленная пара...».

С тех пор братишка каждый приход дяди Ильи приветствовал строчками полюбившейся песни, с негодованием отвергая его соглашательские попытки обновить репертуар какой-нибудь банальной преснятиной вроде «Мы едем, едем, едем...» Вероятно, в знак протеста против оскорбительных попыток бабушки и примкнувшего к ней дяди Ильи навязать ему младенческий репертуар, который он давно перерос, братишка во дворе влез на скамейку и громко от начала до конца исполнил свою любимую песню перед широкой аудиторией заполнивших двор студентов мамы и папы...

...Однажды – было это, кажется, в конце пятого класса – наша классная руководительница Галина Петровна задала нам подготовить к Октябрьским праздникам выступления – выучить наизусть любимое стихотворение и песню (неспособным к пению разрешалось в крайнем случае продекламировать и песню как стихи).

Я знала, что мои самые любимые песни – «Старый парк» Шульженко или «Есть море, в котором я плыл и тонул» Утесова и тем более «Ночь идет на мягких лапах, дышит, как медведь, мальчик создан, чтобы плакать, мама – чтобы петь», – ее мама пела мне давным-давно в Киеве – не годятся для исполнения на пионерском сборе, посвященном празднику Великого Октября. Но и те торжественные стихи и песни, которые полагалось любить в таких случаях, я любила тоже искренне! Мне очень нравилось, например, задушевное стихотворение про первоклассницу, напечатанное в «Родной речи». Учебник сохранился, я быстро нашла его и начала громко декламировать:

Я в школу принесла с собой
Осенние букеты.
И Сталин – добрый и родной –
На нас глядит с портрета.

– Что ты учишь? Вам это задали? – удивленно спросила мама. Я объяснила задание. Мама взглянула на стихотворение. Начиналось оно мило и трогательно:

Я на уроке в первый раз,
Теперь я ученица.
Вошла учительница в класс –
Вставать или садиться?

– Ну ладно, учи. Посмотрим, что тебе скажут, – как-то странно добавила мама.

Уже доучив это стихотворение, я вдруг вспомнила другое.

– Мам, а может, лучше другое? Оно, наверно, больше подходит к торжественному празднику? Вот послушай!

Над долиной ровной, да над тем простором
Два Сокола ясных вели разговоры.
А Соколов этих люди все узнали:
Один Сокол – Ленин, другой Сокол – Сталин.

– Другой Сокол – Сталин! – раздалось вдруг из кровати проснувшегося братишки. Он знал, что обычно его хвалят, когда ему читают стихи, а он повторяет вслух последние строки. Так как на этот раз похвалы не последовало, он особенно требовательно повторил:

Другой Сокол – Сталин!

– Это какой-то кошмар! – схватилась за голову мама. – Дети, прекратите немедленно! Ты, маленький, спи дальше, а тебе, доченька, я все-таки советую остановиться на первом стихотворении.

– Почему?

– Ну... там про девочку-школьницу, это тебе ближе. И потом, уже поздно, а оно у тебя выучено. Вот и ложись, а то из-за тебя братик не спит!

– Мне все равно еще песню надо! – захныкала я.

– Ну, давай быстрее!

Чтобы не мешать брату заснуть, я вышла в коридорчик и тихонько запела:

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и в труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

– Час от часу не легче! – вздохнула мама, выйдя вслед за мной.

Меня уже начали раздражать ее бесконечные придирки. Что это с ней сегодня?! Ладно бы за арифметику или чистописание, но уж за уроки родной речи и потом литературы меня никогда не ругали!

– Ничего не поделаешь, – сказала мама. – Не хотела я пока с тобой об этом говорить – слишком рано, не поймешь ты всего...

– Можно подумать, мы тут всё понимаем! – проворчала подошедшая бабушка.

– Да погодите, вы же видите, я и так волнуюсь – не знаю, как ей сказать... В общем, доченька, оказалось, что Сталин был не таким хорошим человеком, как мы думали.

– Мама, что ты говоришь? Как ты можешь?! – в ужасе, не веря своим ушам, закричала я.

Тут я надолго разрыдалась. Бабушка гладила меня по голове и говорила:

– Бедные дети! С ума сойти, что с детьми сделали!

А мама сказала:

– Он сделал много ошибок и принес людям много зла этими ошибками. Мы хотели попозже, когда ты хоть немного подрастешь, тебе рассказать, но должна же ты хотя бы знать, что не надо больше петь такие песни. И стихи такие сейчас не учат.

– Как? Не учат про Соколов? – потрясенно вскричала я.

– Не учат. Это я точно знаю.

С каждым новым словом мамы мир становился все страшнее и непонятнее.

– Мама, а какие... какие ошибки он... какие ошибки сделал товарищ Сталин? – шепотом спросила я, все сильнее ужасаясь теперь уже каждому своему слову.

– Ой, нет, доченька! Об этом мы сейчас говорить не будем! Это тебе папа когда-нибудь объяснит... Папа всегда понимал больше всех нас. Но тебе еще рано о политике!

– Так разве я про политику спрашиваю? – удивилась я. – Я же только про то, какие были ошибки у товарища Сталина... – Во второй раз я произнесла эти слова уже спокойнее и вспомнила часто со вздохом произносимое бабушкой: «Человек ко всему привыкает...»

А теперь о том, как папа хотел помочь нам изменить нашу тусклую школьную жизнь.

Он в первый раз тогда пришел на собрание в нашу 84-ую, и все увиденное и услышанное произвело на него глубокое впечатление. С этого признания он и начал.

– Знаете, ребята, смотрел я на вас, слушал – и удивлялся! Нет, не двойки ваши и не плохое поведение на уроках меня удивили. Это все и у нас бывало! Совсем без этого редко кто в школьные годы обходился. И хотя как отец я обеспокоен, но все-таки понимаю, что ничего особо страшного в этом нет. Да что говорить! – я и сам и с уроков сбегал, и дрался на школьном дворе!..

Галина Петровна вздрогнула. Она рассчитывала на более четко сформулированную родительскую поддержку своей любимой идеи о том, что главное – помнить, что такое хорошо и что такое плохо, надеялась, что кто-нибудь из родителей поможет ей еще раз развернуто нам об этом напомнить.

– ...Да, и дрался! И к директору не раз вызывали! – продолжал папа. – Но я, конечно, так не стоял, как вы здесь. Удивляюсь: ругают вас, поучают, а вам что, и сказать нечего? Должны же у вас быть свои какие-то взгляды, убеждения, свои мысли... Конечно, вас за многое правильно ругали, но, знаете, я был бы не так огорчен всем, что увидел, если бы вы даже спорили – что-то бы признали, а с чем-то не согласились! Даже если бы кто-нибудь сказал, что ему какой-то предмет не нужен, потому что он чем-то интересуется и хочет иметь больше времени для своих интересов...

Члены родительского комитета неодобрительно покачали головой, Галина Петровна побледнела, но папу понесло.

– ...Все лучше, чем так, не обижайтесь на грубость, тупо стоять и молчать! Я уверен: каждый из вас все равно чем-то интересуется! Обидно, что не только мы, старшие, этого про вас

не знаем, но вы – мне почему-то так кажется! – и друг с другом мало говорите, плохо друг друга знаете!..

Господи, – вот уж что никогда не заботило собравшихся здесь взрослых!

– И еще одно меня удивляет и огорчает... Как вы сидите! – вдруг гаркнул папа совершенно ему не свойственным военруковским голосом.

Мы стали, вздрогнув, удивленно оглядываться. К таким окрикам в 84-й мы, конечно, привыкли – это было как раз самое для нас привычное во всем странном выступлении папы! Но уж сейчас-то все сидели на редкость тихо.

– Девчонки в одном ряду, мальчишки – в другом!..

Таких фамильярных слов не было в обращениях к нам Галины Петровны на классных часах и других взрослых на собраниях. К нам всегда обращались так: «девочки и мальчики».

– ...Если бы еще вы только сегодня так, родителей бы застеснялись – тогда понять можно. Но я же знаю – вы все время так живете! И в перемены друг с другом не разговариваете, и подойти боитесь, и рядом пройти стесняетесь. Эх, вы! Ну, а о том, что девчонки боятся мимо мальчишек пройти – боятся, что их толкнут или стукнут – об этом я и говорить не хочу, до того противно это и стыдно! Вы ведь неглупые парни! Я это вижу, несмотря на то, что вы на этом собрании, к сожалению, ничего умного не сказали. И вы уже не маленькие дети! Да мы в ваши годы в кино девчонок водили, дни рождения вместе праздновали...

Члены родительского комитета вздрогнули. «Этого только не хватало!» – услышали мы с Валькой шепот двух строгих мам.

– ...И в школе на сборах спорили взалхлеб на разные темы! И спектакли ставили!..

Да, за что только нас не ругали – но чтоб за это! За то, что в кино вместе не ходим! Ну и ну! Мальчишки оживленно зашептались, но мы с Валькой не слышали ни слова.

– Когда-нибудь вспомните эти слова, и плохо будет, если вы не измените свою жизнь! Я вас не пугаю, не думайте: вы, конечно, школу и без этого благополучно закончите, но когда-нибудь будете очень жалеть, что так бездарно и скучно прожили

эти годы! – Папа резко вернулся на свое место и возмущенно хлопнул крышкой парты.

Домой мы с папой шли не спеша.

– Пап, ну почему Галина Петровна так – как будто ты ничего и не говорил?

Папа шел усталый, говорил медленно и задумчиво, как бы даже нехотя.

– Это бывает... Так часто делают. Придется и тебе к этому привыкать. Ничего! Главное, что ребята услышали!

– Думаешь, они теперь изменятся?

– Ну, не сразу, конечно... Не так это просто! Но если хотя бы один из них задумается...

– А Галине Петровне твои слова очень не понравились, да? – перебила я.

Вообще-то я очень редко перебивала папу, мне всегда было интересно дослушать до конца, но в этот вечер была так перевозбуждена от обилия противоречивых впечатлений, что мысли перескакивали неудержимо.

– Она возмутилась, да? Она не хочет, чтобы мы начали дружить, ходить вместе в кино и праздновать дни рождения?

Папин ответ оказался для меня ошеломляюще неожидан.

– Ты знаешь, я думаю, ей это просто безразлично. Она об том и не думала – она просто спешила скорее закончить и уйти домой ужинать и спать.

Что угодно, но уж это мне бы никогда в голову не пришло! А после слов папы часто на скучных уроках я стала думать, глядя на Галину Петровну: может, она сегодня в баню спешит или стирка дома не закончена... может, она в гости идет сегодня вечером...

– Значит, безразлично? Никому мы не нужны, никому до нас дела нет!

Почему-то стало до того жалко себя, что я разревелась и впервые подробно рассказала папе, как мучителен каждый день в школе – и на уроках, и потом, – и что мы с Валькой сами рады бы не так радоваться «26-градусным», но что же делать, если других радостей у нас нет, и что нам бы больше понравилось скучать по школе, и что наши годы лучшие проходят без

возврата, а у меня, наверно, и никогда в жизни ничего хорошего не будет – с моей-то внешностью, с моим носом!

И я хлюпала своим несчастным носом, и слезы катились по щекам в три ручья, и мы уже целый час ходили вокруг нашего общежития, и папа рассказывал, что мама в школьные годы тоже очень расстраивалась из-за своего носа и тоже думала, что никому она не сможет понравиться. И когда она ему на вступительных экзаменах на первый курс сразу очень понравилась: «Такая смешная девочка сидит – решает задачки, очень славная и смешная!» – она долго не верила и, когда папа ей говорил, какие красивые у нее руки, она возмущалась и думала, что он смеется!

Меня в рассказе папы очень поразило слово «смешная».

– Пап, значит, «смешная» – это ничего, да?

– Глупенькая, ну конечно! Я тебе даже больше скажу: это гораздо лучше, чем «скучная»! А уж это тебе абсолютно не грозит! Я, знаешь, и раньше это подозревал, а сегодня вечером окончательно понял, что с тобой не соскучишься!

Мама, возмущенная нашим с папой пропаданием до 12 ночи, не выходила из их комнаты. Папа прошел туда, а я зашептала бабушке, что папа на собрании очень переволновался и ему для поддержания сил тоже необходимо выпить молока. Бабушка деликатно постучала в их дверь.

– Пап, – с места в карьер начала я, едва он вышел. – Вот ты говоришь – мама в школе тоже переживала. Но ведь все равно у нее там жизнь была куда лучше, чем у нас! Ведь вот с дядей Юрой и с дядей Леней они с тех пор так и дружат! А у нас что? Мы, наверно, и здороваться-то после школы не будем!

– Я думаю, это постепенно изменится! Но ты не должна с завтрашнего утра ожидать чуда. Надо набраться терпения...

Когда я легла спать, папа подошел меня поцеловать на ночь и присел рядом. Так он не делал с моих дошкольных лет в Киеве.

– Знаешь, я очень рад, что мы так хорошо, откровенно поговорили. И я бы очень хотел, чтобы ты и потом, и в 16, и в 18 лет, и позднее мне так же во всем доверяла. И когда влюбишься, как бы ни сложилось, – я тебя всегда пойму, запомни...

Через несколько дней папа как бы между прочим бросил:

– Ну, как дела в классе?

– Все так же, – уныло вздохнула я.

– Ты знаешь, я много думал... В тот раз я был не прав. Ну, помнишь, когда сказал тебе: «Надо набраться терпения». Это неверно! Надо что-то придумать! Знаешь, есть такая пословица: «Под лежащий камень вода не течет»? В конце концов – что ты, лично ты сделала, чтобы у вас в классе что-то изменилось? Ничего! Ты только жалуешься. Так нельзя.

– Да ты что! – я прямо задохнулась от возмущения. – Ты же сам все видел! Что я там могу сделать?

– Хотя бы честно высказать свои взгляды! – сухо сказал папа. – Твои слова имеют больше шансов что-то изменить, чем мои – постороннего взрослого человека. Никто ведь не знает, что ты согласна со мной. На том собрании многие глупо смеялись, и ты ничем не показала, что ты не на их стороне!

– Я же не смеялась!

– Этого еще не хватало! Но мне не нравится, что ты слишком боишься, как бы над тобой не посмеялись.

– Еще бы! Конечно, боюсь!

– И очень плохо! Это надо преодолеть! Запомни: позорно отречься от своих взглядов из боязни быть осмеянным!

– Да от каких взглядов?

– Как от каких? Ты же считаешь, что дружба с мальчиками сделала бы вашу жизнь интереснее. А вслух сказать не можешь. Этим своим молчанием ты поддерживаешь глупые отсталые взгляды. Как бы там ни было, я убежден в одном – надо уметь твердо сказать себе: пусть смеются, мне наплевать! Я все равно скажу, что думаю. Ты пойми: многие люди – и у вас в классе тоже – часто делают в жизни то, чего не хотят, говорят – чего не думают. И все от боязни насмешек. И при этом многие в глубине души давно хотели бы зажить по-другому, но не решаются. Кто-то должен решиться и начать, показать пример... Ладно, я пойду, а ты подумай.

Так папа часто кончал разговоры со мной, а потом спрашивал притворно-грозно и шутливо:

– Ну как, подумала? – И, не увидев на моем лице следов глубокой работы мысли, цитировал Некрасова:

Могла говорить я почти обо всем,
Я музыку знала, я пела,
Я даже отлично скакала верхом,
Но думать – совсем не умела!

Но в эту ночь я думала много, думала, во-первых, о том, что плохи будут мои дела, если я, не умея всего того, что отлично умела красавица Мария Волконская, еще и думать толком не научусь! Во-вторых, о поразивших словах папы, что необходимо преодолеть страх насмешек. Возможность такого мироощущения мне даже теоретически никогда в голову не приходила!

Я решила сделать сначала попытку подтолкнуть жизнь класса к переменам... Раз в месяц традиционный классный час совмещался у нас с отрядным сбором. И вот начала я с того, что в ответ на пожелание быть активнее, высказанное, как всегда, в последние две минуты, подняла руку. Я сказала, что у меня есть предложение – поставить к Первомайским праздникам пьесу Светлова «Двадцать лет спустя». Пьеса очень интересная, и ролей в ней много, и каждая по-своему хороша. Дней через пять пионервожатая Тамара решительно сказала, что пьеса совершенно не подходит к нашему возрасту, в ней даже – она в ужасе округлила глаза – есть объяснения в любви, и она просто не понимает, как такое могло мне прийти в голову. Надежды незаметно изменить атмосферу рухнули!

Но я попробовала снова... К собственному удивлению, дикого страха, который готовилась преодолевать огромным волевым усилием, я в тот момент не испытала. Тут вроде бы «клин клином вышибался»! – я знала, что если и буду сейчас осмеянной, то уж во всяком случае не за неловкие жесты: все это померкнет на фоне слов, которые произнесу! Не до того будет! И осмеянной я буду – если буду – за передовые взгляды, до которых окружающие не доросли, а это совсем другое дело!

– Неужели у нас нет общих интересов? – сказала я на очередном классном часе. – Наверно, есть, но мы этого никогда не узнаем, если вы будете хохотать над каждым таким словом, как детсадовские малыши! Хотя нет! В детском саду мальчики и девочки спокойно ходят парами, и никто не смеется, им это и в голову не приходит!

– Так ты что предлагаешь? Хочешь, чтоб у нас как в детском саду стало?

– Ну почему! – Я немного растерялась. – Мы, конечно, можем дружить более по-взрослому.

– В общем, тебе захотелось с мальчишкой дружить? Так бы и говорила!

– Да нет, я не совсем это имела в виду, – забормотала я.

Мне хотелось сказать, что люди в слово «дружить» сейчас разный смысл вкладывают, и объяснить свой смысл, но отчего-то остереглась лезть в эти дебри... Риск бесславно стусеваться под громкий смех возрастал. И, вспомнив еще раз папин наказ не бояться насмешек, я отчаянно выкрикнула:

– А хотя бы и так! Да, мне хочется дружить с мальчишкой! И я думаю, не только мне!

– С кем же? Признавайся уж до конца!

Класс буквально лежал от смеха.

– Девочки! – испуганно воззвала Галина Петровна. – Ваш разговор принял какое-то дикое направление для учениц шестого класса...

Но меня «понесло» как никогда в жизни.

– Да нет, Галина Петровна, не волнуйтесь! Ничего страшного! Я отвечу!

Конечно, я не собиралась отвечать буквально! В короткую паузу мелькнула озорная мысль, что мальчишки сейчас все напряжены больше, чем в минуту перед вызовом к доске: ведь стоит мне кого-то назвать – насмешки ему обеспечены. И не имеет значения, что он тут «ни сном, ни духом».

– А я, может, со многими хочу дружить! С каждым по-своему!..

После собрания я побежала к больной Вальке, растормошила ее, потрясла новостями, и она первая предложила пойти посоветоваться с моим папой.

Выслушав наш сбивчивый рассказ, папа торжественно подвел итог:

– Сегодня у вас, безусловно, лед тронулся! Теперь надо ковать железо, пока горячо! Какие предложения, варианты?

– Никаких! – виновато вздохнула я.

– Ну почему же... Надо начать готовить большой концерт и побольше мальчишек подключить! – неуверенно предложила Валька.

– А если они не подключатся? Надо что-то другое.

Папа задумался на несколько минут.

– Вам надо собраться не в школе, а в неофициальной обстановке – воскликнул наконец он. – Это единственный выход, а в школе ничего не изменится.

Мы с Валькой ошеломленно молчали, не в силах сразу осмыслить идею во всей ее потрясающей новизне...

– А как говорить – для чего приглашаем? Репетировать что-нибудь, да? Может, мы все-таки сами поставим «Двадцать лет спустя»? – замечтала Валька.

– Думаю, что это пока преждевременно, – серьезно сказал папа. – Не надо ставить никаких деловых задач, даже таких интересных. Ведь вы же *дома* собираетесь! – Он выделил голосом слово «дома». – Понимаете разницу?

Я понимала. Перед моими глазами проходили многие веселые интересные вечеринки родителей с друзьями: с играми в «шарады» и в «мнения», со всякими шутками, с танцами...

– Ну да – и где?

– Ну, это-то ясно – у нас! – нетерпеливо, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал папа, но вдруг спохватился: – Если вы, конечно, не возражаете!

– Ой, как хорошо! Это самое лучшее! – Валька чуть в ладоши не захлопала. – А вы будете с нами, да?

– Если хотите... Давайте так: вначале, пока все собираются, обязательно буду, а дальше посмотрим по обстановке. Будем действовать гибко. Главное, чтобы все себя хорошо, свободно почувствовали в непринужденной застольной беседе.

– В застольной?! – хором воскликнули мы.

– Ну конечно! Попросим бабушку испечь пирог, купим ситро.

– Тогда и пластинки можно будет ставить, да? – обрадовалась я, снова вспомнив вечеринки родителей с друзьями.

– Да, конечно! – согласился папа. – И потанцевать тоже! – подумав, добавил он. – Нас примерно в вашем возрасте девчонки начинали учить танцевать.

– Так я же не умею танцевать! – обиженно воскликнула я.

– Ты как хозяйка обязана думать о гостях больше, чем о себе! – сказал папа. – А кроме того, терпеть не могу такие заявления! Сказать «не умею» – и ручки кверху! Это, знаешь ли, самое легкое! Учиться надо. А то у тебя, я смотрю, слишком со многим так получается. Задачки решать – не умею, картошку чистить – не умею! Надо, знаешь ли, что-то и уметь!

В назначенный день решающего вечера семь девчонок собрались у нас в шесть часов. Мальчишек ждали к семи. Папа галантно снимал пальто с непривычно нарядных, одновременно смущенных и возбужденных девчонок. В комнате родителей накрывался праздничный стол. Ирка и Валька сразу бросились помогать. Рита остановилась у письменного стола папы, на котором мы с мамой разложили мои любимые книги: стихи и поэмы Некрасова, пьесы Бернарда Шоу, «Обрыв» Гончарова, «В трудном походе» Любови Кабо, «Швамбранию» и «Дорогие мои мальчишки» Льва Кассиля, «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн, «Тимур и его команда», «Военная тайна», «Судьба барабанщика» Гайдара и «Два капитана» Каверина... Мне казалось, что разложенные так книги – самый простой способ навести на разговор, кто что читал, кто что любит.

Нина и Света стали перебирать пластинки возле тумбочки с патефоном. Если насчет книг у нас с мамой никаких разногласий не было, то с пластинками вчера вечером вышла целая история. Я очень любила песни Клавдии Шульженко, особенно про старый парк, и еще одну, начинающуюся словами: «Я помню голос в сумраке вокзала...» Когда я слышала: «Я люблю тебя, мой старый парк», – перед глазами всегда стоял киевский парк Шевченко с большим памятником Тарасу, с высокими лестницами, ведущими к его подножию. Как мы любили в детстве бегать вокруг него, и взбегать по лестницам, и все тянуться на цыпочках и запрокидывать голову, чтобы разглядеть в той недостижимой выси грустное его лицо... А напротив парка

краснел знаменитыми своими колоннами киевский университет, где тогда еще работали и папа, и мама.

Слова песни:

Я помню, как из школы
Компанией веселой
Мы в парк ходили раннею весной,
В кружок собравшись тесный,
Мы пели наши песни,

А старый парк шумел своей листвою... –
неизменно будили в душе какое-то затаенное беспокойство...

Никогда не пройти мне «из школы с компанией веселой» по родным киевским садам! Ни по шевченковскому, ни по еще более близкому душе старому ботаническому, раскинувшемуся со своими каштанами, белками, оврагами и экзотическими деревьями с латинскими названиями на табличках как бы на задворках киевского университета, ни по Владимирской горке над Днепром, где мы однажды в дошкольном детстве целое воскресенье гуляли с родителями, фотографировались, ели мороженое, катались на карусели, и этот день запомнился как редкий неповторимый праздник... Еще мы в этот день катались на речном трамвайчике, и я впервые увидела берег с золотыми куполами Лавры в густой темной зелени под ослепительно голубым небом – на всю жизнь опьянившую красоту...

Против песни о старом парке мама в принципе не возражала. Но вот насчет встречи в поезде, в конце которой женщина, пораженная доверчивым и взволнованным рассказом попутчика о любви, восклицает:

Пусть больше никогда не повторится встреча,
Но как мне хочется сказать Вам, дорогой! –
Я Вас любила в этот странный вечер
За Вашу ясную любовь...

и после долгой грустной паузы со вздохом заканчивает:

...– к другой! –

насчет этой песни мама недовольно и недоуменно пожимала плечами:

– Это же совершенно не для вашего возраста! Да в такой обстановке она прозвучит крайне неуместно! Извини – просто глупо!

– А что не глупо, по-твоему? «На просторах Родины чудесной»? Или, может, «От края до края по горным вершинам»?

– Ну, это-то зачем? – машинально отмахнулась мама, но вдруг вздрогнула и удивленно, с каким-то новым любопытством взглянула на меня:

– Вот видишь как... уже шутим!

...В общем, о песенном репертуаре мы тогда с мамой до конца не договорились. Но у меня был свой план...

– Скажите, пожалуйста, это квартира... – услышали мы тихий незнакомый голос.

– Да, а тебе кого, мальчик? – машинально-рассеянно спросила бабушка и вдруг всплеснула руками: – Ой, это же... Лёва, скорей! Иди сюда! Мальчик, ты... вы... на вечер к нам, да? По приглашению? Пожалуйста, раздевайтесь, вешайте пальто вот сюда! Вы учитесь в 84-ой школе? Очень приятно, очень рада познакомиться!

– Будем знакомы! – решительно отодвинул бабушку папа. – Я Лев Ефимович. А ты кто?

Ответ прозвучал очень тихо, и мы потерялись в догадках...

В коридоре между тем творилось что-то странное.

– Ну, проходи, не дрейфь! Будь мужчиной! Девочки тебя давно ждут.

– А чо я один-то пойду? Я думал – парни есть! Не-е, один не пойду!

Теперь не узнать этот голос было уже невозможно. Это Женька Филонов!

Не успели мы с папой опомниться, как атмосфера в нашем коридорчике стала дико напоминать двор 84-ой после уроков: девчонки скакали, визжали, дразнились, окружив Женьку довольно плотным кольцом.

Найдя промежуток в кольце, Женька протиснулся к вешалке, сдернул с нее пальто, наклонился поднять упавшую на пол синюю спортивную шапку.

– Же-ень, погоди, старик! Мы же с тобой договорились! А они это не со зла – они по глупости! Девичьи глупости надо прощать! Куда же ты, ста-ри-и-ик? – Так обращались друг к другу папа с дядей Юрой и с дядей Яшей. В Молотове его так никто не называл, и он никого. – Ста-ри-и-ик!

Но было уже поздно. Женька хлопнул дверью, и было слышно, как он бегом ринулся по нашему длинному общежитскому коридору.

– Все! Я умываю руки! – папа гневно хлопнул дверью комнаты, в которой был накрыт стол для гостей...

Со мной вдруг что-то случилось. У меня потемнело в глазах. Я осознала себя уже добежавшей до середины коридора. В конце коридора еще была видна синяя шапочка Женьки.

– Женья, вернись! Не обижайся! – кричала я, сбегая по лестнице на второй этаж.

Боже, как бежала я и как кричала! Было чувство: если сейчас все кончится, если не догоню, не верну – никогда ничего хорошего в жизни не будет! Будут невыносимо тянуться холодные, казенные, скучные, сухие, бесцветные, угнетающе длинные дни – без божества, без вдохновенья... Я не догнала Женьку. Пришлось вернуться...

Слава богу! – папа после своего справедливого гневного заявления «умываю руки!» все-таки пожалел девчонок и старательно отвлекал: рассказывал о Каверине, с которым познакомился на отдыхе в Кисловодске, о его брате-ученом, о жизни которого писатель как раз там писал книгу. Но девчонок больше интересовал Саня из «Двух капитанов» – где он сейчас, когда и как Каверин с ним познакомился, родились ли у них с Катей дети...

И вдруг раздался громкий стук во входную дверь.

– Сидеть! Ни с места! – грозно скомандовал папа.

Он надел пиджак и отправился было открывать, но неожиданно для самой себя я его остановила:

– Ты тоже сиди! Пусть бабушка или мама откроют!

Папа понимающе кивнул. Все опять напряженно прислушивались.

– Проходите, ребята! – слышался пока только светски-гостеприимный голос бабушки. – Раздевайтесь! Нет, что вы, обувь снимать не надо! Что? Одежную щетку? Пожалуйста!

В бабушкином голосе четко слышалась знакомая мне интонация удовольствия при виде культурных, хорошо воспитанных, «интересных», по ее выражению, мальчиков.

Бабушка широко распахнула дверь:

– А вот и ваши мальчики! Встречайте!

Рядом с Женькой Филоновым в чистой выглаженной белой рубашке (переоделся он или мы ее не разглядели в тот раз?) стоял Женька Черепушкин. И тут уж совершенно незачем описывать, как он был одет или причесан. Это все не имеет никакого значения. Женька Черепушкин есть Женька Черепушкин. Стоило бабушке прикрыть за ними дверь, как он тут же заскакал на одной ноге и завизжал дурным голосом:

– Здрастье, давно не виделись! Это мы, ваши мальчики! О-о, и ты, Шестерка, здесь? И Сухарик тут. И Жиртрест – все в сборе! А ты, носатая, чо ли тут живешь? – обратился он ко мне.

– Ты чо, кончай! – испуганно дергал его за рукав явно ничего подобного не ожидавший Женька Филонов.

– А ты тут живешь, потому что твой отец – начальник? Ну, тогда скажи – чайник!

Упоение Женьки нарастало с каждой минутой. Он даже не замечал моего папу в комнате. Папа сидел в состоянии легкого оцепенения...

Еще минута – и Женька неминуемо перешел бы к подножкам и толчкам, но тут бабушка внесла горячие пирожки, мама тоже оказалась в комнате: должно быть, голос впавшего в экстаз Черепушкина слышен был далеко!

Я бросилась к патефону... скорей, скорей! пусть громкая музыка перекроет этот кошмар, этот позор, этот окончательный провал Вечера глобального переворота. Только не буду я ставить эту, лежащую на самом верху – «В первый погожий сентябрьский денек...», где рассказывается про «школьные годы чудесные с дружбою, с книгою, с песнею»... Нет уж! Хватит!

Я взглянула на Вальку: прижав руки к щекам, она низко склонилась над столом и покачивалась, как будто у нее вдруг заболели все зубы. Нина, Рита и Света прикрылись какой-то

большой книгой. Ирка пыталась продолжить беседу с папой, папа пытался подключить к беседе Женьку Филонова, смущенно забившегося в угол. Один Черепушкин не унывал – он торопливо расправлялся с бабушкиными пирогами, набираясь сил для новых подвигов.

Торопливо отшвыривая пластинки одну за другой, я вдруг увидела вроде бы далеко убранную, чтоб не спорить с мамой, Шульженко. Как это мама сказала про ту песню? «Глупо и неуместно прозвучит»? Вот и хорошо! Это как раз то, что надо! Что сейчас здесь может быть умно и уместно? Так... начинается она «Старым парком» – это, конечно, я пропущу...

Я и не заметила, завозившись в углу, что в комнате стало больше народу – прибежала Алиса, дочка маминой приятельницы. Алиса сделала глубокий реверанс и представилась. Наевшийся Черепушкин сходу обозвал ее: «Алиса – крыса», – она показала ему язык и вдруг без всяких упрасиваний продемонстрировала все свои акробатические достижения. Черепушкин стал дерзко утверждать, что может сделать колесо и мостик не хуже ее, и начал изгибаться и падать, не забывая выкрикивать клички направо и налево. Алиса громко хохотала...

Нет, хватит! Злорадно потирая руки, я врубила песню на полную мощность и отвернулась от всех. Теперь в комнате звучало только это:

Я помню голос в сумраке вокзала,
Чуть освещенном блеском ваших глаз.
Под ровный стук колес, под шум металла
Я слушала волнующий рассказ...

На минуту я забыла обо всем. Голос певицы как-то примирял, завораживал, успокаивал, обещая длинную и разную жизнь впереди – жизнь, в которой не будет, наконец, 84-ой школы и будет много всего другого, будет через несколько лет, будет, никуда не денется! – возраст узаконенного капрона, маникюра и туфелек на высоких каблуках, когда в трамвае будут спрашивать: «Девушка, вы сейчас не выходите?» – и когда никто больше не посмеет толкнуть или подставить подножку, и

забудется, совсем забудется бедная наша сегодняшняя беспомощность, и будут разные вечера, и разные встречи...

Резко открылась дверь. Мама принесла чай. Услышав песню, она нахмурилась и недовольно пожала плечами. Строгий вид мамы смутил всех, и в комнате стало очень тихо.

Именно в эту минуту с пластинки очень внятно донеслось:

Пусть больше никогда не повторится встреча!

Первая громко прыснула Ирка Сушкова, за ней – Валька. Скоро уже хохотали все...

– Смех без причины... – строго начал было папа, но поглядел на Черепушкина, начавшего с Алисой соревнования по кувырканию на ковре, на Вальку, Ирку, Свету, на меня, – махнул рукой и сам засмеялся.

Было в папином смехе и в этом взмахе руки облегченное освобождение от долгого напряженного беспокойства.

– Вот видишь, – шепнула я маме. – А ты говорила – «неуместно». Очень даже уместно!

– Ну вот, наконец-то развеселились! – заглянула в комнату бабушка и простодушно добавила: – Вот и хорошо, ребятки!

Эти слова вызвали новый взрыв хохота. Теперь смеялась и мама. А песня все звучала...

Надежда Гашева

САППА

Вся эта книга должна была называться «Сарра» – так еще при жизни считала сама Сарра Яковлевна Фрадкина. Мы разговаривали с ней после выхода в свет книги воспоминаний о Римме Васильевне Коминой. Книга называлась «Римма». Название это предложила я и во вступительном слове объяснила его: «Мы назвали книгу просто «Римма» – да не усмотрят в этом фамильярности. Так называли Комину друзья, так – за глаза, конечно, – привыкли называть ее студенты и многочисленные выпускники филологического факультета. В этом был оттенок любовности, для нескольких поколений филологов имя звучало

как пароль, и благородный отзвук латыни звенел в нем, напоминая о преемственности культуры».

Фрадкину за глаза студенты и выпускники, разумеется, называли Сарра, имя это тоже звучало паролем, с оттенком не очень осознанной, но смутно иногда ощущаемой соотнесенности с библейскими мотивами. Имена не рифмовались, но часто произносились вместе, и удвоение сонорных согласных внутри имен подчеркивало некое родство и целостность присутствия этих двух женщин в пространстве университета и города.

И вот возник разговор. Посреди одного застолья в доме Сарры Яковлевны хозяйка наклонилась ко мне и негромко сказала: «Когда вы будете после моей смерти делать книгу под названием «Сарра», пусть Боря обязательно напишет обо мне». Я вздрогнула. Сказано было очень просто, без тени надрыва. Но прощание явно начиналось. Боря Гашев, мой муж, был тогда еще жив. Сарра Яковлевна высоко оценила его воспоминания, опубликованные в книге «Римма». Там уже были, были слова прощания, прикрытые всегдашней иронией. В том году, когда Борис окончил университет, застрелился Хемингуэй. «И в отчаянии, – писал Боря, – мы прильнули к нашему филфаку общей болью – к его родной израненной груди. <...> Мы пришли в своих белых студенческих рубашках. И какие-то длинные, как сказание, холодные цветы разлуки были у нас с Володи́ей при себе».

Трагическую подоснову бытия поэты не постигают – они ее просто знают, вне опыта. А мы узнаем ее постепенно, с годами. Да и то не все. Возможно, потому что не так это просто – *прижаться лицом к трагедии*, увидеть клубящийся хаос – лик Горгоны, чей взгляд смертелен. Обыкновенные люди стараются избегать таких движений – для этого есть герои. Персей, например, защитился от ужасного лика блестящим своим щитом, в котором хаос отразился и сам погиб от этого. Но куда уж нам до мифических победителей, хранимых волей богов! Даже и глубинный смысл мифологии древних мы постигаем не в студенческих аудиториях, а, скорее, на дорогах жизни. Однако филологическое знание помогает этому постижению. Кого-то оно учит бесстрашию или хотя бы пониманию его. И вот поэтому – *Заглянем в лицо трагедии, увидим ее морщины...*

Это смелый призыв лучшего поэта нашего поколения – уже ушедшего. Смелый потому, что в мире Иосифа Бродского трагическим становится не вызов богам и року, как у древних авторов, а сама телесность человека на ее неизбежном пути к смерти и разложению. Бросать вызов такому хаосу труднее, и никакие высокие звезды не спасают от черной дыры в пространстве.

В последний раз я видела Сарру Яковлевну в день ее отъезда, в вагоне поезда «Пермь – Москва». Отъезд был решен давно, но все откладывался, и вот сын приехал за ней. Она ехала умирать и знала это. Я тоже. Мой муж Боря только что погиб. Не суждено ему было написать воспоминания для книги «Сарра». На вокзал я принесла номер газеты «Вечерняя Пермь» с подборкой его стихов. Я не знала в точности, сможет ли Сарра Яковлевна прочитать их. Маска смерти была на ее лице.

Мы выпили в купе коньяк из серебряных рюмочек, которые я взяла с собой. Выпили – за помин души ушедших. На вечную разлуку. Такое вот было последнее наше застолье. Рядом со мной стояли моя дочь Ксюша, сын Сарры Яковлевны Гера и дочь Лина, трагически потерявшая недавно мужа Мишу и схоронившая сына Костика. Она оставалась пока одна в разрушенном доме, и ей еще предстояла борьба с хаосом большой опустевшей квартиры, с вещами и книгами, не хотевшими разлучаться, с хождением по разным инстанциям для добывания многочисленных бумажек... Ей еще предстояло окончательное прощание с домом, переезд в Москву и – почти библейское чудо в личной ее судьбе. Но она о чуде еще не знала. И Сарра Яковлевна не знала тоже – ей и не довелось этого узнать: вскоре после переезда в Москву Фрадкина умерла.

На вокзале «Пермь II» я думала тогда не только о своей беде. Мы с Ксюшей провожали своего учителя (и Бориного тоже – все трое мы оканчивали филологический факультет, все трое дружили с Линой, все трое бывали гостями дома Кертмана – Фрадкиной). Лик трагедии был рядом. Не в первый раз Сарра Яковлевна уезжала из разоренного своего дома. И возникли, словно кадры кино, ее горькие дороги, рельсы, поезда, вокзальная сутолока... Это были беспорядочные мысли. После я к ним вернулась.

Как-то в один из праздничных дней в доме на Комсомольском проспекте Сарра Яковлевна рассказывала о своем детстве, о юности, молодости. Это не был сюжетный рассказ – отрывки воспоминаний. Но они тоже остались в моей памяти, словно кинокадры: крохотная девочка на руках деда – ее уносят, спасают от еврейского погрома. Юная женщина, только что проводившая на фронт мужа, в хаосе железнодорожных путей, со стариками-родителями, в Киеве, который вот-вот будет взят фашистами, а люди под бомбами покидают свой город. Сарра Яковлевна готовится стать матерью, а война еще не кончилась, но любимый Киев освобожден, и значит, ребенок должен родиться в Киеве! В 1944-ом через полстраны Сарра Яковлевна упрямо едет в свой разоренный дом, дочь – киевлянка! Послевоенный Киев – и снова еврейский погром, на сей раз идеологический. Предательство! И опять дальняя дорога...

Ну что тут скажешь? Разве что классиков вспомнить? *Чуден Днепр при тихой погоде? Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые?* Но почему-то сразу представляются не всеблагие собеседники на пиру, а пир в контексте маленьких трагедий Пушкина...

Сарра Яковлевна Фрадкина родилась в 1917-ом, за год до окончания Первой мировой войны, в год начала революций в России, ее раннее детство пришлось на Гражданскую войну, юность – на пик репрессий, молодость – на Вторую мировую. Муж – Лев Ефимович – был ее ровесником. Их первенец – дочь Лина – родилась за год до окончания Второй мировой войны. В конце XX века Украина, где они трое родились, стала заграничным государством.

Миры летят и государства гибнут, – вспоминаю я строчку из книги поэм Владимира Луговского «Середина века». И другие строчки всё всплывают, всплывают в памяти. По этой книге я защищала диплом. Моим научным руководителем была Сарра Яковлевна. А тему она определила так: «Личность и государство в книге поэм В. Луговского»... Там, в книге поэм, много размышлений о том, что происходит между одним на свете человеком и государством. И о вождях. И об идеях. Помню, как

обрадовалась Сарра Яковлевна тому, что я верно прочитываю и трактую скрытые смыслы многих строк, таких, например:

Зачем ходил я к черным башням Трои,
Зачем меня стрела кусала дважды,
Зачем я десять лет видал на стенах
Еленин красный, взвитый ветром плащ?
Не я приду в родимую Итаку,
Не ты, мой правый, и не ты, мой левый,
Не ты, мой кормчий, и не ты, кузнец...

Это говорит один из спутников Одиссея. И – с нарастающей болью:

*Он будет править нашими словами,
Он будет править нашими сынами,
Он будет править нашими певцами
По праву капитана и царя!..*

Шел 1964 год. «Оттепель» кончалась. Мы, студенты, этого не понимали. Нам казалось, что идет расцвет нашей жизни и судьбы. Кто станет править сынами и умами теперь? Конечно, все будет не так, как прежде! Но в доме Кертмана – Фрадкиной бывали не только Эрато, Эвтерпа, Каллиопа, Мельпомена – музы лирической, песенной, эпической и трагической поэзии, но и Клио – муза истории. И собеседником Сарры Яковлевны были не всеблагие, а профессор Кертман, историк. Я помню его ироническую улыбку, когда он порой слушал наши молодые наскоки то на фильм, то на театральную постановку. И его короткие реплики: «Надечка, Вы в самом деле так думаете?» «Война – это прежде всего кровь и гной». «Сказать такое о водке – это все равно что высказаться в духе Хо Ши Мина».

Сейчас я думаю, что у Льва Ефимовича и Сарры Яковлевны в середине 60-х было мало иллюзий. Их обольщения отгорели в 30 – 40-х. Но наши молодые порывы и надежды их все-таки радовали и даже поддерживали, подпитывали. Потому и хвалила мою работу Сарра Яковлевна, потому и выдвинула ее защиту на вузовскую конференцию, чтобы не 10, а хотя бы 20 минут в зале звучала поэзия.

Гребите, греки, есть еще в Элладе
Огонь, и меч, и песня, и любовь!

Ей богу, тогда смысл и пафос этих строк были ей близки. Позже, я думаю, уже нет...

Тайну ее личности было трудно разгадать. Да я и не пыталась. Она была человеком закрытым. И это понятно – предательство многих коллег и учеников времен борьбы с «безродными космополитами» навсегда не только ранило сердце, но и одело его в защитную броню. Многие годы спустя она не захотела примирения, не подала руки человеку, который громил Л.Е. Кертмана в одной из аудиторий Киевского университета. А Кертман – подал и даже выпил с ним, кажется. Библейская мудрость в этом случае, наверное, на стороне Льва Ефимовича. Но женская часть моей души – на стороне Сарры Яковлевны.

О ее истинном лице многое скажут собственные ее воспоминания, а также воспоминания немногих уже теперь друзей юности – тех, кому она и сама верила до конца дней. Они-то видели веселую, остроумную, окруженную кольцом восхищенных юношей девчонку, в которой было столько сил, энергии, возвышенных идеалов! Ее, *как реку, суровая эпоха повернула*. Лицо изменилось. А суть? Думаю, даже такой суровой эпохе не под силу оказалось это. Просто ушло на глубину все нереализованное и жило там, помогая, мешая, строптиво высвечиваясь иногда, обреченно стихая в конце жизни.

Поэтические ее пристрастия кое-что могли об этом сказать. И ее лекции. И ее бытовые разговоры. Но я не хочу вспоминать здесь об этих разговорах. Я вообще пишу не воспоминание, а размышление о человеке и времени. А о лекциях С.Я. Фрадкиной уже много сказано другими. О поэтических и литературных ее пристрастиях сказать могу. Она любила и высоко ценила поэтов Серебряного века. Знала наизусть многих поэтов фронтового поколения. Из шестидесятников особенно ценила Самойлова, Левитанского, Коржавина, Слуцкого, Окуджаву... Почему же как литературовед писала о Симонове и о других, теперь уже почти ушедших в литературное небытие?

Когда она была в полном расцвете сил и дара, по ней открыли огонь, изгнали из родного города, под угрозой была семья и профессия. Кроме того, в те годы литература Серебряного века была под запретом, а шестидесятники еще только пробивались к читателю. Ей по существу запретили писать даже о Чехове, не говоря уж о классиках иностранных. Никакие смелые прорывы в литературоведении были просто невозможны. Да и защитить диссертацию ей, еврейке, было гораздо труднее, чем претендентам всякой иной национальности. И все это продолжалось очень долго. Лине Кертман, например, просто не дали защититься, а я знаю, насколько интересно и тонко, неповторимо она пишет, говорит, анализирует и сопоставляет тексты. Лина, конечно, не пропала, но сколько сил и нервов потратила, сколько несправедливости увидела! Слава Богу, сейчас она занимается своим делом и не зависит более ни от каких конъюнктур...

Но вернемся к литературным пристрастиям Сарры Яковлевны. Они были широки и, я бы сказала, точны. Она не путала божий дар с яичницей. А по свидетельству учеников Л.Е. Кертмана из Киевского университета, он уже в 40-е годы свободно владел материалом знаменитого романа Марселя Пруста и читал «Улисса» Джойса. Весь мир прочитал их тогда же, и только у нас этих писателей не поминали даже на филфаке до 90-х годов прошлого века. Вряд ли Кертман скрывал свои знания от жены, раз делился ими со студентами.

Интеллектуальный багаж семьи резко превышал возможности и установки системы. Прочитирую здесь важный для меня абзац из воспоминаний учеников Льва Ефимовича: «У нас ведь было не так много моделей старших поколений. Жизни многих людей старшего поколения, которые в иных условиях пересеклись бы с нашими, унесли террор 30-х годов и страшная война. Многие хорошие люди, которых мы уважали, со временем превратились в унылых конформистов или откровенных приобретателей. «Планка» Льва Ефимовича осталась на той же интеллектуальной и моральной высоте. На всю жизнь». Ровно то же самое можно сказать о Сарре Яковлевне, обо всем их доме.

У нас, студентов начала 60-х, тоже было не так много моделей старших поколений. И нам повезло с учителями, видимо, лишь потому, что Пермь издавна был местом, куда попадали опальные и ссыльные, провинившиеся перед властью тем, что были умны, образованны и нравственны. Их, конечно, «держали и не пушали» и здесь, в Перми, как и в любом другом городе империи. Но они умели сопротивляться. Дина Рубина в своем недавно вышедшем романе «На солнечной стороне улицы» пишет о феномене Ташкента военных лет, где оседали ссыльные, отсидевшие срок ээка, эвакуированные писатели, кинематографисты, актеры, ученые, просто грамотные люди, занесенные в те края ветрами исторических потрясений. Они там оседали – и учили молодежь. «Что ж удивляться, – пишет Рубина, – что уровень интеллигентности на душу населения в Ташкенте был гораздо выше, чем в среднем по стране!»

У Дины Рубиной появилась возможность уехать из страны, и она уехала. Она права. Но я вспоминаю, как однажды предложили уехать из страны Ю. Лотману, обещали престижную должность и достойную оплату труда. Он отказался: «Место врача – в холерном бараке», – сказал он. Кертманы тоже могли уехать – не пытались. В 1973 году Лев Ефимович пишет жене: «...И сквозь все это, не скрою, просто мечты, почти детские, о большой и интересной работе и жизни для тебя и для себя, с настоящим горением и с горящими людьми...»

Горящие люди были – студенты, аспиранты, друзья. Но ведь их подстерегали те же вечные ямы, ухабы, заторы и окрики на той же дороге. Один из учеников Сарры Яковлевны вспоминал в юбилейной газетной статье о ней: «В 1977 году Фрадкина деятельно заступилась за студентов – создателей самодеятельного спектакля по мотивам пьесы Горького «На дне». Рискованного по тем временам действия (как неожиданно оказалось для нас – антисоветского). На просьбу одного из обитателей ночлежки: «Сатин, почитай что-нибудь из Горького», – студент в роли Сатина вставал на табуретку-постамент и, поленивски выкинув правую руку вперед, вещал: «Филолох – это звучит горько!»... Сарра Яковлевна, включенная в комиссию по расследованию идеологической невыдержанности студентов,

задала всего один вопрос председателю комиссии: «Неужели у вас совсем нет чувства юмора?»

У председателя комиссии наверняка все чувства атрофировались, кроме «идеологического чутья» на все свободное и творческое. Но и человеку с чувством юмора впору было потерять его в обстановке вечного абсурда и зажима. Хаос все клубился, принимая самые уродливые формы. Культура, литература противостояли ему из последних сил. И дом на Комсомольском проспекте, куда мы все чаще приходили, оставался форпостом культуры в том широком ее понимании, которое высказал однажды профессор Кертман в интервью для студенческой многотиражки «Пермский университет». Интервью брал у него Борис Гашев и позднее описал это так: «Кертман тогда в маленькой комнатухе нашего с Мешковым университета открыл (музей? галерею? свиток свидетельств?) – музей материальной культуры англичан (норманнов, кельтов, скифов, иудеев?). И он говорил: «Напиши примерно так: когда студент вдруг увидит прялку, топор, обрывок вышивки или кусок пожелтевшей бумаги со странными знаками, то, может быть, сердце его содрогнется, и он постепенно начнет понимать, что история – это вовсе не борьба одной идеологии с другой такой же дуростью, – а это ежегодный вырост хлебного колоса, колыбель на крестьянском шесте, дорога, счастье и горе, разлука и встреча... И все, что случится. Да и лямку надо тянуть».

Вот и тянули лямку наши учителя. Тянули осознанно. Профессор Кертман в юности хотел написать поэму «Боль» – дать всю историю человечества как историю страдания. Он стал не поэтом, а ученым, но мысль эту не забыл. И был убежден, что лучшие поэты находятся на уровне мировой общественной мысли, а лучшие ученые – далеко не чужды поэзии. Ибо без поэзии человек «жлобеет». В одном из его отзывов о статье коллеги есть такие слова: «Но главное – призыв к порядочности, к подвигу во имя культуры». Так уж вышло, что без этих подвигов культура не выживает, и если все круче набирает силу жлобство, то все больше усилий требуется, чтобы ему противостоять.

Стиль жизни дома Кертмана – Фрадкиной, если понимать слово «дом» как литературный образ, противостоял хаосу. Всю

жизнь. Я поняла это, когда писала маленькую поэму к дню золотой свадьбы Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича. «Для прикола», как выражается современная молодежь, я выписала из энциклопедии разные словосочетания со словом «золотой»: золотое сечение, золотой запас, золотая булла, золотая баба, золотая голова... И все они с легкостью уложились в текст! И для этих адресатов не надо было делать сноски – мировая культура человечества была им внятна во всяких явлениях и проявлениях. Потому и жила в их доме гармония, потому он и хранил космос. Потому в их доме всегда читали стихи по кругу за праздничным столом. Потому там на равных говорили все – в семнадцать лет и в восемьдесят и ощущали свои неотъемлемые права человека и гражданина: все люди рождаются равными и свободными. Чем старше я становилась, тем острее осознавала, как трудно создать и держать живым такой дом. Как не дает делать это время, его хаос, его соблазны и суета. И надо же постоянно держать удары – судьбы, глупости, подлости, невежества. Сколько сил на это уходит! Порой – и вся жизнь. Но есть ли другой путь для мыслящего человека? В той книге поэм Луговского, о которой мы столько беседовали с моим научным руководителем в 60-е годы, есть строки прощанья, которые любящая и бесстрашная героиня говорит перед гибелью герою:

Но даже если ничего не будет
От нас, и в прах рассыплется планета
Через секунду, и померкнет свет,
Пусть миллиарды будущих веков
Услышат на других кругах Вселенной,
Что жили мы, любили мы, владели
Всем мирозданьем в горестном мозгу,
Что все прощала я, но не прощала
Предательства и горечи его...

У меня остались разрозненные страницы архива Сарры Яковлевны, которые оставила мне Лина. Основной архив она увезла и над ним уже основательно поработала. И вот я читаю написанные от руки или набранные на машинке тексты. Есть там стихи, частью пришедшие в далекие теперь уже годы из

самиздата, частью переписанные для себя из периодики. Пастернак. Заболоцкий. Ахматова. Левитанский. Галич...

Отдельные двестишья, четверостишья.

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем...

И далее – по тексту – про время шкурное, поглотившее лучшие порывы, перемоловшее всё в погостный перегой... И – уже дрожащим почерком больного человека:

И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем говорить...

Нет, Сарра не сдавалась. На излете ее жизни и судьбы начались публикации тех страниц поэзии и прозы, которые прежде были под спудом, под глыбами тоталитаризма. Приходили в литературу и новые авторы. Она старалась успеть, дать студентам все лучшее. Вот составленные ею списки необходимого чтения для студентов 5 курса: проза Набокова, Шмелева, Булгакова, Платонова, Пастернака, Солженицина, Шаламова, Домбровского, Быкова, Кондратьева, Воробьева, Астафьева, Гроссмана, Шукшина, Битова, Войновича, Довлатова, Ерофеева... Стихи Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Ходасевича, Лиснянской, Липкина, Самойлова, Окуджавы, Высоцкого, Рубцова, Ахмадуллиной... Список авторов – велик, список вопросов и тем для рефератов очень серьезен, а ведь прилагается к этому еще и внушительный список критической литературы. И всё это она сама уже прочитала, обдумала, решила, как показать студентам, людям иного поколения, вал ГУЛАГа, свинцовый ветер войны, боль прошлого, острые вопросы современности.

Сарра Яковлевна Фрадкина родилась в начале XX века и ушла в его последний год. В середине века ей исполнилось 33 года. По Данте – земная жизнь дошла до середины. По Библии – известно что. По-русски – читаем хоть Достоевского, хоть Толстого, хоть Чехова, хоть Булгакова, Пастернака или Бродского.

После смерти остается пустота. Черная дыра в пространстве. Но в литературе пустота заполняется словом, белое – черным, ничто не уничтожается.

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На разошедшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Значит, остается в пространстве, покинутом человеком, море, парус, деревья, даль, Старший Плиний. Можно его почитать. И передать другим.

II. БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

Михаил Гилелах

ЭХО ОДНОГО СОБРАНИЯ

Те, кто слушал лекции по новейшей истории, которые читал в конце 1940-х годов в Киевском университете Лев Кертман, наверняка согласятся с тем, что крылатое выражение «луч света в темном царстве» было к ним вполне применимо. Ведь мы поистине жили в ту пору в царстве беспардонной лжи. Особенно когда речь шла об истории. Ее нам читали в буквальном смысле слова. Преподаватели не отрывали глаз от конспектов, утвержденных на кафедре, проверенных высшими инстанциями.

Один из студентов однажды подшутил: в перерыве перевернул несколько страниц такого конспекта назад. После звонка преподаватель продолжил чтение. Его остановил только громовой хохот студентов. Доцент читал уже прочитанную на прошлой неделе лекцию. Начальство и не подумало наказать «чтеца». Искали студента-шутника. К его счастью, не нашли.

Но у Льва Кертмана никаких конспектов никогда не было. Он не входил в аудиторию – он вбегал в нее, на ходу швырял на кафедру шляпу и бросал на стул макинтош (тогда они были модны). Потом начинал говорить, никуда не заглядывая,

безошибочно называя имена и даты. Конечно, он не мог не опираться на высказывания классиков марксизма-ленинизма, но, странное дело, это не снижало уровня его лекций. Их слушали, затаив дыхание. Слушали не только те, для кого лекции непосредственно предназначались, но и все, кому посчастливилось попасть в аудиторию. Это были студенты самых различных факультетов, зачастую негуманитарных. Если не хватало места за партами, садились на пол. И в напряженной тишине Кертман рассказывал о событиях вековой давности так, словно они происходили вчера. Перед нами вставали не выразители тех или иных классовых интересов, а живые люди с их достоинствами и слабостями. Мы узнавали о них то, чего ни в каких учебниках не было.

Когда звучал возвещавший об окончании лекции звонок, Кертман исчезал так же стремительно, как и входил, одеваясь на ходу. Но его нередко останавливали. Бурными аплодисментами, букетами цветов.

Каково было все это терпеть его коллегам! Одной из причин их сравнительно долгого терпения было то, что Кертмана называли любимым учеником академика Тарле, известнейшего советского историка, к которому благосклонно относился сам Сталин.

Но вот, наконец, пришла желанная для завистников пора – на Кертмана начали атаку. Видимо, даже Тарле не смог за него заступиться. Мы, студенты филфака, уже знали, что на истфаке его обвинили во всех смертных грехах. Даже в том, что в газетах печатали написанные им международные обзоры под псевдонимом Кость Лывенко.

– Зачем советскому историку псевдоним? – кричали «борцы с космополитизмом», при этом как-то забывая, что даже «великий вождь» не гнушался псевдонима.

К тому времени, когда у нас проходило собрание, Льва Кертмана уже выгнали с истфака. Теперь решили проделать то же самое с его женой Саррой Фрадкиной.

Она была именно Сарра, а не Софья или еще как-нибудь, что бывало в те времена. И преподавала современную русскую литературу. Не скажу, что пользовалась столь же широкой известностью, как ее муж, но думаю, что не погрешу против

истины, сказав, что ее эрудиция, отточенная русская речь производили должное впечатление на студентов.

Может быть, именно поэтому выпад против нее приберегли к финалу собрания, когда, по мнению его устроителей, соответствующее настроение в аудитории было создано.

Слово предоставили аспиранту кафедры украинской литературы Федору Шолому, будущему доктору наук, профессору. В отличие от многих ранее выступавших, этого знали все. Причина была самая прозаическая: довольно долго он был членом профкома университета и ведал там разного рода хозяйственными делами: распределением мест в общежитиях, освобождением особо нуждающихся от платы за обучение (тогда еще за обучение надо было платить), путевками в университетский дом отдыха. Без всего этого был немислим в ту пору студенческий быт.

Выступавший на собрании Федя взялся за работу, от которой другие отказались. Уже само по себе его выступление было одиозным: аспирант кафедры украинской литературы разбирает диссертацию преподавателя современной русской литературы. Да еще какую! – «Влияние Чехова на английскую литературу». И как отыскать в такой диссертации следы низкопоклонства перед Западом? Задача не из легких. Но Федя вроде бы что-то нашел.

– Подумать только! – восклицает он. – Сарра Фрадкина в своей диссертации некоторых малозначительных писателей называет английскими Чеховыми! Какое кощунство!

Неужели он читает по-английски? И книги этих писателей читал?

– Между тем, – продолжает Федя, – в английской литературе не было фигуры, равной Чехову!

В зале – аплодисменты. Сидящая в первом ряду Фрадкина что-то записывает в блокнот. Ведущий собрание Кобылецкий жестом прерывает Федю.

– Товарищ Фрадкина, – возвещает Кобылецкий, – ведет стенограмму выступлений на нашем собрании. Попросим сдать ее в президиум.

Фрадкина возмущенно встает. Ее голос слышен всему залу:

– Я что, стенографистка? Я стенографирую некоторые выступления для себя. Чтобы потом, когда мне дадут возможность, исчерпывающе ответить на некоторые обвинения.

– Дадим, дадим, – обещает Кобылецкий. – Но потом сдадите стенограмму в президиум. Продолжайте, товарищ Шолом.

И чего он так боится этой стенограммы? Странно.

Федя продолжает свою обличительную речь. И при каждом его выпаде против Фрадкиной вскакивает некто рыжеволосый и худой и орет на весь зал:

– Ганьба!

«Ганьба» по-украински – позор. Кричит начинающий баснописец Поликарп Шабатин. То же самое он недавно орал на Пленуме Союза писателей Украины, когда сыпались обвинения против известного украинского критика Ильи Стебуна. Но там Шабатин еще выскочил на трибуну:

– Что он там писал о влиянии Гейне на творчество Леси Украинки, этот Стебун? Кто такой Гейне, в конце концов, о каком влиянии может идти речь?..

Того, что сама Леся Украинка об этом писала, он или не знает или сознательно умалчивает. Как и о том, что влияние Гейне испытали на себе многие выдающиеся поэты мира.

Но тогда оратора остановили:

– Давайте все-таки помнить, что и Гейне, и Шекспир, и Гюго – это титаны мировой литературы!..

...А в университете после Феи что-то невразумительное сообщала залу будущий академик Нина Крутикова, а в купе с ней еще какие-то студенты и аспиранты. Лишь после них слово предоставили Сарре Фрадкиной. Ее появление на трибуне снова сопровождали крики «Ганьба!» и даже «Геть з трибуни!» Но она стояла перед улюлюкающим залом, словно не видя оскаленных рож тех, кто сидел в первом ряду, и не слыша, что кричат сзади, из президиума.

– Только десять минут! – перекрыл общий шум голос Кобылецкого. – Не больше!

– Это еще почему? – обернулась она к президиуму. – Шолом говорил сорок пять минут, остальные – по пятнадцать-двадцать. В общей сложности все эти направленные против меня

выступления заняли почти два часа. А мне для ответов только десять минут?

– Вам все равно нечего сказать! – рявкнул Кобылецкий. – Факты налицо...

– Вот это верно, – в уже наступившей тишине сказала Фрадкина. – Факты действительно налицо. И заключаются они в том, что мне просто нет нужды полемизировать с Шоломом. Это значит выступать против самой себя. Ведь все эти фразы о том, что в английской литературе нет фигуры, подобной Чехову, что не стоит называть малозначительных английских писателей английскими Чеховыми, взяты из моей диссертации. Вот они!

Она назвала страницы, даже абзацы указала. Вот для чего нужна была стенограмма! Недаром Кобылецкий хотел, чтобы Фрадкина сдала ее в президиум. Теперь выступавшая, потрясая объемистой рукописью, предлагала каждому, кто захочет убедиться в правоте ее суждений, посмотреть. Федя нахватал кусков и фраз из ее же диссертации. Он был уверен, что Фрадкиной не дадут ответить.

За десять минут Фрадкина превратила Федю в то, чем он был на самом деле, – в ничто. Когда Кобылецкий вскочил, чтобы напомнить об истекшем времени, которое ей отвели для выступления, в зале кто-то крикнул:

– Да что же это такое! Дать ей еще время!

И Кобылецкий растерянно сел.

В течение последующих минут Фрадкина не оставила камня на камне и от аргументов других своих «оппонентов». И когда она закончила, в зале какое-то время стояла тишина. А потом он взорвался! Овацией! Невиданной, неслыханной! Мне казалось, аплодировали все!

Кроме растерянно озиравшегося президиума.

Я не знаю, было ли еще где-нибудь такое. В 1949 году, в разгар антисемитской кампании, в Киевском университете сотни студентов и преподавателей устроили овацию не обвинителям, а обвиненной!

Уже потом я узнал, что в президиуме лежал проект резолюции, в которой содержалось требование от имени студентов устранить Фрадкину от преподавания. Устроенная ей овация начисто перечеркнула эти планы.

Но только на время. Рассказывали, что на кафедре, где она работала, объявили конкурс на замещение должности, которую Фрадкина занимала. Якобы предложили даже ей в нем участвовать. Вместо этого она и Кертман просто уехали из Киева. В Пермь, где их научная карьера сложилась вполне удачно.

На долгой журналистской стезе встречал я немало людей удивительной смелости. Они таранили самолеты, ходили в тыл врага, проникали в космос и спускались в кратеры вулканов. Но когда я слышу слово «мужество», то вспоминаю Сарру Фрадкину, смуглую стройную женщину, стоявшую на трибуне перед ревущим людским скопищем, и ту овацию, что затем прогремела в ее честь. И это воспоминание всегда вселяет в меня гордость и надежду.

Наталья Лейтес

ЛЮДИ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Я познакомилась с Саррой Яковлевной Фрадкиной еще до того, как мы, то есть наша семья, переехали из Ижевска, столицы Удмуртии, где прожили целых 10 лет, в Пермь – город более крупный и культурный. Я не помню уже подробностей переезда, но Сарра Яковлевна, несомненно, сыграла в нем немалую роль. Яркая, остроумная, энергичная женщина, она умела не только организовать свою жизнь, но и влиять на решения и действия тех, кто был связан с ней добрыми отношениями.

Мы стали в Перми друзьями и коллегами – я тоже преподавала в Пермском университете, где она работала и до моего появления. Выяснилось также, что мы с ней во многом люди одной судьбы: и она, и я родились и работали прежде на Украине (она – в Киеве, я – в Запорожье), и она, и я были объявлены «космополитами», когда началась непримиримая борьба с таковыми, то бишь с евреями, и нам обеим пришлось искать пристанища в тех местах, где люди не были заражены до такой степени пафосом этой борьбы. Так мы обе с семьями

оказались в далекой Перми, в суровых для нас, уроженцев Украины, климатических условиях, но в гораздо более человеческой обстановке.

Пермский университет был вполне достойным учебным заведением, и тут я узнала Сарру Яковлевну как яркого, заразительного лектора, блестящего знатока русской литературы советского периода, отнюдь не столь однозначной, как хотели бы ее видеть тогдашние власти.

Она работала очень много и в студенческой аудитории, ее обожавшей, и по линии общества распространения знаний. Словом, скучать ей не приходилось, да она и не умела скучать. Она всегда была в трудовом напряжении, в творческом запале, и это ее состояние поддерживалось ее мужем, крупным историком Львом Ефимовичем Кертманом, очень помогавшим в решении разных вопросов не только ей, но и мне. Оба они были отзывчивыми и в то же время светскими людьми, державшими в общении с другими некоторую дистанцию. Помню ее любимое шуточное motto: «Мне для своего родного мужа чужой жены не жалко». Наши отношения, несмотря на некоторые шероховатости, возникавшие, впрочем, нечасто, были по сути тесной дружбой.

Татьяна Чернова

САРРА. ЭТЮД К ПОРТРЕТУ

Имя библейское. Профиль Ревекки. Характер сдержанно-волевой. Образованна по высшему разряду. Воспитана на русской литературе. Начальство опасалось ее интеллекта. Зато студенты были от нее без ума, причем как «зеленые», только что окончившие школу, так и недавние солдаты в вылинявших гимнастерках, вернувшиеся со страшной войны.

Своим независимым видом Сарра напоминала царицу, хотя в те годы на факультете среди педагогов было немало достойнейших. Энергичная и обаятельная диалектолог Франциска Леонтьевна Скитова, расхристанная, наполненная

стихами поэтов серебряного века Анна Николаевна Руденко, осторожный интеллигент с эсеровской бородкой Отто Николаевич Бадер, блестящий знаток русского языка добрейший Иван Михайлович Захаров, умнейший и застенчивый чеховский интеллигент академик Обнорский. И Сарра Яковлевна – загадочная, как Нефертити, по-восточному экзотичная, как Таис, умная и непредсказуемая, как Клеопатра.

Сарра Яковлевна Фрадкина и Лев Ефимович Кертман явились в наш провинциальный уральский город из столичного Киева. Ясно, что по доброй воле такие вояжи никто делать не станет.

В Перми, где каждый десятый житель был родственником либо ссыльного, либо репрессированного, появление новых личностей не удивляло. В 40-ом году на пороге нашей коммунальной квартиры появилась женщина с огромными узлами и маленькой девочкой. Мужа тети Оли, кадрового офицера, арестовали за рассказанный в компании анекдот, а жену с дочкой сразу же выслали из Владивостока подальше на Урал. У нас и в студенческой среде были такие, которым приходилось каждый месяц отмечаться в милиции. У Люции Королевой отец (директор школы) навечно сгинул где-то в ГУЛАГе, а им с матерью разрешили проживать на самой дальней окраине Перми, в деревянном Запруде.

Пермь – город-перекресток. Здесь сходились судьбы Востока и Запада. Для оказавшихся в неволе людей это было несчастьем, а для пермяков – счастьем, потому что опальные неординарные личности создавали особую атмосферу высоковольтного интеллектуального разряда.

Сарра и Лев Ефимович были из этого числа. От них исходила особая энергия духа. Кстати, мы звали ее именно Сарра – без отчества. Подчеркивая сим «панибратством» нашу особую к ней любовь.

Сарра Яковлевна вела у нас спецкурс по Симонову – модному тогда писателю – и читала курс послевоенной прозы. Обычно кроме теоретической части она устраивала «летучие» диспуты, на которых, изо всех сил стараясь «выпендриться» перед ней, мы спорили до хрипоты. В спорах, как известно, рождаются и ценные мысли, и шаг за шагом вчерашние птенцы

оперялись и учились доказывать свою точку зрения. Это были уроки свободомыслия, оценить которые мы смогли значительно позже. Ее анализ произведения был всегда образным, тезисы – убедительными, а выводы подчас неожиданными, нестандартными. Сарра открыла нам прелесть «деревенской прозы» – и это после Тургенева! Она же соединила в наших сердцах мечты чеховских интеллигентов с суровым бытом и кровью минувшей войны из книг Казакевича и начинающего Астафьева. Главное – остаться человеком во всех обстоятельствах. Именно за эти тонкие чеховские «нотки» Сарра Яковлевна полюбила Панову и даже написала о ней книгу.

Вообще, пара Кертман – Фрадкина быстро завоевала город. Сарра подружилась в Пермском книжном издательстве с редактором Римской, а потом и с самой Пановой, которая приезжала в Пермь. Она много и интересно писала о пермских театрах в газете «Звезда». Оказался востребованным и блистательный талант Льва Ефимовича. Его приглашали читать лекции на все партийные конференции. Огромная эрудиция, великолепное знание предмета, интересные факты из истории международного рабочего движения, доверительная интонация – все это делало его лекции событием городского масштаба.

Поселили чету Кертманов в студенческом общежитии, что на Дальней. Этаж, кажется, третий, угловой отсек. Там я и оказалась однажды у них в гостях. После разбора моей курсовой работы Сарра неожиданно пригласила к столу. Кто ж откажется выпить чашечку чая в компании с *самой* Саррой Яковлевной! Время было послевоенное, голодноватое, но Сарра выставила на стол и малиновое варенье, и даже сгущенку. Поначалу я не решалась притронуться к деликатесам, но она сама предложила: «Таня, вы смешайте в вазочке варенье и сгущенку. Очень вкусно!»

Вязкая жидкость необычного сиреневого цвета буквально таяла во рту. Прошло много лет, но это чаепитие мне запомнилось. И хотя потом несколько раз приходилось заглядывать на Комсомольский, где Кертманы жили в Доме Ученых, и даже выпивать с Львом Ефимовичем по рюмочке коньяку, – ничто не могло сравниться с тем вишневым десертом. Может, потому что было в том чаепитии что-то очень домашнее,

теплое. А может, тот случай помог мне понять, что не надо бояться смешивать сладкое с еще более сладким или горькое с совсем горьким. Прелесть жизни – в желании почувствовать другой, непривычный вкус и уметь самой создавать краски мгновений...

Уже и после университетских лет мы иногда общались. Нет, друзьями мы никогда не были, но какая-то ниточка нас все же связывала. Я тоже любила театр, как и она. И, встречаясь на премьерах, мы загадочно улыбались друг другу в предвкушении зрелища, которое нас ждет. Она всегда интересовалась мнением других людей, но никогда, в отличие от сегодняшних журналистов, не использовала чужих мыслей. Ее рецензии были всегда доказательны и содержали глубокий анализ. Так сейчас о театре не пишет в Перми никто.

Пора кончать мои штрихи к ее портрету, но все время кажется, что главное о ней я так и не сказала. Может быть, сдержанной улыбкой Джоконды (это не преувеличение – она и в самом деле имела привычку чуть кривить губы) она так и осталась непонятой? Что не успела она сказать мне и другим своим негромким, но очень выразительным голосом? Кого больше любила на этом свете – мужа, детей или литературу, которой служила всю свою жизнь?

У Сарры была своя тайна. И вряд ли кто-то сумел разгадать ее. Впрочем, тайна должна быть у каждого человека.

Светлана Усть-Качкинцева

НАШИ ВСТРЕЧИ

Я знала Сарру Яковлевну со времени приезда ее семьи в Пермь и до последних дней жизни. Но порой мы не общались годами, а было время, когда встречи и разговоры были частыми и продолжительными. Кроме того, в отличие от основного круга знакомых и друзей Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича, я – не гуманитарий. Поэтому мои короткие наброски об этих встречах

носят не профессиональный, не научный, а скорее импрессионистский характер.

Впервые я узнала эту семью в 50-х годах, когда они, приехав из Киева, поселились в 1-ом общежитии. Со времени его постройки в 1938 году это было наиболее комфортное и, как сказали бы теперь, наиболее престижное жилье для сотрудников университета (но тогда, слава Богу, не было в ходу это суетное понятие). С первых дней в общежитии установился свой неписаный распорядок жизни. Студенты, заселявшие три нижних этажа, уважали покой преподавателей. Те жили преимущественно на 4-ом этаже. Отношения были весьма доброжелательными, но ни частых хождений в гости, ни шумных компаний по праздникам не было. Время было суровое, не располагавшее ни к веселым застольям, ни к откровенным разговорам. Вдобавок, основной состав жильцов составляли математики, физики, химики, биологи – представители не очень «разговорчивых» наук.

Атмосфера существенно изменилась в послевоенные годы. Во-первых, чуть-чуть развязались языки у народа-победителя, во-вторых, появилось много новых жильцов. Среди них – филологи, историки, весьма шумные юристы. А еще среди вновь появившихся было много общительных и говорливых уроженцев южных областей.

Семья Кертманов была семьей гуманитариев, приехавших из Киева. Но врожденная интеллигентность и милый характер выгодно отличали их. Поэтому, если некоторые из вновь прибывших несколько шокировали «стариков» своим поведением, то Кертманы, наоборот, сразу прижились всем по душе.

Вот тогда я впервые и увидела Сарру Яковлевну. Конечно, по молодости лет ни с ней, ни с Львом Ефимовичем я в длительные разговоры не вступала, зато их дочь Лину мы сразу радушно приняли в нашу дворовую компанию. Но суждение свое о Сарре Яковлевне я тогда составила. Она мне понравилась чрезвычайно! Она казалась очень элегантною, хотя явно не прилагала никаких стараний, чтобы выглядеть таковой. А главное – была очень мила и простодушна. Разговаривала ли она с кем-то из пожилых уважаемых ученых или обращалась с

вопросом к кому-то из детей, – она не делала различий, всегда была доброжелательна, полна уважения к собеседнику. Признаюсь, я всегда очень радовалась нашим мимолетным встречам, а такое обращение вызывало у меня некоторую гордость собой.

Жизнь в нашем общежитии была особой, неповторимой по своему очарованию, которое трудно поддается определению. Много позже мы со Львом Ефимовичем, вспоминая то время, сформулировали это так: «Мы все дворяне – со двора Первого общежития».

Следующий фрагмент воспоминаний – уже 60-е годы. Конечно, все предшествующее этому время я довольно часто видела Сарру Яковлевну. После 1-ого общежития мы снова жили в одном доме – Доме Ученых. Встречались на улице, в магазинах. Университет тогда был меньше, его работники больше, чем сейчас, знали друг о друге, интересовались жизнью коллег.

Мой отец с глубоким уважением относился к Льву Ефимовичу Кертману и Сарре Яковлевне Фрадкиной. Встречи с ними и разговоры доставляли ему удовольствие. Знаю, что чувства эти были взаимными. Уже много лет спустя после смерти моего отца Лев Ефимович как-то сказал мне: «Даже Вы не представляете себе, насколько благороден был Ваш отец. Я знаю такие случаи...» – и замолчал. Я поняла, что вопросы неуместны.

Их обоих отличала любовь к хорошей шутке. Они порой искали встречи, чтобы поделиться чем-то остроумным, зная, что это будет оценено собеседником. Приехал Лев Ефимович из Тбилиси с конференции по Руставели, радостно встречает отца, чтобы на его обязательный вопрос о поездке ответить: «Шо-то пили, шо-то ели, Шота Руставели». Оба довольны. Все это пересказывалось дома, и я жила с постоянным уважением и симпатией к этим людям.

Как-то в начале 60-х мы с Саррой Яковлевной оказались в одном купе, ехали в Свердловск. Мы были только вдвоем и проговорили почти всю ночь. Перескакивали с одной темы на другую. Речь шла и об университете, и об общих знакомых, и о событиях в стране, и, конечно, о книгах. И опять, как в детстве,

меня приятно удивило ее внимание к собеседнику. Сарра Яковлевна была удивительно искренна, простодушна, откровенна в оценках событий и людей. А ведь она меня практически не знала!

Следующий, самый длинный период нашего общения приходится на 1980-е годы. Встречи легко и сразу переросли, смею сказать, в дружбу, которая продолжалась до последних дней жизни Сарры Яковлевны. Как-то мы ехали из университета вместе с Львом Ефимовичем. Разговаривали, как это бывало всегда при встречах. И вдруг он сказал: «Почему мы беседуем с Вами только в автобусах и на улице? Пора бы перейти к более основательному знакомству». И пригласил меня в гости буквально на следующий вечер, на встречу старого Нового 1983 года. С тех пор я бывала в этом доме часто. Вместе встречали новый год, дни рождения Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича. Непременно я бывала у них и 9 мая. Но и в будние дни довольно часто забегала на минутку, которая растягивалась на несколько часов. У меня даже был ключ от входной двери их подъезда.

Это были чудесные вечера. Хозяева держались так, что разница наша в возрасте и положении совершенно не ощущалась. Меня неизменно восхищало, как легко и непринужденно держалась Сарра Яковлевна. Она успевала активно включаться в нашу беседу, отвечать на телефонные звонки, что-то приготовить на ужин. Меня никогда не отпускали без ужина и чая, причем стол накрывался обязательно в комнате, а не на кухне. Хозяйка деликатно, но твердо отвергала мои попытки помочь ей: мне отводилась роль гостьи. А ведь было это вечером, после дня напряженных занятий. И еще была у Сарры Яковлевны постоянная забота о дочери и внуке. И к завтрашним занятиям нужно было готовиться. И была в то время Сарра Яковлевна уже немолода, на седьмом десятке. Но никогда никаких жалоб на усталость, и даже тени утомления не было заметно посторонним.

Так же она держалась и в те дни, когда было много гостей. Всегда радушна, для каждого находилось у нее приветливое слово. Мы все в ее присутствии, по-моему, невольно слегка задирали нос: с таким уважением она относилась к нам, так

умела в каждом найти и подчеркнуть его положительные качества, что нам начинало казаться, будто мы и впрямь так хороши.

И еще я очень любила ее постоянную легкую усмешку. Не над окружающими, сохрани Господь, а над жизненными неудобствами, над мелкими невзгодами, над собой. Ведь способность видеть себя со стороны и замечать, над чем в себе можно посмеяться, – это чрезвычайно редкое качество, присущее только очень хорошим и умным людям.

Галина Лебедева

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА – ЧТО ЕЙ РАССТАВАНЬЯ!...»

...В 1996 году, весной, на «Боинге» финской авиакомпании «Финайр» я с близкой подругой Леной, врачом по профессии (спасибо неожиданным перестроечным временам!), пересекла север Европы, затем Атлантику и прилетела в Соединенные Штаты Америки.

Когда шасси самолета ударились о земную твердь и, пробежав по инерции вперед еще некоторое количество метров, наконец замерли, я посмотрела в круглый иллюминатор. Внизу по правому борту на бетоне взлетной полосы в выщербленной лунке зеркально отсвечивало крохотное «озерцо» дождевой воды. Вокруг ощущалась пасмурность, усиленная вечерними сумерками.

Помню первую, почему-то ерническую, мысль, всплывшую как будто вовсе некстати: «Ага! Вот мы и в «гнезде акул мирового империализма», прибежище ЦРУ, ФБР и Пентагона, где преследуют негров и расправляются с неугодными президентами!»

Но эти клишированные заклинания советских времен, явившиеся из подсознания, немедленно стерлись вполне оправданным потрясением: «Да ведь это же Америка! За 9 – 10 летних часов, миновав Европу, перенеслись через океан, и вот

– мы на другом континенте! Господи! Как звучит: «Другой континент»! Это тебе не фальшивое «кинопутешествие» верхом на собственном диване, в котором шум океанских волн заменяет мягко рокошущий голос телеведущего Юрия Сенкевича (Царство ему Небесное)!»

Однако мини-озерцо на бетоне взлетной полосы – такое привычное, родное (все как у нас в эту пору!) – уже подталкивало к предчувствию скорой встречи с дорогими сердцу друзьями, которые пребывали где-то совсем рядом, в ближайшем отсеке огромного терминала аэропорта «Кеннеди». Ведь этот беспрецедентный до недавнего времени вояж был ими и устроен (и – увы! – оплачен тоже!), друзьями далеких университетских лет – Толечкой и Розиком, – именуемыми так с юности, хотя их сыну Витюше было уже хорошо за тридцать!

В Штаты они убыли четырьмя годами раньше, как раз вслед за своим сыном. Уехали, тяжело разрываемые привязанностью к родине, корням, друзьям, родным могилам и – невозможностью расстаться навсегда с единственным, хотя уже и взрослым чадом.

Отъезд «Голбатиков» в Штаты (аббревиатура эта сложилась из начальных слогов фамилий Толечи и Розы: Гольцман и Баташева) все мы восприняли невероятно драматично. Даже в начале 90-х подобное расставание еще казалось необратимым: как утрата на веки вечные!

Но вдруг из-за «бугра» стали наведываться старые знакомые, соскучившиеся по родным и близким. А потом и от нас народ поехал во все концы света. И появилась надежда, что выпадет счастье увидеться не только в России.

...И вот, миновав таможенный досмотр в Нью-Йоркском аэропорту «Кеннеди», мы с Леной уже спешим навстречу своим друзьям, машущим нам руками в дверях следующего зала. Подробности того, что сопутствует такого рода событиям, я опускаю, ибо наше долгожданное свидание – всего лишь фон для иного, не менее примечательного события, к которому я веду.

После множественных визитов к стародавним знакомым, принадлежавшим к пермскому землячеству в Нью-Йорке (среди них, кстати, немало бывших выпускников нашей альма-матер!)

мы наконец предались не менее приятному занятию – экскурсионным поездкам.

Стартом всем этим путешествиям послужила многочасовая экскурсия по Манхэттену, центральному острову большого Нью-Йорка. Автобус отправился от знаменитой Брайтон-Бич в Бруклине, из района обитания большей части русскоязычных эмигрантов.

Розалия Михайловна строго-настрого заклинала меня не увлекаться фото- и видеосъемками, не зевать по сторонам, дабы не отстать от своей экскурсионной группы, поскольку это может создать для нас существенные проблемы. Во-первых, вы не знаете языка. Во-вторых, совсем пока не ориентируетесь в чужом городе, к тому же мегаполисе, не имеете представления о маршрутах Нью-Йоркского метро. А в-третьих, криминала и здесь хватает.

Роза хорошо знала мою слабость – увековечивать себя и других на фоне достопримечательностей городов и весей – и дома, в России, и тем более за рубежом.

Словом, как в воду глядела!..

Знакомство с Манхэттеном началось с Бетери-парка, обширного сквера на берегу океанской бухты. Толковый гид, седоватый дядечка – кстати, бывший физик, кандидат наук из Харькова, – подробно рассказал, что строение в виде подковы вблизи набережной не что иное, как старинный бастион, где более века назад стояли пушки, оборонявшие город от недругов со стороны моря. Батарея орудий бастиона и дала историческое название парку. Гид обратил наше внимание на скульптурную группу в центре – своеобразный памятник первым американским эмигрантам, на монумент морякам военного конвоя, сопровождавшего суда с продовольствием, оружием и прочей помощью для СССР во время Второй мировой войны... Полюбовались мы и на белоснежные кораблики, отвозившие туристов на близлежащий остров со знаменитой статуей Свободы.

Следующая остановка – возле печально прославленных теперь башен-близнецов (в них, как известно, размещались Международные финансовый и торговый центры), разрушенных террористами 11 сентября 2001 года.

Вор тут-то и случилось то, чего – увы! – не напрасно опасалась Розалия Михайловна.

В роскошном, отделанном многоцветным мрамором зале с живыми высоченными пальмами, с великолепной сверкающей парадной лестницей, множеством сувенирных магазинчиков, с эскалаторами, уносящими потоки снующего туда-сюда народа куда-то ввысь, не увлечься фото- и видеосъемками оказалось выше моих сил. Профессиональный азарт – запечатлеть все, чтобы показать потом дома, – притупил всякую бдительность.

Короче, ни я, ни Лена, вовлеченная мной в эту суету, не заметили, в каком именно направлении исчезла наша экскурсионная группа.

Преодолев приличный километраж знаменитого Бродвея, с грехом пополам мы вычислили линию метро, по которой благополучно возвратились на свою Авеню – X в Бруклине. И, конечно, получили заслуженный нагоняй от друзей за растяпство.

На следующий день решили пойти в турагентство и попытаться вновь попасть на экскурсию в Манхэттен, тем более что отстали мы от группы практически на старте.

Агентша, оформлявшая до этого нам путевки, была занята с молодой парой. Ожидая своей очереди, мы расположились рядом в креслах. Вскоре к нам присоединилась пожилая интеллигентная дама с приветливым лицом. Не помню, в связи с чем в негромкой нашей беседе был упомянут родной город, но только на слово «Пермь» почтенная соседка отреагировала с неожиданным волнением:

– Позвольте, вы из Перми? В самом деле из Перми?! – Она была изумлена, словно мы прибыли из другой галактики. Не ожидая подтверждения, как-то скороговоркой выпалила следующий вопрос:

– Дорогие мои, вы ж, наверное, знаете Сарру Фрадкину и Льва Кертмана?

Теперь изумились и взволновались мы.

Вообще-то Пермь – большой областной город с миллионным населением. Однако наша собеседница, по-видимому, не допускала и мысли, что, живя в нем, можно не

знать интересующих ее лиц. Мистика состояла в том, что мы оказались теми людьми, которые, действительно, знали их.

Логично в очередной раз помянуть затертую до дыр присказку, что мир таки тесен! Даже здесь, на другом континенте, пришлось убедиться в ее истинности.

– Сарра Яковлевна Фрадкина – мой учитель. Она читала нам курс советской литературы и ряд спецкурсов. А Лев Ефимович руководил кафедрой новой и новейшей истории, насколько мне известно. А в 1958 году, когда мы заканчивали университет, он возглавлял комиссию, принимавшую у нас, филологов, госэкзамен по литературе...

В моем ответе пожилую даму, по-видимому, как-то особенно резануло слово «руководил». На лице ее отразились тревога и смятение:

– Вы сказали – «руководил»? Почему «руководил»?!

Стало ясно, что о кончине Л.Е. Кертмана она не знала. Однако по выражению моего лица догадалась, какой последует ответ.

– Когда же это случилось?

– В общем, уже давно. Вероятно, более десяти лет назад. Или около того...

– А Сарра? С кем она осталась? Как же она без Лёвы?

– От близких друзей я знаю, что Сарра Яковлевна живет с дочерью. Сын у нее – в Москве. Сама продолжает работать, профессор...

– Ну да, ну да! С Линочкой... Понятно... – печально закивала головой пожилая дама. – Ах, Лёва, Лёва, как же так? Как рано!.. Я помню: он с 17-го года. Должно быть, ему было около семидесяти... Да, да... Горько, горько!..

Она примолкла на секунду. И вдруг заговорила как-то немного нервно:

– Мы ведь с Саррой – однокашницы. Закончили филологический факультет в Киеве в 1937 году. Работали вплоть до начала войны на кафедре литературы в нашем же Киевском университете ассистентами.

Вы знаете – она была уникальна! Из всех выделялась! В ней чувствовалась невероятная целеустремленность. И подготовленность! Что ни спроси – все она уже читала, все

знает. А человек какой! Отзывчивый, доброжелательный. На курсе ее очень любили.

...Лёва учился на историческом. Тоже окончил наш Киевский университет. Учился блестяще! Только выпустился на три года позже, чем мы: в 40-ом. И сразу был призван в армию, а через год – война... Эвакуация... Все разлучились. Сарра Яковлевна оказалась в Татарии, в Казани. Мы некоторое время переписывались. Поэтому знаю, что Лев Ефимович воевал, был ранен и уже в Казани закончил аспирантуру. Ученик академика Тарле, между прочим!..

После войны мы вновь работали в Киевском университете.

А в 1948-ом начался весь этот ужас! – борьба с космополитами... Ах, как люди тогда выявлялись. Находились такие, что карьеру себе на этой борьбе делали! Антисемитизм шел неприкрытый. Вчерашние товарищи, коллеги такие гадости могли в лицо бросить – не приведи Господи снова пережить!

Но Сарра с Лёвой держались, виду не подавали. С невероятным достоинством – я вам не могу передать!.. Как только сил хватило? На одном достоинстве и выстояли!.. Хорошо, что тогда они в Пермь уехали. Для них это было спасением...

Монолог нашей собеседницы прервался неожиданно, поскольку подошла и нам очередь общаться с агентшей, ведающей экскурсионными турами. Затем у ее столика заняла место и пожилая дама. Было видно, что она с трудом отрешилась от своих воспоминаний...

Когда мы покидали турагентство, она попросила передать Сарре Яковлевне сердечный привет.

Уже возвратившись домой, мы сообразили, что наша собеседница забыла нам представиться. Мы же, взволнованные ее рассказом и отчасти зашоренные ситуацией с восстановлением своей экскурсии, об этом ей не напомнили.

Однако сокровенный монолог о Сарре Яковлевне и Льве Ефимовиче, услышанный буквально только что, не выходил из головы. Помню, что подумала тогда: вот ведь виделись почти ежедневно в течение пяти учебных лет, да и позже часто приходилось встречаться, когда я уже работала на радио, затем

на телевидении, а, в сущности, ожившая память их однокашницы явилась для меня настоящим откровением...

...Нам вручили школьные аттестаты в июне 1953 года, переломного в известном смысле: всего три месяца назад «расквартировали» в Мавзолее на Красной площади сатрапа всех времен и народов Иосифа Сталина. Оздоровительные импульсы ухода его с арены власти стране предстояло ощутить несколько лет спустя. Но мы, семнадцатилетние, в эту пору озабочены были в большей степени переломным моментом в своей собственной судьбе: предстояло определиться с будущей профессией, выбрать вуз и поступить в него.

Для большинства моих одноклассниц (тогда еще существовали школы с раздельным обучением девочек и мальчиков) высшее образование было не просто заветной планкой, которую необходимо взять, но определенным знаком качества собственной личности, непременным условием дальнейшей успешности. Непоступление в вуз воспринималось как крах всей жизни.

Мы, выбравшиеся из голодного военного детства, живя поголовно в бедности, жаждали стать студентами. И, понятно, университет, куда стремилась, вероятно, основная часть выпуска нашей 7-ой Пермской школы, вызывал в юных душах священный трепет.

Пиетет этот еще более усилился, когда с началом приемных экзаменов мы очутились в главном университетском корпусе (если не ошибаюсь, теперь он числится под номером вторым). Широкие коридоры с огромными окнами, со шпалерами остекленных сверху донизу шкафов, заполненных множеством загадочных экспонатов, напоминали залы музеев – местами археологического, местами зоологии или ботаники. Таблички на дверях «Деканат» с последующим обозначением факультета, названиями кафедр и кабинетов – завораживали. Все было внове. Все чрезвычайно притягивало и одновременно пугало своей неизвестностью.

И вот с началом учебного года – первого в предстоявшей университетской «пятилетке» – мы получили в деканате историко-филологического факультета студенческие билеты,

зачетки. С бдительной аккуратностью (не дай Бог что-нибудь перепутать!) переписали в тетрадки расписание лекций, семинаров. Спустя год такого рвения уже не было...

Конечно, наиглавнейший интерес в университетскую пору вызывала у меня любимая литература.

В ней и только в ней, по моему тогдашнему – увы! – непросвещенному мнению, бился истинно живой пульс – эпох, времен, событий.

Только она позволяла почувствовать драматизм, а порой подлинную трагичность человеческих судеб, раскрывала тайное тайных в душах и характерах самых различных типов людей.

Как невероятно раздвинулись уже на первых курсах рамки былых школьных программ! Несметное количество новых имен мастеров прозы и поэзии открывал прошлый век в отечественной и зарубежной литературе.

Появился совершенно новый пласт – произведения-памятники, великие образцы литературы древнейших времен. От этих первоисточков и пошло наше проникновение в историю литературы.

Невозможность все объять несколько омрачала жизнь. Надо было не просто прочесть, но и переварить все эти «эвересты» книг – «нетленки» классиков, а еще больше «сопутствующих» авторов, сумевших, однако, оставить свой заметный след в истории словесности.

Десятки имен в одной только Пушкинской плеяде. А сколько в послепушкинской! Самому великому русскому поэту предшествовало весьма знаменательное для российской прозы и поэзии Державинское время...

То же самое в зарубежной литературе: имена, имена!..

Помню, когда, изучая эпоху Позднего Возрождения в Англии конца XVI – начала XVII веков, подошли к творчеству Шекспира, Екатерина Осиповна Преображенская (замечательный преподаватель, сама – целый университет!) предложила желающим выбрать темы для докладов. Я без колебаний выбрала биографию великого драматурга, поскольку всегда интуитивно чувствовала, что разгадка творческого своеобразия всякого художника таится в его собственной судьбе. Раскопала в хранении университетской библиотеки толстенный

фолиант, посвященный целиком жизнеописанию Шекспира и изданный еще до 17-го года: пергаментная бумага, виньетки в начале каждой страницы, изысканный шрифт «с ятями», графические иллюстрации.

Существовал ли Вильям Шекспир на самом деле – актер Королевского театра «Глобус» и великий драматург в одном лице? Не маска ли он? А если маска, то чья? Кто скрывал под ней свое авторство и почему?..

Этот вопрос я и сделала в докладе ключевым. Отобрала наиболее любопытные версии. При обсуждении в группе сразу завязалась дискуссия, что весьма порадовало Екатерину Осиповну. После этого доклада я безоговорочно попала в число тех, кому Е.О. Преображенская очень благоволила...

Творческие доклады и содоклады были в наше время распространенной формой участия студента в научной работе, плюс – курсовые. Поэтому областная публичная библиотека им. Горького, располагавшаяся на ул. Коммунистической, возле оперного театра, стала для нас вторым, после университета, домом. Даже в выходные мы появлялись в «читалке», где с утра уже негде было яблоку упасть...

...Но если б сегодня спросили, кто полнее всего олицетворял для меня университет и факультет, не задумываясь ответила бы: конечно, Фрадкина! Да! Сарра Яковлевна Фрадкина, читавшая нам историю советской литературы, ряд факультативов по творчеству В. Маяковского и К. Симонова, спецкурсы «Традиции русской классики в литературе XX столетия», «Константин Симонов и война», «В мире героев Веры Пановой».

В ностальгической моей памяти Сарра Яковлевна стоит особняком. Даже на фоне других талантливых «столичных» посланцев – А. Кудряшовой, З.В. Станкеевой (с Риммой Васильевной Коминой как с преподавателем мы не встретились) – она остается отдельной планетой...

...Позвонила моя однокашница с исторического отделения прежнего еще нашего историко-филологического факультета:

– Знаешь, – с некоторым огорчением призналась она, – взялась за эссе о Сарре для юбилейной книжки. Невероятно

трудно движется перо. Уж очень Сарра Яковлевна закрытый человек.

А подруга моя долгие годы была вхожа в дом Кертманов – Фрадкиной: вначале как подопечная Льва Ефимовича, руководившего подготовкой ее кандидатской диссертации, позднее – как близкий семье человек. По крайней мере, именно так я воспринимала довольно тесные ее контакты с этим домом.

Что ж, определенную дистанцию при общении с Саррой Яковлевной не почувствовать, пожалуй, действительно было невозможно.

Уже в несколько отстраненной, – рискну сравнить – Джокондовской улыбке ощущалась ее отдельность. Впрочем, в связке «учитель – ученик» такая дистанция, в общем-то, вполне оправданна и даже необходима.

Но вот закрытость?..

Всякий, кто хоть раз вступал с Саррой Яковлевной в контакт – будь то коллега по университету или несмышлениш-первокурсник, – не могли не ощутить ее благожелательность, неподдельное внимание к собеседнику, что вызывало к ней искреннюю симпатию и сразу снимало «зажим» в разговоре.

И когда я теперь вспоминаю своего любимого университетского преподавателя, на память невольно приходит Антон Павлович Чехов с его «кодексом» воспитанности, который был сформулирован им в письме к брату Николаю.

Перечислю хотя бы фрагментарно основные принципы:

«...Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, доброжелательны, мягки, вежливы, уступчивы...

Болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом...

Они чистосердечны и боятся лжи как огня...

Не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Не играют на струнах чужих душ, потому что все это бьет на внешний эффект...

Они не рисуются, держа себя в рамках и в обществе, и дома.

Уважают свой талант, не выпячивают себя, понимая, что истинные таланты всегда в тени... А пустую бочку слышнее, чем полную.

Они воспитывают в себе эстетику, вкус в поведении и речи...

Чтобы воспитаться [читай: воспитать себя самому! – Г.Л.] и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика и вызубрить монолог из “Фауста”...

Этот список Чехов завершает резюме: «Тут нужны: непрерывный труд, вечное чтение, штудировка, воля и еще раз воля... Тут дорог каждый час, ибо жизнь коротка...»

Не могу отделаться от мысли, что Сарра Яковлевна сверяла себя с Чеховым. Ни на йоту в молодые годы не пренебрегла – ни «штудировкой», ни «беспрерывным трудом», ни проявлением воли.

Отсюда и неординарность, уникальность Сарры Яковлевны, о которых с волнением говорила ее однокурсница, проживающая ныне в Нью-Йорке.

Отсюда *интеллигентность* (явление в нашу одичалую эпоху почти затоптанное) плюс *чувство собственного достоинства*. Не так уж много встретишь людей с обостренным этим чувством. В условиях родного отечества оно уж точно никому жизни не облегчает. Особенно когда «сгущается атмосфера унижения», по словам Ст. Рассадина.

Но, оказывается, на чувстве достоинства (пример Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича) **МОЖНО ДЕРЖАТЬСЯ!**..

В 17 – 18 лет, вырабатывая свое миропонимание, ты невольно ищешь ориентир, на который мог бы равняться и с которым хотел бы сверять мысли, чувства – свои и окружающих людей. Ведь «жить – это медленно рождаться», заметил Сент-Экзюпери. А в нелегкую, видимо, минуту воскликнул: «Стоит только подрасти, и Милосердный Бог оставляет вас на произвол судьбы!.. Для людей нет садовников...».

Не вступая в полемику с более глубоким, вероятно, смыслом этих слов, все же не могу стопроцентно принять их! «Садовники», к счастью, все-таки встречаются, и нередко именно в ту пору, когда мы особенно в них нуждаемся.

А в «*час ученичества*» разве не пример самих учителей активней всего влияет на вступающих в самостоятельную жизнь юнцов?!

В этом смысле нам определенно повезло. Не навязываясь и не морализаторствуя, большинство наших факультетских учителей щедро преподали нам прекрасные уроки увлеченности своим делом, ответственности, трудоголизма, а кроме того – душевной отзывчивости, доброты, требовательности к себе, непреходящего стремления к самообразованию и творчеству.

Сумели ли мы извлечь полезное зерно для себя из общения с ними – это уже другой вопрос. Но урок преподаан был в полной мере.

Сарра Яковлевна, безусловно, из плеяды таких учителей.

Обаяние личности Сарры Яковлевны совпадало и с привлекательностью ее лекторского стиля. Симпатична была особенность ее речи – заторопленная, иногда до скороговорки, но с ясной артикуляцией. Запомнилось, как отчетливо она проговаривала букву «Ч» – с тщательным нажимом. Так и слышу характерное ее «что».

Когда Сарра Яковлевна обращалась к творчеству прозаиков или поэтов, которые в ней самой затрагивали какие-то душевные струны, речь ее приобретала страстность. И вот ты уже невольно откладываешь в сторону авторучку и все внимание устремляешь на нее. Буквально не можешь оторвать от нее взгляда!.. В эти мгновения, казалось, группа и преподаватель обретали единое дыхание.

А курс, который Сарра Яковлевна вела, был – ох, как не прост! Прибегну к сравнению из военной области: похожий на минное поле. Подорваться – раз плюнуть. Подкреплю свою мысль вновь Рассадиным, сравнившим историю советской литературы с «мартирологом уничтоженных физически, безвременно опочивших или покончивших с собой (не буквально и буквально!) талантов». (А те, что сумели избежать «черного списка», не принадлежавшие себе, – разве же настоящему они состоялись?!).

Сколько великолепных произведений в прозе и поэзии «выпало» из собраний их сочинений, будучи похороненными в тайниках больших и малых Лубянок, сожженными на внутренних дворах этих узилищ, оборванными на полуслове в связи с гибелью или арестом авторов, на десятилетия отлученных от публикаций! А иные – и это едва ли не самое

печальное! – так и не воплотились в тексты, «убитые» внутренним цензором, то есть самим создателем.

К счастью, история литературы знает и аналоги смельчакам, описанным Рэем Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту».¹ Их было немало – тех, кто с риском для жизни сберегал для будущих поколений бесценные рукописи опальных авторов. Применительно к нам – рукописи Б. Пильняка, П. Флоренского, М. Булгакова, А. Платонова, В. Шаламова, В. Гроссмана, А. Солженицына. Немало тех, кто не дал кануть в Лету гениальным строчкам О. Мандельштама, М. Цветаевой, Л. Гумилева, И. Бродского и многих других художников слова. Вспомним хотя бы подвиг Лидии Корнеевны Чуковской, сохранившей в своей памяти многие «крамольные» стихи А. Ахматовой, в том числе – «Реквием».

Конечно, после ухода с арены «вождя народов» уже не хватало всех подряд и не расстреливали. Литература и наука о литературе задышали чуть естественней. Но послабления были микроскопическими. Преподаватели по-прежнему должны были читать лекции с оглядкой на незыблемые партийные установки и оценки.

Могла ли Сарра Яковлевна в те годы обойти молчанием, не заметить, к примеру, позорнейшее Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором глумливо ошельмовали А.А. Ахматову и М.М. Зощенко?! А позднее – игнорировать идеологическое избиение молодого в ту пору прозаика Владимира Дудинцева за его не вполне невинный для советской власти роман «Не хлебом единым»? Притом что в недавние времена ценой «непослушания» могла стать и жизнь – своя и родных?

...Но вот этого ничего не осталось в памяти, потому что в ее лекциях не было агрессивного нажима, стремления «построить» наши мозги непременно по официальному идеологическому ранжиру.

Зато отчетливо отложилось, как в начале хрущевской оттепели Сарра Яковлевна (в каком именно контексте – не вспомню; возможно, речь шла о традициях русской классики в

¹ Температура, при которой горит бумага (прим. автора).

советской литературе 40 – 50-х гг.) подчеркнула, что лучшую советскую поэзию невозможно ни понять, ни осмыслить без плодотворного влияния плеяды поэтов Серебряного века. Как связующее звено были упомянуты не только В. Ходасевич, Г. Иванов, К. Бальмонт, но и запретные М. Цветаева и О. Мандельштам, А. Ахматова, Б. Пастернак. Мимоходом, как бы в общем ряду... Большинство из этих имен для нас в 50-е годы прозвучали впервые...

На занятиях Сарры Яковлевны Фрадкиной мы просыпались умственно, не только машинально фиксировали то, что нам преподносилось.

На преподавательском столе пусто: ни одного листка с собственными записями. А каждая лекция – так казалось! – сплошная импровизация, притом с массой ассоциативных параллелей и отступлений. На самом деле тема излагалась стройно, логично, фактажно. Это было заметно даже по скорописи наших конспектов.

Постепенно мы проникались не одной лишь «суммой» знаний по истории советской литературы, но и живыми процессами, в ней происходившими. Тем более что эти процессы напрямую связаны были с жизнью общества и страны.

Уверена: тема «Константин Симонов и война» среди научных пристрастий Сарры Яковлевны отнюдь не случайна. Не только из-за того, что молодость ее поколения была опалена огнем этого трагичнейшего катаклизма XX века! Как ни парадоксально – война стала наиболее искренним периодом в жизни людей и в творчестве лучших советских писателей. Разлада в душах стало меньше (при всех жестоких и страшных «но», имевших место в это время). Искренность собственной интонации К. Симонова, равно как и других поэтов и прозаиков, отзывавшихся на неизбежный трагизм Великой Отечественной войны, и была для нее притягательна в первую очередь.

На некоторое время Сарра Яковлевна и меня увлекла этой близкой ей темой и побудила приготовить доклад о военной лирике Симонова. Прологом к нему, как мне помнится, послужил мой вопрос, почему один из критиков назвал Константина Михайловича «советским Кипплингом».

– А как вам кажется – такая аналогия оправданна? – с интересом отозвалась Сарра Яковлевна.

– Не знаю... Как-то не задумывалась (а не задумывалась потому, что о самом Киплинге и его творчестве имела весьма слабое представление...).

– В чем же дело, Галя?! Можно исследовать этот вопрос. Почему бы не взглянуть на военные стихи Симонова через ракурс и такой параллели?..

Это было в стиле Сарры Яковлевны – подтолкнуть к поиску пусть пока несовершенного, но собственного взгляда на того или иного поэта или прозаика.

Она обладала редкой способностью создавать вокруг себя поле притяжения. Благодаря этой магии, я из всех научных кружков выбрала, конечно же, кружок советской литературы. Хотя нацеливалась стать «пушкинистом».

Удивительно благожелательная атмосфера царила на занятиях нашего кружка. Мой доклад на 1-ом курсе был посвящен, помнится, публицистике военной поры. Идея, разумеется, принадлежала Сарре Яковлевне (все-таки к литературе этого времени она была пристрастна!). И наверняка первый блин вышел комом. Хотя по подсказке Сарры Яковлевны я перелопатила довольно приличный объем статей, зарисовок, очерков, плакатных монологов И. Эренбурга, М. Шолохова, А. Толстого, Б. Горбатова, К. Симонова и многих других известных писателей и журналистов, ставших с началом Великой Отечественной войны фронтовыми корреспондентами центральных и армейских газет.

Поразило другое: как серьезно, уважительно представила меня Сарра Яковлевна участникам кружка. Даже несколько пафосно подчеркнула актуальность избранной *мною* (!) темы, что придало зеленой совсем первокурснице смелости и куража.

Обсуждение этого как бы «научного» опуса фактически обернулось радушным приветствием нового члена студенческого объединения.

Особенно тепло расхваливали мой доклад старшекурсники Неля Котенко и Витя Бурдин. Ну а Сарра Яковлевна в своем резюме проявила уж совсем немыслимую щедрость, заявив, что в обсуждаемом докладе точно обозначен круг наиболее

значимых авторов военных публикаций. Всё это известные всей стране писатели, что позволяет рассматривать их публицистические работы как несомненный факт литературы. Далее Сарра Яковлевна обратила внимание собравшихся на то, что автор доклада (то есть я!) не прошла мимо (подумать только!) жанрового многообразия военной публицистики, а также подробно исследовала изобразительную палитру, к которой прибегали замечательные наши художники слова, что позволило им, выражаясь строчками В. Маяковского, действительно приравнять к штыку перо. И, наконец, в этой интересной работе (то есть моей!) обоснованно указано на историческую миссию военной публицистики, которая, безусловно, с течением лет станет одним из ценнейших источников при изучении такого сложнейшего периода в жизни нашей страны, как Великая Отечественная война.

Как я теперь понимаю, Сарре Яковлевне с помощью таких «авансов» очень хотелось подтолкнуть начинающую студентку к самостоятельному научному поиску, увлечь этой работой, вызвать к ней интерес.

Узнав, что из советских поэтов мои симпатии на стороне В. Маяковского, она предложила именно ему посвятить три моих курсовых работы.

Я начала штудировать литературу, посвященную поэту, которая хранилась в университетской библиотеке и в «Горьковке». И, вероятно, замучила подруг с технического факультета своими восторгами по поводу лирики Маяковского:

Флоты – и то стекаются к гавани.

Поезд – и то к вокзалу гонит.

Ну, а меня к тебе и подавней

– я же люблю! –

Тянет и клонит.

Версты улиц взмахами шагов мну.

Куда я денусь, этот ад тая!

Какому небесному Гофману

Выдумалась ты, проклятая?

Не смоят любовь

Ни ссоры,
Ни версты.
Продумана,
Выверена,
Проверена.
Подъемля торжественно стих строкоперстый,
Клянусь –
Люблю
Неизменно и верно!

Так и сложилось, что темами двух первых курсовых стала лирика Маяковского: стихи и поэмы «Люблю», «Про это».

Поглощая обильную библиографию, посвященную его поэзии, я не могла не почувствовать массу умолчаний, недоговоренностей в творческой и человеческой судьбе Маяковского, что рождало немало вопросов, особенно по поводу взаимоотношений с людьми, входившими в ближний круг общения. И главная героиня лирики поэта Л.Ю. Брик воспринималась как самый большой знак вопроса.

Грешна: начитавшись мемуаров, примкнула к тем, кого весьма интриговала тема странно-нерасторжимого «тройственного союза»: супруги Брики плюс Маяковский. Или проще: «Лилия, Ося + Володя». (В этом лабиринте, похоже, литературоведы плутают по сей день, хотя ряд современных публикаций все же значительно прояснил многие вопросы.)

В 50-е годы пишущие о Маяковском обходились разъяснением самой Лили Юрьевны: «Мы решили никогда не расставаться и прожили всю жизнь близкими друзьями, тесно связанными общими интересами, вкусами, делами...»

– Разве ж сама по себе такая ситуация не драматична? Ведь просто не может быть, чтоб всем троим было одинаково хорошо? – высказывала я Сарре Яковлевне свои сомнения во время консультативных встреч. – Ну посмотрите, ведь стихи Маяковского опровергают эту безоблачную идиллию:

Кроме любви твоей,
Мне нету солнца,
А я и не знаю, где ты и с кем...

А иногда тема ревности лирического героя звучала совсем уж трагично:

А сердце рвется к выстрелу,
А горло бредит бритвою...

Я сострадала поэту и предьявляла Сарре Яковлевне цитаты-улики неверности Л.Ю. Брик. Сколько романов параллельно!

– А один из современников пишет: «Он ее боготворил, а она им верховодила...»

Вопросы мои множились:

– Сарра Яковлевна, не очень ведь понятна и причина разрыва их в конце 1922 года. Лиля Юрьевна поставила Владимиру Владимировичу условие: не видеться два месяца. И в разлуке решить – оставаться им вместе или нет.

Маяковский подчинился и согласился на столь мучительный для него эксперимент. Комментируя эту тему, Лиля Юрьевна невнятно объяснила, что кризис в отношениях с поэтом возник из-за сложно понимаемых в то революционное время вопросов быта. «Можно любить – кого угодно, когда угодно, но без уз».

– Как это – без уз?..

Переполюнявшее меня негативное отношение к возлюбленной поэта Сарра Яковлевна воспринимала очень спокойно. И даже с интересом. Возможно, ее радовала моя увлеченность темой, неформальный подход к работе.

Конечно, по прошествии стольких лет трудно дословно передать ее аргументацию. Но помню: она ненавязчиво внушала, что необходимо учитывать, в какое непростое время встретились Л.Ю. Брик и В.В. Маяковский. А революция привнесла совершенно новые веянья. Пересматривалось абсолютно все. И многие были убеждены, что человеческие отношения, в том числе отношения мужчины и женщины, тоже должны претвориться в новые формы. Лиля Юрьевна максималистски ратовала за отмену «старорежимных» взглядов на любовь. По ее мнению, мужчина и женщина могли оставаться независимыми друг от друга в своих любовных привязанностях. Отсюда и девиз: «без уз!»

Но одно дело – декларативно провозглашать новые принципы, другое – им следовать. Все было не так просто. В 1923 году, впадая в противоречие, Лиля Юрьевна пишет: «Мы должны остаться сейчас в Москве; заняться квартирой. Неужели ты не хочешь пожить по-человечески и со мной?! Мне – очень хочется... если б ты был со мной и для меня...» Словом, Сарра Яковлевна призывала не рубить с плеча:

– Человеческие отношения – вообще весьма сложная материя!..

А по поводу «тройственного союза» она напомнила, что такое в литературной среде случалось и прежде, задолго до «Лили, Оси и Володи». Примеров много: супруги Панаевы и Некрасов, семья Виардо и Тургенев и т.д.

Постепенно, но целенаправленно она вводила мои «юношеские» эмоции, пронизанные таким же максимализмом, в берега означенной темы, незаметно отсекая все лишнее, а мою антипатию к героине лирики Маяковского плавно перевела в этическую плоскость:

– Да, жизнь этих трех неординарных людей из-за их необычного союза действительно привлекала к себе внимание и современников, и исследователей творчества поэта. Но ученому должно быть важно, каким образом эти отношения преломились в художественных произведениях.

Не стоит увеличивать число «желтых» страниц, на которых беззастенчиво обсуждается то, что касается только трех этих людей.

Вспомните, что Маяковский писал в своем предсмертном письме: «...И, пожалуйста, не сплетничайте! Покойник этого ужасно не любил...» Он не склонен был обсуждать свою интимную жизнь с посторонними. Имеем ли мы право не уважать его чувства, более того – его завещание?!

Вам, мне или еще кому-то не симпатична Лиля Юрьевна Брик, но поэт относился к ней иначе. Это был его выбор. Вся лирика Маяковского буквально пронизана любовью к этой женщине и болью от возможности потерять ее. Отсюда невероятно трагическая ситуация многих стихотворений и поэм Маяковского. А «Люблю» и «Про это» принадлежат к высочайшим образцам лирической поэзии, к настоящим

шедеврам литературы XX века. И давайте не забудем, что их появление связано с Лилей Юрьевной Брик!..

– Вообще, знаете, Галя, всякие упрощения – это удел дилетантов! – говорила Сарра Яковлевна. – К науке подобный подход не имеет никакого отношения. Истина всегда прячется в глубинах. И она не столько в том, что доказуемо, но в значительной степени в том, что справедливо.

(Скоропись этого суждения сохранилась в моей старой тетрадке, с которой я ходила на консультации).

Издаেকে прожитых лет я теперь понимаю: наши, казалось бы, обязательные курсовые собеседования не только постоянно корректировали мое восприятие неординарных моментов, связанных с творчеством Маяковского и вообще литературным процессом того периода, но были отчасти и уроками жизни, которые заставляли 19-летнюю студентку задуматься над тем, «что такое хорошо и что такое плохо», что этично, что недопустимо. Нравственность, увы, никому не дается готовенькой. Она формируется в преодолении собственного эгоизма, невежества, сделок с совестью и прочими «рудиментами» человеческой натуры. Подсказка верного направления, особенно если она исходит от личности, которую ты ценишь и глубоко уважаешь, может сыграть в этом случае важнейшую роль.

Близкое общение с Саррой Яковлевной не только как с руководителем моих скромных научных опытов, но и как с человеком – умным, глубоким, корректным, я бы даже сказала, изысканным – и внешне, и в речи, светлым во всех отношениях, – самое дорогое воспоминание моей университетской поры.

Когда в конце 1980-х – начале 90-х гг. толстые журналы начали широко публиковать находящихся еще недавно под запретом – М. Булгакова, А. Белого, Н. Гумилева, О. Мандельштама, М. Цветаеву, А. Ахматову, Б. Пильняка, Б. Пастернака, А. Солженицына, А. Галича, И. Бродского, а следом – поэтов и прозаиков давнего эмигрантского зарубежья – В. Ходасевича, Г. Иванова, З. Гиппиус, И. Бунину, В. Набокова, М. Алданова, И. Шмелева, Н. Тэффи, Б. Зайцева, Н. Берберову,

Д. Мережковского, К. Бальмонта, Г. Адамовича, М. Осоргина, – в стране начался «читательский бум». На журналы с публикациями этих авторов выстраивались очереди. Потом некоторых из них потихоньку стали вводить в учебные программы школ и вузов.

Ах, как повезло студентам-филологам этих лет, в отличие от нас, их предшественников, добывавших «литературную крамолу», можно сказать, из-под полы. Спасибо «Самиздату», хоть чтение его распечаток и грозило большими неприятностями. К тому же скромные тиражи «Самиздата» планомерно изымались бдительными «цензорами» из КГБ (в тогдашней расшифровке – *Комитета Глубокого Бурения*). А его распространители, наряду с диссидентами, получали значительные тюремные и лагерные сроки (даже в Перми имел место подобный процесс!).

Только с началом «Горбачевской «оттепели» в полной мере стало ясно, какие зияющие провалы образовались в наших представлениях о литературе XX столетия, а еще точнее – в нашем духовном развитии.

Уже приведенный выше перечень имен (далеко не полный) свидетельствует о чрезвычайных (а для части людей и невозполнимых!) потерях. Как при строительстве дома: вдруг не заложили бы в его основание необходимое количество скрепляющих кирпичей.

Однако не повезло не только нам, студентам-филологам 50 – 70-х годов. В такой же мере был нанесен ущерб и нашим преподавателям. Их учебные курсы тоже насильственно обузили. Из научного обихода волюнтаристски изъяли первоклассных поэтов и прозаиков Серебряного века и последующих периодов.

Мне жаль нас всех! Но я испытываю двойную горечь: не только с опозданием прочла многих блистательных авторов ушедшего столетия (некоторых – совсем недавно!), но и не получила возможности осмыслить их творчество на лекциях Сарры Яковлевны Фрадкиной.

Она, разумеется, чувствовала, читая нам курс современной литературы, все эти зияющие пропуски. И с присущей ей увлеченностью, не побоюсь сказать – страстностью! – насколько

возможно, компенсировала изъятое, акцентируя наше внимание на наиболее искренних писателях советской эпохи, на их лучших произведениях.

Сарра Яковлевна была из людей, для которых их дело – потребность таланта.

Что ж, она достойно «вынесла вес этих лет» (строки из Владимира Корнилова), а мы благодаря таким, как она, – «выжили, дожили, ожили...».

Светлана Медведева

НАШ ДОМ БЫЛ И ИХ ДОМОМ

Сарра Яковлевна приехала в Пермь из Киева в 1950 г. к мужу Льву Ефимовичу Кертману и поселилась в общежитии по ул. Ленина 191. Мои родители вместе с нами, детьми, проживали по ул. Ленина 155^а (это старая нумерация домов). Общежитие находилось близко от нашего дома – на одной улице, и часто Сарра Яковлевна бывала у нас. У нас дома проходили и совместные праздники, потому что других родственников в Перми у Сарры Яковлевны и ее мужа не было.

Я, будучи в 1952 – 57 гг. студенткой технического факультета металлургического отделения ПГУ, сама часто после лекций забегала к ним, и хотя комнаты в семейном общежитии были небольшие, там всегда ощущалась атмосфера доброжелательности и гостеприимства.

После рождения Геры в январе 1955 г., конечно, все внимание и время Сарры Яковлевны было направлено на малыша. В дом взяли молодую девушку – Раю, которая помогала Сарре Яковлевне и которая до настоящего времени дружна и с семьей Кертманов, и с нами, их пермскими родственниками. Когда Лина, дочка Сарры Яковлевны, приезжает в Пермь, она всегда встречается уже с бабушкой Раей. Такие традиции старшего поколения перешли к детям – отношения преданности на всю жизнь.

Когда в 1957 г. умер отец Сарры Яковлевны (он собирался домой, в Киев), его хоронили из дома моих родителей. Наш дом был и их домом. Моя мама всегда окружала Сарру Яковлевну заботой и вниманием, называя ее только Саррочкой. И когда в отпуск Сарра Яковлевна уезжала в Киев или на курорт, ждала от нее письма о том, как проходит отдых. Умение писать письма, содержательные, объемные, перешло от Сарры Яковлевны к дочери Лине.

Как студентка 1950-х гг., я вспоминаю, что многие развлекательные мероприятия – такие, как драматические представления, – проходили в небольшом помещении студенческого клуба на 1-ом этаже корпуса №2, и я старалась занять место для Сарры Яковлевны, так как она очень интересовалась постановками нашего студенческого коллектива.

Она очень любила драматический театр, в Перми не пропускала ни одной пьесы, где играла актриса Г.К. Васильева, а с Л.В. Мосоловой была в приятельских отношениях и писала рецензии на спектакли с ее участием. У меня сохранились программки спектаклей не только пермских театров, но и московских и ленинградских, которые посещала Сарра Яковлевна в разные годы.

В конце 50-х гг. семья Фрадкиной – Кертмана с детьми и родителями переезжает в новую квартиру на Комсомольский проспект 49. Теперь уже общие семейные праздники и застолья перемещаются с ул. Ленина, из квартиры моих родителей, на Компрос. Как любили мои родители ходить к ним в гости! Этот дом был всегда полон друзей, а вот из родственников – только наша семья.

В октябре 1959 г., когда я родила дочь в железнодорожной больнице, первыми, кто ко мне пришел, были Сарра Яковлевна и Лев Ефимович – с букетом цветов и большим количеством винограда. Как было приятно увидеть их под окнами моей палаты!

Шли годы, и постепенно большая квартира на Комсомольском проспекте пустела: не стало родителей Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича, разъехались дети.

После смерти Льва Ефимовича 30 ноября 1987 г. этот дом окончательно осиротел. Сарра Яковлевна находила утешение в семье Лины и Миши.

Часто после лекций в университете она заезжала к моей маме. Она любила отдохнуть у нас после занятий перед заседанием кафедры. Когда Сарра Яковлевна вот так отдыхала – для нас это было «святое». Все домочадцы боялись нарушить ее покой. Это была и любовь, и уважение к женщине, которой пришлось многое пережить.

До конца 1990-х гг. Сарра Яковлевна продолжала работать в университете: читала лекции, принимала экзамены. Но поездки на занятия были для нее уже физически тяжелы. Я сопровождала ее от дома до университета, однако ни разу не слышала ни слова о том, как ей трудно. В это время мы очень сблизились, я узнала много интересного о ее жизни в Киеве, в эвакуации. И о том, как тяжело было семье, когда во время Отечественной войны она потеряла брата-летчика, – он погиб при исполнении задания.

Все свои бесценные черты: любовь к профессии, преданность и любовь к близким – Сарра Яковлевна передала детям, Лине и Гере.

Уже после смерти Сарры Яковлевны некоторые вещи из ее кабинета были переданы в университет, а у нас дома сохранилось кресло, в котором, занимаясь, Сарра Яковлевна сидела за столом, и камин, перед которым она грелась в холодные зимние вечера, проверяя работы студентов, дипломников и аспирантов. Моя семья всегда будет помнить нашу замечательную родственницу.

Нина Евгеньевна Васильева

ПАМЯТЬ ДУШИ

Сарра Яковлевна – страница моей собственной биографии. В 1955 году я, будучи студенткой Пермского университетского филфака, написала под ее руководством свою первую научную работу – курсовую по теме «Особенности драматического

конфликта в пьесе Горького “Мещане”». Позже я стала убежденной ученицей Риммы Васильевны Коминой, но нити отношений с Саррой Яковлевной уже никогда не прерывались. В середине 60-х годов мне повезло: ректор Ф.С. Горовой дал комнату в Доме Ученых, и мы с Саррой Яковлевной стали соседями, занимая аналогичные квартиры на 4-ом и 5-ом этажах в последнем подъезде, только я в большой коммуналке, а Сарра Яковлевна – в полной профессорской квартире. Соседство – оно и есть соседство: взаимные услуги, пересечения, разговоры, вечерние чаепития, совместные поездки на работу и обратно, обмен книжными новинками, постоянные телефонные перезвоны, наш «парикмахерский салон» в кабинете Сарры Яковлевны, вечера и вечеринки, юбилеи и праздники. Думаю, что именно это дало мне возможность узнать Сарру Яковлевну с той стороны, с которой она раскрывалась далеко не всем, – в быту, в семье, в доме, в частной жизни.

О Сарре Яковлевне – прекрасном лекторе, интересном собеседнике, блестящем преподавателе, тонком человеке, умном авторе многообразных текстов, научных и не только, напишут другие. Я счастлива, что была причастна к *дому* Сарры Яковлевны, к его духу, я видела, как он созидался и оберегался – и это незаменимые уроки. В ту пору я трудно строила свой собственный дом, и все аналогии свидетельствовали в пользу Сарры Яковлевны, ее великой мудрости, мастерства и ума. А дом был очень непростой; в нем сошлись три поколения: Сарра Яковлевна со Львом Ефимовичем, обе мамы, дети Гера с Линой. Непростые характеры, свои привычки у каждого, слабости и изъяны, прихоти и принципы. Такое совмещение само по себе таило опасности ссор, обид, непонимания, раздражения. Но в этом доме они были сведены к минимуму. Роль Главного всегда выполнял Лев Ефимович, а вот роль Мудрого закрепилась за Саррой Яковлевной. Ее умение уступить, понять и услышать сразу всех, юмор и самоирония, гениальная способность быть всегда второй, оставаясь по сути первой, – были, я думаю, решающими в ощущении дома и семьи как оплота, как тыла, как гавани, где всем уютно и надежно.

Но было в этом доме еще и нечто такое, что делало его неповторимо притягательным: здесь ценили и даже

культивировали романтику бытовых отношений, умение возвыситься над прозой будней, воспарить над суетой и «хламом» обыденщины. Тут Лев Ефимович – строгий блюститель; он был в душе лирик, романтик, идеалист, и в человеческих отношениях, помимо всего прочего, находил, ценил и открывал поэзию. С умалением роли общения он связывал существенные душевные потери, эмоциональный ущерб, глухоту непонимания и невникания. Он, как никто, понимал, что «синдром жлобства», который столь сегодня, к прискорбию, массов, сложился в результате вытеснения из личностных отношений озарений идеализма – той частички Бога в нас, без которой общение обесмысливается, становясь сферой потребительского и «товарного» подхода. Без поэзии человек жлобеет – и это непоправимо.

Пусть часто минуты общенья растащим
По крохам на годы, но все же, поверьте,
Они наступают – во всем настоящем:
В дружбе до смерти, в любви до смерти.
Во всем настоящем они придут,
И время их не прикроет порошею.
А кто их не знал, подобных минут,
Тот много в жизни не знал хорошего, –

так он написал в своем романе в стихах.

И верность этому кредо («дружба до смерти, любовь до смерти») они пронесли через всю жизнь, и забота о поэзии человеческих отношений органически вплеталась во все их раздумья, касались ли они воспитания собственных детей или общественных преобразований.

Сарра Яковлевна, человек в высокой степени рациональный, всегда умело оберегала это семейное достояние, и лирико-романтическая нота внутрисемейного настроения была ей очень дорога.

Она была любима, и свет Его любви к Ней смягчал трагическую гармонию ее души. Когда-то, подводя будущие «предварительные итоги», Лев Ефимович писал:

Останешься ты – молодая, как прежде,
И сколько бы лет ни прошло и эпох, –
Ты свет моей жизни, любви и надежды,
Ты первый мой стих и последний мой вздох.

И в другом месте:

Пусть дни штилевые сменяет ненастье –
Я знаю: навеки, навеки дана мне
Волна моего неизбывного счастья...

Эти строки предназначены Сарре Яковлевне, и она, принимая их, знала, что эти чувства нерушимы и что они и есть самые главные в ее жизни.

Меня всегда восхищало ее мудрое умение *принимать*; я сама, всю жизнь убежденно дающая и отдающая, грабила себя, не умея слушать признания (они не казались мне необходимыми), не беря на ум неловкие сердечные жесты (стыдилась излишеств), не вникая в потребности другого раскрыться в дарении (главное – сама!). Сарра Яковлевна умела принимать, и в этом была высшая тонкость ее души. Вспоминаю один, казалось бы, незначачий эпизод.

...Лето конца 60-х. Редкостно жаркий июль; масса пермяков перебралась в личные или снятые на сезон Верхнекурьинские дачи. Плотность лиц, знакомств, пересечений на «пяточках» превышает все потребности в общении, и мы бежим от него в палисадники, садики, огороды, на камский пляж, в лес. Хочется тишины, молчания, покоя, одиночества. Вот в такую минуту я однажды и наскочила на Льва Ефимовича. Он выходил из соснового бора и медленно и как-то отрешенно направлялся в сторону своего дома на 10-ой линии. Тропа через опушку леса открыта во все стороны, и исчезнуть с его пути я уже не успеваю. Здравуюсь нарочито бегло, чтобы не застревать в экспромт-беседе и оставить его одного в этой отрешенности и задумчивости. Но вдруг замечаю, что в правой руке он держит букетик земляники, свежей, крупной, с листиками и стебельками. Молча пройти мимо такого зрелища уже нельзя, и я расплываюсь в улыбке. «Вот собрал, несу жене, ей нужны сейчас витамины» (Сарра Яковлевна в то лето поправлялась после

операции). Хочу иронически заметить, что витаминов тут на копейку, но он предупредительно опережает меня: «Вы не думайте, что это всё. У меня есть еще целый стакан. А это так, для эстетики. Ей нельзя пока далеко ходить, вот и увидит, как ягодка растет». Тут я замечаю и полиэтиленовый кулек, в котором действительно стакан земляники и еще какие-то дары природы: травки, цветочки, шишки. Углубляюсь в лес и долго не могу отойти от какого-то пронзительно-щемящего ликования: может же быть такое!

А вечером того же дня мы с Саррой Яковлевной сидели на террасе их дачи, и она нежно показала на букетик земляники: «Кертман утром принес». Я сообщила, что знаю, и рассказала, как гордо он шел из леса с этим букетиком. «Я его возблагодарила, так что он просиял. Ему сейчас нужно хорошее настроение: он много пишет».

Вспоминаю другой, тоже незначачий эпизод. ...Последние дни декабря 1962 года. В большую квартиру на Комсомольском проспекте привезли елку. Заскакиваю к Сарре Яковлевне по неотложному делу, мы сидим с ней в кабинете Льва Ефимовича, и через стеклянную дверь можно видеть любопытную сцену: Лев Ефимович в спортивном костюме возится с укреплением елки, совсем еще маленький сын послушно выполняет по команде отца подручные мелкие работы, Мария Самойловна перебирает елочные игрушки, Лина что-то экспансивно излагает с весьма выразительной жестикуляцией. И абсолютно терпеливо, как-то нарочито замедленно, спокойно Лев Ефимович успевает соединить в своей отцовской режиссуре и дело, которым занят сам, и внимание к сыну, чтобы он не выпадал из поля зрения, и интерес к пламенной речи дочери, и способность ответить ей сразу, и возможность оценить, точно ли те манипуляции продельывает с коробкой игрушек мама. Через час елка готова, и гостиния сверкает лампочками и позолотой шариков и сосулек.

Все это время мы с Саррой Яковлевной сидим в кабинете, почти не шелохнувшись. Видя, что процесс украшения елки продвигается медленно, я предлагаю Сарре Яковлевне включиться и помочь, на что она замечает: «Боже упаси! Мне не нужна елка, я счастлива, что они вместе и поглощены этой работой. Каждый в своей роли – и Кертман доволен!» И всё, и я

понимаю, что создатель семейной гармонии – она. Это был тот «микроклимат, душевно удовлетворяющий», о котором позже скажет их дочь Лина, подчеркивая бесконечные усилия отца по созданию дома. Я не отделяю от этого процесса Сарру Яковлевну: они были одно. Они хотели – и сумели! – создать не просто хороший дом и крепкую семью, но счастливый дом и счастливую семью.

В своем романе в стихах Лев Ефимович когда-то писал:

Неправда, мы знаем романы о семьях,
И список подобных романов не мал.
Но только действительно в старое время
О семьях счастливых никто не писал.
Вы спорите? – Будем искать неустанно,
Еще раз просмотрим знакомый роман:
Глядит со страницы любого романа
Несчастье Карениных, Вер и Татьян.
Семейные дразги, разрывы и сцены,
И где б ни искали – найдете везде
Распад Будденброков, расчет Нюсинженев,
Измены Форсайтов, несчастье Гранде...
И умный писатель нередко, как школьник,
Блуждает впотьмах и заблудится вдруг.
Напрасно назвали ее «треугольник» –
Назвать бы ее – «заколдованный круг»...

...Счастье дома, который создали Лев Ефимович и Сарра Яковлевна, держалось на том, что обозначается коротким словом – МЫ. Дом людей, очень разных по возрасту, непростых по характерам, обретал редкое «единство противоположностей» именно потому, что над всеми различиями и оттенками различий возвышалось «мы». Для них обоих это было критерием состоявшейся семьи, залогом хорошего душевного самочувствия и условием нормальной творческой жизни.

«...Думаю я все о том, как мы живем и жить будем, именно мы как одна единица, а не как единство двоих. Потому что если рассматривать нас как А + Б, то все сравнительно просто: есть и любовь, и притертость, и общее прошлое, и всего этого вполне достаточно, чтобы с уважением и теплом провести старость. Но

мне бы хотелось совсем не так, хотелось бы (и было задумано) такое единство, когда действительно “умерли в один день”» (из письма Сарре Яковлевне 6/V 1973 г.).

«...И сквозь все это, не скрою, просто мечты, почти детские – о большой и интересной работе и жизни *для тебя* и для себя, с настоящим горением и с горящими людьми... Почему бы и не помечтать?» (из писем к Сарре Яковлевне).

«Когда ты уходишь в сферу излишнего самосжигания на костре мелочей, то это ведь Мы вместе сжигаемся» (из писем к Сарре Яковлевне).

Вот тут они были разные: «самосжигание на костре мелочей» подчас захватывало Сарру Яковлевну в ущерб той щемящей семейной сосредоточенности, которую столь ревностно любил и охранял Лев Ефимович. Насколько я помню, Сарра Яковлевна всегда делала несколько дел одновременно: готовила еду, писала письма, кем-то и чем-то руководила по телефону, штопала носки и т.д. Это не дробило ее личной цельности, но создавало ту суету, против которой восставал Лев Ефимович. Сарра Яковлевна была феноменально организованным человеком, обладала повышенным (а мне иногда казалось – излишним) чувством дисциплины и самодисциплины, ее ответственность и абсолютизированное понимание долга не допускали никакой расхлябанности и «расслабухи».

Многих это напрягало и вызывало к соответствию, что практически было невозможно. Помню, как мы с ней, оказавшись одновременно в Сочи, шли от гостиницы на пляж. За эти 5 – 7 минут, пока я зевала и мечтала, пялилась по сторонам, Сарра Яковлевна успела выполнить дневную программу: отдала туфли в починку, отправила домой телеграмму, купила свежие газеты, приобрела билеты на концерт какой-то знаменитости, приняла плановые таблетки, сделала необходимые телефонные звонки и пообщалась с массой людей. Это был стиль жизни, который позволял вмещать в единицу времени множество разнообразных дел. У нее всегда была в руках бумажка, листочек с записью дел на день, и она строжайше выполняла записанные там пункты. Вот эту привычку я унаследовала от нее и с годами

оценила, насколько это удобно, важно и правильно, насколько это дисциплинирует проживание дня.

Правда, у меня много и стихии, которую не спланируешь, но все же стержень остается. А вот Сарра Яковлевна со стихией справлялась легко: она умела поручать мелочи окружающим ее людям. К выполнению «неважных» для нее дел, мешающих сосредоточиться на главном и отвлекающих время и силы, как-то очень естественно привлекались разнообразные «резервисты»: друзья и знакомые, соседи и лаборанты кафедры, аспиранты и дипломники, не говоря уже о родственниках. Она в этом смысле была талантливый менеджер, и это ничуть не ущемляло ее гордыню. Она олицетворяла собой утверждение Декарта: «Порядок освобождает мысль».

До самых последних минут своей жизни она сохраняла самодисциплину. Уже тяжело больная, она приводила в порядок бумаги, планировала дела, звонки, визиты. Сама уже никуда не ходила – принимала людей у себя дома. Людей было много, разных, близких и не очень, круг общения оставался широким.

А ведь в принципе Сарра Яковлевна была очень закрытым человеком. Все, кто общался с ней или просто был знаком, помнят ее знаменитую улыбку, внезапно вспыхивавшую на лице как выражение приветствия и тут же гаснувшую. Многие принимали ее за игру, условную вежливость, неискренность, даже фальшь. А это был мимический знак закрытости, предупреждение о черте, за которую собеседник не допускался. Ведь не многие знали о ее допермской жизни, а этот опыт значил многое и оставил неизгладимые черты в ее характере, и в поведении, и в манере общения. Киев, космополитизм, изгнание, шаткое равновесие и быта, и бытия диктовали осторожность и взвешенность поступков, слов, отношений. Груз пережитого до Перми обязывал к мудрости, и без того очевидно преобладавшей в ее личности, и она была мастером консенсусов в самых сложных обстоятельствах. Когда дела заходили в тупик, идти следовало к Сарре (так все называли ее в неофициальных кругах).

Житейская мудрость, весомое слово, поразительная способность все понимать, ясность и четкость ума в сочетании с утонченной женственностью придавали ей неповторимый шарм.

Она была сильной всегда – и даже тогда, когда силы оставили ее. Помню, как незадолго до смерти она сказала мне по телефону: «Сильнее всего хочу не проснуться утром».

В 1997 году в ее доме было большое и шумное застолье по случаю 80-летия. Звучало много стихов и речей. Я бы хотела выделить слово Нади Гашевой, как всегда, превосходящей всех по точности и уму. Как хорошо, что ее стихи сохранились.

Огонечек жизни – прекрасной, жестокой, милой –
На ветру декабря трепещет, горит, бьется.
Освещается даль – это было, все это было,
И, конечно, не так, как об этом в песнях поется.
Это было, было, а не промчалось мимо.
Эти восемь десятков лет в двадцатом веке:
И высокая речь, и запах несчастья и дыма,
Звезды южных ночей, январский снегирь на ветке.
Как остаться достойным счастливо-горького дара
В роковые годы на этой Земле рожденным?
Для чего-то дано библейское имя Сарра,
Что навряд ли созвучно ритмам революционным.
И младенческий сон уберечь уже не удастся,
Потому что все слышит душа на самом рассвете.
Восемнадцатый год. Красно-белый разлом гражданской.
И – крутой поворот под самый конец столетия.
Ну, а меж ними – Днепр при тихой погоде,
Не убитых еще друзей молодые лица,
И прощанье с солдатом, который на бой уходит,
И прощание с родиной – ныне чужой столицей.
И еще – драгоценные встречи с людьми и морем,
И просторы мысли, и писем летящий почерк,
Красноречье застолья и молчаливость горя.
И сырая даль под взглядами белой ночи.
Это было, было... И вспомнить об этом нужно!
Ну, а что оказалось дороже всего на свете?
Только совестный деготь труда да мгновенья дружбы.
Да большая любовь. Да чудесные ваши дети.
Никакая жизнь мне не кажется нынче длинной.
Только с Бродским я нынче чувствую солидарность:

Ведь пока еще нам рот не забили глиной.
Из него раздаваться будет лишь благодарность.
О, как много всего в одну судьбу уместилось!
В огонечек жизни, таким напоенный жаром.
Так поднимем бокалы за то, чтоб подольше длилось
Это счастье общенья с библейски мудрою Саррой!
В этот дом мы всегда счастливой звездой ведомы,
Мы поднимем бокалы, и мы их содвинем разом!
И за Час Ученичества! И за хозяйку Дома!
Да хранит Вас Господь! И да здравствуют Музы и Разум!

Инга Бурдина

ЭКЗАМЕН ПО ТРЕБОВАНИЮ

Я вспоминаю Сарру Яковлевну в 307-ой аудитории старого главного корпуса. Была такая уютная комната, вернее комнатка, в которой Г-образно можно было рассадить 25 человек. Как раз столько и принимали в 1950-х годах на курс филологов.

Есть модное теперь выражение – «намоленное место». Наша 307-ая такой и была. Насквозь пропитанная стихами, той особой духовностью, которая исходила от литературы. И несли ее нам, конечно, наши учителя.

Сарра Яковлевна сразу же, с первой встречи, завоевала симпатии курса. Ее обаянию нельзя было не поддаться. Ее лекции нельзя было не слушать. На них нельзя было не думать. Ее манера говорить, заставляющая каждого размышлять, анализировать, искать отклик в своей душе, не могла не пробудить даже самого нерадивого студента.

А стихи, которые Сарра Яковлевна умела так доносить до слушателей, что откликались на них самые сокровенные струны сердечные! «Жди меня, и я вернусь...» – эти строки К. Симонова в ее исполнении (именно исполнении, а не чтении) заставили меня тогда, прямо на занятии, вспомнить действительно сокровенные минуты моей жизни. Кто кого ждал в войну с этими стихами, а я – свою маму, вынужденную уехать с учениками на

уборочную и оставившую меня, третьеклассницу, одну на попечение соседей. Помню стихотворные строки эти на грубой серой бумаге календаря. И я как заклинание, как молитву читаю их и утром, и вечером: «Жди, когда наводят грусть желтые дожди...» Они и сейчас звучат во мне, эти строки, и всегда голосом Сарры Яковлевны с ее одухотворенностью и неподражаемой картавинкой.

Утонченный артистизм, редкий талант, эрудиция, а главное, истинная интеллигентность — я думаю, эти качества назовет любой, кого судьба сводила с С.Я. Фрадкиной. И еще — ее доброжелательность и уважение к каждому, с кем бы ни общалась она. И с нами, студентами, в том числе.

Не случайно мы, четверокурсники, устроили однажды из-за нее забастовку. А дело было так. Сарра Яковлевна отчитала свой курс по советской литературе и ушла в декретный отпуск. А тут и экзамены подоспели. И нам предложили сдавать этот предмет совершенно новому преподавателю. Мы не могли и не хотели менять своего любимого учителя на кого-то другого. Стали протестовать. Но староста группы идти в деканат отказался. Был он человеком партийным и привык выполнять все требования администрации. Мало ли что... Комсорг почему-то тоже не изъявила желания спорить с начальством. Не знаю почему, но в деканат делегировали меня.

Во мне, видимо, разыгрались гены революционной Мотовилихи. С кем-то из девочек я пришла к декану и заявила в совершенно категоричной форме, что сдавать экзамен мы будем только своему педагогу. И, как ни странно это было для того времени, нас услышали. И Сарра Яковлевна согласилась принять экзамен у себя дома.

И вот мы сидим в маленьком «предбаннике» перед единственной жилой комнатой Сарры Яковлевны и Льва Ефимовича в преподавательском общежитии на Дальней. На тумбочке разложены экзаменационные билеты. Чуть поодаль, на маленьком столике, свежесваренный чай с чашками. Для слабонервных. Как раз к ним-то я и принадлежала. Ведь экзамен начали в первый день нового семестра, и вся группа имела возможность читать и зубрить все каникулы. Я же только

накануне вернулась из диалектологической экспедиции. «За что боролась», называется.

Однако получилось, что боролась не зря. Вторым вопросом у меня в билете был «Тихий Дон» Шолохова. Его я, конечно, читала. Еще свежи были и тот эмоциональный заряд, с которым изучалось это произведение на лекции, и то ощущение неизбывной горечи главного героя, которое старалась передать нам Сарра Яковлевна, заканчивая анализ романа. Отличная отметка была обеспечена. И во многих других зачетках появились в тот день пятерки.

А за дверью в комнату властно заявлял о себе маленький человек. Не знаю, исполнился ли тогда новорожденному Георгию месяц, но уже в этом возрасте он принимал вместе с мамой первые в своей жизни экзамены. Сейчас Георгий Львович кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории США и Канады.

С тех пор прошло более полувека. И экзаменов в нашей взрослой жизни было более чем достаточно. Но тот запомнился своей неординарностью, неформальным, человеческим, доброжелательным отношением к тем, кто пока еще учится. И кем бы мы потом ни стали в нашей взрослой жизни: педагогами, журналистами, редакторами, режиссерами, писателями – и каких бы степеней и званий ни удостоивались, и как бы высоко ни поднимались по служебной лестнице, Сарра Яковлевна всегда оставалась нашим Учителем. А мы – ее учениками.

Людмила Грузберг

СПАСЛА

Блестящий лектор. Обаятельнейшая женщина. Интеллигентнейший и интереснейший человек. Применительно к Сарре Яковлевне это все истинно.

Но здесь я хочу рассказать об особом эпизоде. Спасти человека уготовано не каждому. Этой миссии удостоиваются избранные...

...Лет сорок назад, когда я делала преподавательские шаги, к нам домой приехала очаровательная 17-летняя девочка, только что закончившая (почти на «отлично») школу в Черновцах, на Западной Украине. Это была дальняя-дальняя родственница моего мужа. Звали ее Гета.

До этого мы ни Гету, ни ее родителей никогда не видели. Девочка проехала пол-огромной страны, чтобы попытаться поступить в фармацевтический институт. В Черновцах такого вуза не было, да если бы и был, Гета бы туда не поступила: на Западной Украине человек с «нехорошим» *пятым пунктом* ни на какой вуз не мог рассчитывать. А в Перми и фарминститут есть, и к пятому пункту спокойно относятся, а главное – пока суд да дело, хоть переночевать есть где.

На ту беду (а может, на счастье), я входила в состав приемной комиссии по русскому языку именно в фарминституте. (Насколько мне помнится, Гета об этом факте до приезда в Пермь не знала.) Девочка на пятерки сдала химию и физику, и подошел черед русского языка – вступительного сочинения. Я была на экзамене в другой аудитории (не в той, где должна была писать сочинение Гета), ушла из дома значительно раньше, без каких-либо переживаний начала экзамен и вдруг минут через десять слышу за дверью плач. Выглядываю: рыдает Гета. Оказывается, она забыла дома экзаменационный лист и ее, естественно, в аудиторию не пустили.

Я тут же побежала в приемную комиссию, мне пришлось сказать, что это моя дальняя племянница и что с ней приключилась такая беда. Порядки тогда были не такие драконовские, как теперь, и девочке разрешили писать сочинение. Правда, написала она его не на «пять», но проходной балл набрала и спокойно уехала домой до начала занятий. Не дожидаясь приказа о зачислении.

А через 3 – 4 дня мне под расписку вручили повестку, что я должна явиться к следователю такому-то в такое-то отделение ОБХСС (Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности), и там мне сообщили, что я прохожу – *пока* как свидетель – в рамках уголовного дела о взяточничестве на вступительных экзаменах в фарминститут. Молодой следователь был не просто рад – он был счастлив и это счастье никак не мог

скрыть, счастлив оттого, что ему поручили такое важное расследование, что он прославится как борец со взяточничеством на вузовских приемных экзаменах, что ему за это последует более высокий чин, – и т.д., и т.п. Он так без обиняков и заявил, что взятка была дана мне, что иначе ничем не объяснить, как это абитуриентке разрешили писать сочинение без экзаменационного листа и вообще с опозданием.

Не буду углубляться в детективные дебри этой истории; скажу только, что написавший донос в прокуратуру метил вовсе не в меня – он хотел «подставить» одного из руководителей института и в общем-то верно для того времени рассчитал, что беспроигрышнее всего обвинить того во взяточничестве, что подтверждал, в частности, эпизодом с Гетой.

По молодости и тогдашней наивности я не испугалась вызова к следователю. Я ничуть не сомневалась, что «справедливейший в мире советский суд» никогда не осудит человека, не совершившего преступления. Но я вовремя испугалась за Гету, за то, что ее могут не зачислить в вуз! И стала лихорадочно перебирать в голове, кто бы мог в этом деле помочь. Хотя бы советом – что предпринять.

И вот, кляня себя за то, что причиняю людям неудобства, что перекладываю на их плечи свои горести, я все рассказала Сарре Яковлевне и Льву Ефимовичу. По ходу рассказа я обратила внимание на то, что Сарра Яковлевна и Лев Ефимович явно встревожились, их лица помрачнели, и моя вера в «самый справедливый суд» как-то поугасла...

Постепенно на меня навалился непреодолимый, парализующий страх. Я осознала, *что* может ждать меня, моих маленьких дочку и сына, моих старых родителей...

А следователь становился все счастливее. Он на каждой нашей встрече радостно сообщал, что дело вот-вот будет закончено, что оно будет иметь огромный резонанс, что оно надолго послужит наукой всем, кто...

И вдруг – тишина. Меня никуда не вызывают, никто не звонит, и повисает в воздухе какая-то серая неопределенность.

Когда мне наконец объявили, что с меня сняты все подозрения и что вообще эпизод с Гетой не больше чем эпизод,

который больше не нуждается в расследовании, – мы с бедной девочкой (пережившей все это в преддверии своего студенчества!) пришли поблагодарить Сарру Яковлевну и Льва Ефимовича. Гета не могла сдержать слез, и Сарре Яковлевне же пришлось ее утешать. А когда по прошествии нескольких лет я в разговоре с Саррой Яковлевной вспомнила об этом случае, она – так, как это способна была делать только она, – очень мягко и участливо сказала: «Да что Вы, Люсенька! Мы с Львом Ефимовичем просто поговорили с одним умным человеком, и он сразу все понял. Так что это ему спасибо».

Урок истинной интеллигентности! Я-то была тогда совсем... – так и хочется написать: балдой! – но Сарра Яковлевна, уже столько к той поре пережившая, прекрасно понимала, от чего они спасли меня и моих родных... Я кланяюсь Вам, Сарра Яковлевна, и Вам, Лев Ефимович, до земли.

Владимир Зубков

В ДЫМКЕ ВРЕМЕНИ

Возвращаться сегодня памятью к встречам с С.Я. Фрадкиной трудно, ведь прошло все-таки более сорока лет. Дымка времени стерла подробности того, что я слышал от нее, какой ее видел, о чем с ней говорил. Остались только общие впечатления, общий образ. Въевшаяся уже навсегда профессиональная литературоведческая привычка побуждает видеть человека в ореоле исторического времени. С.Я. Фрадкина представляется мне сегодня личностью, вобравшей в себя черты советской интеллигенции 50 – 60-х годов. Тех лет, когда я был ее студентом, а затем аспирантом.

Об этом времени рассвета, зенита и заката хрущевской оттепели, его поразительных контрастах в общественной практике и общественном сознании написано и сказано много. Невероятная еще вчера степень художественной правды о нашем прошлом и настоящем. Убежденность в конечной победе справедливости и светлом завтра. «Возьмемся за руки, друзья,

чтоб не пропасть по одиночке». Пугающее свободомыслие на фоне застарелого социального страха, боязнь публичного высказывания собственного мнения, организованное единогласие, отрывка государственного антисемитизма, тесные объятия неусыпных «органов». Окрики «дорогого Никиты Сергеевича» по адресу художников и писателей, шагающих не в ногу с «автоматчиками» партии... Лучшую, на мой взгляд, характеристику половинчатости эпохи дал Борис Слуцкий, обладавший точным и жестким поэтическим зрением:

Я делаю свободы полный вдох.

Еще не скоро делать полный выдох.

Мне кажется, именно влиянием времени, в котором жила и работала С.Я. Фрадкина, объясняется во многом противоречивость ее личности. Речь идет о противоречии между тем, что она в действительности знала и думала, прежде всего о советской литературе – главном объекте своей преподавательской и научной деятельности, – и тем, что могла открыто и безопасно говорить с кафедры и публиковать в статьях и книгах.

Начало лекционного цикла С.Я. Фрадкиной на нашем выпускном курсе ожидалось с острым интересом. И действительно, это была работа высокого класса. Широкая эрудиция, безупречная логика, свободное владение материалом, энергичная манера речи, свежие и тонкие суждения об отдельных литературных характерах и художественных деталях. И все же... Мысли, озвученные лектором, вполне укладывались в апробированные учебники советской литературы. Не хватало концептуальных идей в раскрытии трудных писательских судеб, собственной трактовки наиболее сложных произведений. Все это, я полагаю, имело место за пределами студенческой аудитории и могло быть услышано от нее теми, кто общался с Саррой Яковлевной в узком закрытом кругу. К сожалению, к их числу я не принадлежал ни когда был студентом, ни когда по воле судьбы стал ее аспирантом.

Произошло это в 65-ом году, когда после трех лет работы корреспондентом газеты «Звезда» я был приглашен заведующей кафедрой русской литературы Риммой Васильевной Коминой в

аспирантуру. Своей диссертационной темой я не принес, предложенная Риммой Васильевной не понравилась, стали думать о другой. Возникло имя Виктора Некрасова с его замечательной военной прозой. Однако литература о Великой Отечественной войне являлась сферой научных интересов не Риммы Васильевны, а Сарры Яковлевны (уже была издана ее книга о Вере Пановой, писалась монография о Константине Симонове). К тому же Римма Васильевна уже руководила двумя аспирантами – Ниной Гашевой и Виктором Бурдиным. В итоге созрело решение передать меня Сарре Яковлевне в качестве ее первого аспиранта.

В наши дни трудно представить, что само согласие руководить диссертацией о В. Некрасове, отвечать за нее в конце 60-х гг. было мужественным поступком С.Я. Фрадковой, поскольку имя писателя уже действовало на литературный официоз, как красная тряпка на быка. За статью «Слова великие и простые», очерки о зарубежных поездках, жесткую фронтовую прозу В. Некрасов стал излюбленным объектом погромной литературной критики и самого Хрущева. Писатель оказался на острие противоборства охранительной цековско-генштабовской «мифологии войны» с ее подрумяненной солдатской правдой. До сих пор не могу понять, как моим университетским наставникам удалось довести до защиты мою работу, которая так и осталась единственной в Советском Союзе диссертацией о В. Некрасове.

Исследование его прозы побуждало выработать общий взгляд на литературу о войне за минувшие двадцать лет и неизбежно обращало к широкому кругу самых острых вопросов: военное и предвоенное, жестокость и человечность, мораль классовая и гуманистическая, доверие и недоверие к воюющему человеку, нравственные конфликты среди своих, табуированные зоны в военной прозе и, прежде всего, цена Победы... Здесь были бы особенно ценны советы современно и глубоко мыслящего специалиста в данной области, каким, несомненно, являлась С.Я. Фрадкина. Однако при нашем общении она не спешила вторгаться своими размышлениями в эту взрывоопасную проблематику, предоставляя мне разбираться во всем самому.

Пожалуй, одним из наиболее запомнившихся событий аспирантской жизни стал день, когда Сарра Яковлевна дала мне прочесть письма, полученные ею от К. Симонова. Это были ответы на вопросы, которые возникли у С.Я. Фрадкиной в связи с работой над монографией о писателе. Впечатление от чтения писем было очень сильным. То, что думал К. Симонов о войне, о литературе, о правде, о своем творчестве, явилось для меня настоящим откровением. С разрешения Сарры Яковлевны я цитировал и комментировал некоторые размышления Симонова в диссертации, а затем много лет ссылался на них в своих лекциях. С тех пор эти два имени – замечательного писателя и преданного исследователя его творчества – стоят в моей памяти рядом.

Галина Никитенко

«ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА...»

Почти весь мой трудовой стаж – педагогический. Но я не сделала за полвека никакой карьеры, всегда была просто учителем, воспитателем или руководителем литкружка. И почти всегда я была еще литературным краеведом. Не только читала все «пермское», но и собирала материалы о пермских писателях, по возможности приглашала их на встречи с детьми, особенно когда работала в «Муравейнике». А началось мое увлечение литературным краеведением еще в университете, с благословения Сарры Яковлевны Фрадкиной.

Не знаю, как сейчас, но в далекие 60-е годы на филфаке не было даже малюсенького курса по такому важному, на мой взгляд, предмету. Сарра Яковлевна блестяще читала нам лекции по советской литературе. Но конспекты по ее курсу у меня не были подробными. И совсем не из-за ее милой, неповторимой манеры – скороговорки. Просто я так заслушивалась ее эмоциональной речью, что успевала фиксировать только «канву». Кстати, именно ради ее лекций я тогда, помню, мечтала овладеть стенографией. Сарра Яковлевна никогда не искала

популярности у слушателей, как некоторые из ее коллег. Она была всегда естественна, без заискивания или заигрывания и без намека на позерство или высокомерие. Но она высоко держала планку, до которой хотелось дотянуться. Ее курсы я считала самыми важными для нас, филологов. Как и все студенты, я восхищалась, конечно, ее высочайшей эрудицией. Но меня нисколько не поражало тогда то, что Сарра Яковлевна читала свои лекции без конспектов, а стихи – наизусть. Я по наивности посчитала, что так и должно быть.

О С.Я. Фрадкиной впервые я услышала еще в родном Соликамске, от любимой учительницы К.Я. Козловой (Михайлюк), которая тоже была студенткой Сарры Яковлевны, а впоследствии стала еще и известным в Перми краеведом, как и ее муж-журналист. С.Я. Фрадкина стала для меня образцом ученого, увлеченного своим делом и умеющего зажечь в студентах интерес к научному поиску. Но вряд ли кого-нибудь из них она сознательно склоняла к занятиям литературным краеведением. И тем не менее первые свои шаги как краевед я сделала благодаря ей. Произошло это очень просто. Написав благополучно первые свои три курсовые, я на 4-ом курсе оказалась в группе Сарры Яковлевны, которая предложила нам много интересных тем по советской литературе. И для успешной работы над ними предполагались поездки в Москву и Ленинград с их крупными библиотеками и архивами. А у меня к этому времени была уже маленькая дочка, от которой уехать я не могла. И тогда чуткая, все понимающая Сарра Яковлевна предложила мне самой сформулировать тему. «Наверное, Вам теперь ближе писатели детские. Вот и подыщите себе подходящий материал», – подсказала она мне, молодой маме.

И я вспомнила мою давнюю мечту – встретиться с пермской детской поэтессой Евгенией Трутневой, стихи которой были популярны у юных читателей 40-х – 50-х годов. Они звучали на детских праздниках, пионерских сборах, по радио... К сожалению, в 1959-ом году, когда меня приняли в университет, Трутнева уже ушла из жизни. И вот, когда я пришла в Пермский архив на студенческую практику, то в первую очередь поинтересовалась, нет ли у них материалов об этой поэтессе. Такому вопросу как будто даже обрадовались: «А как же! Давно

уже лежит неразобранным архив писательницы. Вот и займитесь, пожалуйста!»

Надо же случиться такому совпадению! Значит, встреча с Е.Ф. Трутневой все-таки состоится! Но моя радость оказалась преждевременной. Выяснилось, что самое важное находится в руках подруги Евгении Федоровны, бывшего главного редактора Пермского книжного издательства Л.С. Римской. А в архиве в основном машинописные перепечатки стихов Трутневой с ее правкой, полупустой семейный альбом с жалкими остатками фотографий, какие-то казенные бумаги... Я добросовестно привела в порядок все это наследство и решила, что курсовую о Трутневой писать все-таки буду.

В библиотеке им. Горького я перечитала все, что было о ней в центральной и местной печати. Серьезных работ о Трутневой тогда я не нашла. В лучшем случае это были юбилейные статьи, посвященные ее творчеству. То есть по сути мне предстояло «осваивать целину». Я решила поискать людей, знавших лично Евгению Федоровну, и прежде всего Л.С. Римскую. В «Горьковке» мне предложили обратиться к краеведу Морзо-Морозову. Выслушав мою просьбу свести меня с кем-нибудь из знакомых Трутневой, Морзо-Морозов стал ворчать, что вряд ли они захотят делиться со мной, студенткой, своими материалами ради моей курсовой. Об этой писательнице давно, мол, пора написать серьезную работу настоящему краеведу. И выдал мне тайну: Л.С. Римская собирается издать двухтомник Е.Ф. Трутневой со своей вступительной статьей. Она-то и владеет самым обширным архивом поэтессы.

Но, уступив моим настойчивым просьбам, уважаемый краевед все-таки свел меня с Римской. Она вежливо выслушала меня в своей квартире. Однако желания щедро поделиться со мной у нее, видимо, не возникло. Хотя эта встреча была для меня все-таки не напрасной. Курсовая получилась такой, что Сарра Яковлевна выдвинула мою краеведческую тему для дипломной работы.

Я приносила ей свои черновики на квартиру в Дом Ученых. Она внимательно прочитывала их и говорила:

– Мне даже неловко называться руководителем, так как материалом Вы, Галя, владеете лучше меня. Я, признаться, мало

знаю об этом авторе. К языку Вашему у меня тоже нет претензий. Хоть бы грамматические ошибки были!

Я понимала ее юмор, но смущенно отвечала:

– Какие могут быть ошибки на филфаке?

– А разве Ваши однокурсники все пишут у Анастасии Ивановны Шориной ее диктанты на «отлично»?

Мне надо было сказать (но я тогда не осмелилась по своей провинциальной скромности), что она, Сарра Яковлевна, замечательный руководитель, потому что не стесняет свободы, а ее лекции – лучший ориентир, образец того, как надо анализировать текст, создавать творческий портрет писателя.

Незадолго до написания моей курсовой в Пермском издательстве вышла книга С.Я. Фрадкиной «В мире героев Веры Пановой». Но я, к сожалению, об этой книге не знала, а Сарра Яковлевна по своей интеллигентной скромности ни разу об этом не обмолвилась. В общем, моя не встреча с книгой Сарры Яковлевны – это был не просто досадный пробел в моем образовании. Знакомство с этой книгой тогда могло бы стать для меня «руководством к действию» в работе над краеведческой курсовой, посвященной творческому портрету Е.Ф. Трутневой. А я «варилась в собственном соку», правда, очень старалась, работая самостоятельно и одержимо, кропотливо и вдохновенно: похвала Сарры Яковлевны всегда окрыляла меня. В результате она выдвинула мою дипломную работу на научную конференцию.

Кое-кто из сокурсников познакомился с рефератом до моего выступления. Например, наш поэт Николай Кинев, который особенно восхищался рифмами и образами Трутневой. На конференции после доклада меня засыпали вопросами. Завязалась даже небольшая дискуссия. Помнится, что представитель пединститута (забыла ее фамилию) все приговаривала:

– Никогда не видела такой реакции! Предлагаю считать это выступление студентки Никитенко защитой дипломной работы, тем более что присутствуют как руководитель (С.Я. Фрадкина), так и оппонент (Р.В. Комина).

Предложение было принято единогласно. Только Римма Васильевна поставила условие: убрать из дипломной работы

«пеленки». Она имела в виду рассказ о том, что Е.Ф. Трутнева была подкидышем. Я не стала возражать, но не выполнила ее требования. И Сарра Яковлевна сделала вид, что забыла слова Р.В. Коминой. Она поняла меня как краеведа, которому всегда дороги даже самые маленькие его находки и открытия.

С тех пор при воспоминании об университете и студенчестве я прежде всех других преподавателей мысленно представляю себе Сарру Яковлевну Фрадкину, хрупкую женщину с чувством собственного достоинства, но такого деликатного и доброжелательного человека, что при общении с ним не ощущаешь себя ниже по интеллекту. Она верила в каждого из нас, и мы сохранили привитое ею свойство – не быть поверхностным читателем, а докапываться до самой сути произведения, узнавать побольше об авторе и делиться своими открытиями со всеми, кто по-настоящему любит книгу, самое великое и замечательное изобретение человечества.

Много лет спустя моя дочь, учась в Пермском институте культуры на режиссерском отделении, была как в преподавателя влюблена в Л.Л. Кертман, дочку С.Я. Фрадкиной. И так же не только восхищалась ее эрудицией, но и была покорена высоким душевным благородством этого замечательного педагога. Мир тесен – тем и интересен. Я радовалась, что моей дочери так повезло.

Сейчас в нашем университете почти не осталось тех преподавателей, у которых нам когда-то посчастливилось учиться, но при воспоминании о Сарре Яковлевне «печаль моя светла».

Раиса Андаева

ЖИВОЕ СЛОВО

Я не была студенткой филфака, хотя поступала на филологический факультет Пермского университета. Баллов недобрала. Волею судьбы была зачислена на исторический факультет, а позднее стала ученицей Льва Ефимовича Кертмана.

Но на лекциях Сарры Яковлевны Фрадкиной бывала неоднократно.

В годы моего студенчества о ее лекциях по университету ходили легенды. И мы, историки-первокурсники, вначале из любопытства, а затем из искреннего интереса, попадали на некоторые из них, сбегая со своих собственных занятий.

Для нас, начинающих студентов, эти встречи были настоящим открытием. Впечатления от них сохранились настолько живыми, словно была на занятиях вчера. Сарра Яковлевна обладала великолепной памятью! Это знали все, кто ее слушал. Анализируя особенности советской прозы военного времени, Сарра Яковлевна не пересказывала сюжеты, а цитировала наизусть огромные фрагменты текстов, завораживая нас ощущением живого слова и реальности времени. Речь ее была стремительной, энергичной, каждое слово артикулировано. Да и сама манера общения с аудиторией была для нас, первокурсников, непривычной. Сарра Яковлевна не «читала», а беседовала с аудиторией – озадачивала, задавала риторические вопросы, выстраивала догадки. Дух захватывало от искренности, знаточества, звучания голоса. Нельзя было не восхищаться! Настоящая «энергия притяжения»!

...Бережно храню в памяти (и не я одна) встречи с Саррой Яковлевной в последние годы ее жизни. Нелегкие годы для Сарры Яковлевны.

Особенно памятными и дорогими были те встречи, которые собирали нас ежегодно в осенние вечера, – то были дни, посвященные памяти Льва Ефимовича после его кончины. Мы, друзья и ученики Сарры Яковлевны и ученики Льва Ефимовича, собирались в просторной гостеприимной квартире. Вечеру. Столы накрывались коллективно. Но руководили Сарра Яковлевна и ее дочь Лина Львовна. Для Сарры Яковлевны было очень важно, чтобы все оказывалось на столе – шла ли речь о столовых приборах или о яствах.

Вспоминая о Льве Ефимовиче, говорили обо всем: чему научились у своего учителя, чем дорожим. Своими короткими воспоминаниями делилась и Сарра Яковлевна. В застольных беседах время текло то неторопливо, то быстро. Иногда казалось, что слишком быстро: вот уже и надо бы расходиться, а

желания уходить ни у кого не было... В воспоминаниях словно бы обреталось какое-то душевное единство, помогающее пережить боль утраты, и иногда казалось, что в эти минуты мы становимся чуть ближе и самой Сарре Яковлевне. Может быть, потому что нам этого очень хотелось.

Постепенно во время этих застолий сложилась своеобразная традиция – читать стихи. Читали все. По очереди. Само начинание принадлежит Надежде Гашевой. Она и подавала «сигнал». Надежда и Лина читали много и великолепно. Надежда произносила поэтические строки с необыкновенным упоением. Лина Львовна всякий раз читала по-разному, но всегда прекрасно. Вслед за ними тянулись и мы, историки. У нас получалось чуть скромнее, но «поэтическую марку» старались держать. Мне казалось, что Сарра Яковлевна благоволила нашим застольным «инновациям». Во всяком случае, не была равнодушной. Может быть, потому что пусть не тематически, но интонационно наше поочередное чтение соотносилось с атмосферой памяти, царившей на этих осенних вечерах. Оно было искренним и сердечным.

Благодарю судьбу, что была и остаюсь ученицей Льва Ефимовича Кертмана. Сарра Яковлевна, ставшая хранителем традиций Льва Ефимовича, была для нас, историков, настоящим другом. И в прямом смысле дарила нам свое внимание и душевное тепло.

Мария Лаптева

«Я ВСПОМИНАЮ МЕДЛЕННО И РОБКО...»

Будучи мало, редко и трудно пишущим человеком, вспоминаю медленно и робко, словно пытаюсь наиграть полузабытую мелодию, варьируя и перебирая аккорды...

Вариация первая: литературная

Школьных уроков литературы в небольшом поселке хватило для поступления в университет, но действительное понимание российского литературного творчества пришло

только благодаря университетским филологам – С.Я. Фрадкиной, Р.В. Коминой и др. В первой половине 60-х годов XX века исторический факультет еще хранил следы былой слитности с филологами: курс русской и светской литературы длился два семестра, а кроме того, случались и специальные курсы. Именно такой спецкурс «Поэзия В. Маяковского» читала С.Я. Фрадкина студентам-историкам в 1963/64 учебном году. К этому моменту в моей зачетке уже были оценки по литературе. С.В. Владимиров, с удовольствием отрываясь от проректорских обязанностей, степенно и достойно, хотя и без особых эмоций познакомил нас с творчеством русских писателей XIX века. Советскую литературу нам преподавала молоденькая тогда Н.Е. Васильева, только что вернувшаяся с Кубы. Самым сильным впечатлением от ее лекций был шок новизны: имена А. Вознесенского, Р. Рождественского, Б. Ахмадуллиной тогда еще не входили в классическую обойму. Параллельно их поэтическим выступлениям в переполненных московских аудиториях пермские студенты из уст Нины Евгеньевны слышали то, что не сразу могли адекватно понять. Помню свой недоуменный вопрос-реплику: «...Но ведь «рыба с зонтиком» – это нелепо!» – и спокойный ответ Нины Евгеньевны: «Да, нелепо, но и атомная бомба нелепа, ибо разрушает все, созданное людьми».

На лекции С.Я. Фрадкиной я пошла, пренебрегая своими предметами, так как она читала следующему за нами курсу. Странно, что я совсем не помню, как двигалась Сарра Яковлевна во время лекций и двигалась ли вообще. Я не помню движений ее рук. Вероятно, мое внимание было приковано исключительно к выражению ее лица. Она словно бы с некоторым удивлением, восторгом и страстью вводила слушателей в такой знакомый (по именам) и почти совсем незнакомый (с точки зрения ее восприятия) литературный мир. Благодаря ей, я поняла, что «Клим Самгин» – это лучшее, что создано А.М. Горьким. Уверенность в этом помогла мне десятилетия спустя не так близко к сердцу принимать все попытки представить Горького более мелким (Н. Берберова) или виновным во многих грехах советского времени (журнальные публикации времен перестройки). А Андрея Руденского, воплотившего образ

Самгина на экране, я очень долго считала вполне приличным актером, пока он не растратил крохи своего таланта в малозначительных сериальных ролях.

И, наконец, упомянутый спецкурс о раннем Маяковском. С тех пор, благодаря Сарре Яковлевне, поэт и остался для меня только «ранним», ибо аргументы Фрадкиной были убедительны и точны: на фоне ранней пронзительной нежности и глубокого смысла все «советское» блекло, хотя прямо об этом не говорилось.

Вариация вторая: портретная

Много лет в гостиной большой профессорской квартиры висела плакатная иллюстрация знаменитого альтмановского портрета Анны Ахматовой. Ни внешностью, ни характером, ни судьбой Сарра Яковлевна на нее не похожа. Почему же меня часто посещала одна и та же навязчивая до нелепости мысль о том, что хозяйка квартиры каким-то причудливым образом связана с изображением великой русской поэтессы и красавицы?

Я искала ответ на этот вопрос, будучи в Ташкенте, где в местном музее хранятся несколько набросков и этюдов к этому портрету. В Петербурге, в Русском музее, внимательно вглядывалась в оригинал Н. Альтмана, созданный в 1914 году.

Ныне, когда эта иллюстрация висит у меня (после смерти Сарры Яковлевны и продажи квартиры я выпросила ее у дочери Лины на память), я упрекаю себя за робость – почему не придумала деликатного предлога для удовлетворения своего любопытства: а вдруг там была некая тайна из молодых лет Льва Ефимовича и его жены?

Вполне возможно, что за моей фантазией не было и нет ничего реального. Она остается красивым вымыслом, добавляющим краски в мои воспоминания о С.Я. Фрадкиной.

Вариация третья: архивная

Большинство историков немало времени проводят в архивах, прямо-таки ассоциируются с ними. Меня в архивы никогда не тянуло, мне ближе не аналитическая, а синтетическая работа, не «корни», а «крона», по известному сравнению

российского профессора Н.И. Кареева. Даже написав несколько биографических заметок о Л.Е. Кертмане, я умудрилась не заглянуть в его фонд, хранящийся в Пермском областном архиве. При этом в душе накапливалось досадное чувство несправедливости собственного поведения по отношению к человеку, ставшему для меня главным Учителем.

Однажды Сарра Яковлевна упомянула о том, что, разбирая бумаги мужа, сравнила мои письма к нему, написанные в разные годы, вероятно, с очень большим интервалом, и удивилась тому, как заметно я «выросла», судя по их стилю и содержанию. Поблагодарив за комплимент, я задумалась, что же такого было в этих письмах, раз они не были сразу отброшены и удостоились не только прочтения, но и упоминания спустя годы? Таким образом, Сарра Яковлевна, сама того не ведая, придала новый стимул моим возможным архивным занятиям. Познакомившись с хранившейся на кафедре копией описи личного фонда Л.Е. Кертмана, я обнаружила там одно свое письмо, а затем уже, добравшись до архива и основательно проштудировав некоторые части фонда, я отобрала немало материала, позднее ставшего источником новых публикаций о Льве Ефимовиче.

Вариация четвертая: траурная

В различных вариантах периодизации истории фигурирует такой критерий ее измерения, как поколение. Нередко из жизни уходят тоже целыми поколениями. На рубеже 80-х–90-х годов XX века истфак пережил целую серию таких уходов: Ю.А. Поляков, Л.Е. Кертман, В.Н. Устюгов, К.И. Ларькина, Ю.М. Рекка, В.А. Оборин. Тяжело пережив смерть мужа, Сарра Яковлевна неизменно приходила на траурные церемонии по случаю кончины его коллег. Иногда очередная утрата заставляла ее не в лучшем состоянии здоровья. Однажды я не выдержала и напрямую задала ей, возможно, не совсем деликатный и приличествующий атмосфере вопрос: «Зачем? Зачем Вы пришли в таком состоянии?» Ответ был кратким: «Лев Ефимович *был бы* здесь, а значит, я должна за него...» Тогда я подумала (и эта мысль возникала у меня не только на траурных церемониях), что Сарра Яковлевна продолжает жить жизнью мужа, словно бы живет за двоих. Возможно, это и есть счастье?

Вариация пятая: издательская

При жизни Льва Ефимовича мне приходилось бывать в его квартире только с аспирантскими черновиками. В «друзья дома» я попала благодаря Сарре Яковлевне, собиравшей близких Льву Ефимовичу историков и филологов трижды в год: 9 мая (любимый праздник мужа), 1 сентября (день его рождения) и 30 ноября (день кончины). За столом с обильными закусками и вином нередко возникали разговоры на политические темы. После восклицаний «как дурно нами правят» Н.Н. Гашева – известный пермский редактор – предлагала: «Давайте об этом напишем!» – «Напишем!» – дружно вторили ей слегка подвыпившие гости. Но однажды, после очередного ставшего уже ритуальным возгласа, приобняв меня и Л.А. Фадееву за плечи, Надежда Николаевна сообщила, что книга о том, как правят миром, включена в издательский план. Мгновенно отрезвев и ощутив торжественность момента, мы уже не смогли дать задний ход. Так гостиняя Сарры Яковлевны и созданная ею атмосфера творческих разговоров, воспоминаний, эмоциональных контактов послужила местом рождения замысла, воплощенного в книгу, несмотря на крах Пермского книжного издательства, на потерю спонсоров из-за дефолта и многие другие трудности.

Любовь Фадеева

ТРИ ОБРАЗА

Когда я вспоминаю Сарру Яковлевну, у меня возникает сразу несколько образов, которые лишь отчасти пересекаются, накладываются друг на друга, но не совпадают полностью.

Первый образ – преподаватель, профессор Фрадкина, специалист по русской литературе. Этот образ для меня, скорее, виртуальный. Мы могли бы встретиться с Саррой Яковлевной, как принято говорить в вузах, в рамках учебного процесса: она читала курс современной русской литературы для историков. Однако не пришлось, точнее – не посчастливилось. Именно

нашему курсу этот предмет читал другой преподаватель, по правде сказать, наводивший на нас изрядную тоску, и мы могли лишь завидовать тем счастливым, которым повезло общаться с Сарой Яковлевной. Но образ все же есть: блестящий лектор, досконально знающий свой предмет и непринужденно вовлекающий любую аудиторию в научную беседу. Немаловажное обстоятельство – отсутствие пафоса (которым, кстати, так донимала меня учительница русского и литературы в школе) и присутствие юмора, иронии, порой сарказма (студенты такие вещи чувствуют, запоминают и транслируют превосходно).

Второй образ – это жена Льва Ефимовича Кертмана, у которого, начиная с 1978 г., я училась: сначала как студентка в его спецсеминаре, затем – в заочной аспирантуре, а с 1980 г. работала на кафедре преподавателем и лаборантом. Я часто слышала о Сарре Яковлевне от Льва Ефимовича: иногда сказанные с гордостью слова о каких-то ее очередных профессиональных достижениях, иногда озабоченные реплики о том, что необходимо сделать то-то и то-то, потому что «Сарра Яковлевна просила».

Несколько раз за время обучения в аспирантуре я встречала Сарру Яковлевну в их с Львом Ефимовичем доме, но обычно мельком. У них было заведено не вторгаться в личное профессиональное пространство друг друга, поэтому аспирантские часы у каждого были свои.

Как и большинство аспирантов Кертмана, Сарру Яковлевну я побаивалась. Разумеется, когда мы встречались и, в особенности, когда разговаривали по телефону (будучи лаборанткой, я часто это делала), она всегда была вежлива со мной, даже приветлива. Не могу сказать, что она тогда казалась мне строгой или холодной. Однако она словно бы стояла на каком-то пьедестале, который находился очень высоко. На этот пьедестал ее ставил не только статус университетского профессора, но и реальное положение жены Льва Ефимовича. Он почти никогда не говорил о ней «жена» или «супруга» – только «Сарра Яковлевна».

В 1986 – 1987 гг. я особенно часто бывала в их доме, поскольку, работая над кандидатской диссертацией, спешила

сделать максимум до рождения второго ребенка, а потом – во время отпуска по уходу за ребенком. Так что основное профессиональное общение в то время у меня проходило не в университете, а именно в кабинете Льва Ефимовича. Лев Ефимович трогательно беспокоился о моем самочувствии; а поскольку он считал, что беременные и кормящие женщины постоянно хотят есть, то пытался меня накормить или по крайней мере напоить чаем. Странная штука – память: я до сих пор помню вкус свекольника, сваренного Саррой Яковлевной, и полные гордости слова Льва Ефимовича: «Сарру Яковлевну нельзя назвать кулинаром, но то, что она готовит, она готовит превосходно».

Самые яркие черты этого второго образа Сарры Яковлевны связаны с 70-летием Льва Ефимовича, которое после пышных празднований в Москве отмечали в их доме. Хотя это был его юбилей, складывалось впечатление, что праздновали золотую свадьбу. Предполагаю, что многие из тех, кого авторы данной книги отнесли к категории «друзья дома», вспоминают и описывают именно это событие, поскольку оно было необыкновенным, для каждого – по-своему. Для меня как будто соединились наконец фрагменты картинки, состоявшей из двух половинок, одна из которых представлялась прежде туманной. И в этом целостном образе не было ни иронии, ни усталости, ни сарказма – только любовь, тепло и красота.

Третий образ Сарры Яковлевны стал складываться уже в то печальное время, когда Льва Ефимовича не было с нами. Первое впечатление от этого периода противоречиво: трагическое лицо Сарры Яковлевны на похоронах и ее полное самообладания поведение во время поминального ужина.

Должна признаться, что испытала что-то близкое к шоку, когда вместо ожидаемых и оправданных печальных речей услышала на этом вечере рассказанные с присущим Сарре Яковлевне юмором истории о Льве Ефимовиче, относящиеся к разным периодам его жизни и характеризующие его с совершенно неизвестной мне стороны. Только позже я поняла, что Сарра Яковлевна такая и есть. Не железная, не стальная, нельзя сказать, что негибкая, но и согнуть тоже нельзя. Ее жизненное кредо можно охарактеризовать так: «пессимизм ума,

оптимизм воли». Тогда же, глядя на Сарру Яковлевну, наверное, впервые в жизни я почувствовала правдивость утверждения, что память дает силу жить.

Мы встречались в доме Сарры Яковлевны обычно в памятные дни – 1 сентября (день рождения Льва Ефимовича), 30 ноября (день его смерти) и 9 мая, в тот единственный праздник, который Лев Ефимович ценил и отмечал. Разнородная и разношерстная компания, объединенная общей памятью и общей любовью. И, конечно, Саррой Яковлевной. Тогда я узнала и ее бесподобное чувство юмора, и острый ум, и обширную эрудицию, и глубокую мудрость. Мудрость жить и выживать и принимать мир таким, каков он есть, при этом не прогибаясь под него.

В книге, подготовленной филологами о специалисте-филологе, наверное, крамольным прозвучит мое признание, что на этих посиделках я училась любить русскую литературу. Школьные уроки литературы настолько отвратили меня от нее, что после окончания школы я с упоением прочла многие тома английских классиков и даже не совсем классиков, немало произведений французских и американских писателей, некоторые книги немецких авторов и «всяких прочих шведов». А вот от русской литературы продолжала отворачиваться, читая только что-то уж очень остроактуальное, преимущественно с политической точки зрения. Сарра Яковлевна и ее друзья побудили меня изменить отношение, найти то, что мне близко, что доставляет удовольствие уму и сердцу.

«Вечера у Сарры Яковлевны» могли бы составить конкуренцию любому современному телепроекту. Новинки литературы, обсуждаемые с блеском и юмором, политические новости, комментируемые с умом и сарказмом, перемежались взрывами хохота, искрометными филологическими и не только перепалками Н.Е. Васильевой и Н.Н. Гашевой («Школа злословия», как теперь говорится, «отдыхает»).

И в центре всего этого (может быть, немножко «над») – Сарра Яковлевна, которая всегда была в курсе всего самого актуального и выступала экспертом, арбитром, модератором, умиротворителем. «Над» – не означает взгляд «сверху вниз», это просто другое измерение.

А потом наступало время воспоминаний, чтения стихов. Порой Сарра Яковлевна просила Лину почитать стихи Льва Ефимовича. Мы слушали в полной тишине и лишь изредка поглядывали на вдохновенное и помолодевшее лицо Сарры Яковлевны.

Возможно, этот третий образ покажется кому-то идеальным, «залакированным». Ничего не могу поделать: что выросло, то выросло, как сложилось в памяти, так уж сложилось. Мне не пришлось общаться с Саррой Яковлевной в повседневной жизни – в профессиональной или какой-либо иной сфере. Наше общение проходило в особые дни и в особой атмосфере. Тем не менее я думаю, что в этом образе нет «парадности». Наши «посиделки» были как раз тем общением, когда никакой парадности и не требуется, когда нет смысла примерять и демонстрировать маски, когда можно быть собой, не опасаясь подвоха и вообще ничего не опасаясь. Разве что показаться невеждой. Но даже это опасение было стимулирующим и вдохновляющим.

Вот почему я думаю, что этот образ достаточно точно отражает то, кем была Сарра Яковлевна как личность. И кем она была в моей жизни.

Марина Оболонкова

ПРО ОДНУ ПЛАНЕТУ

«Как будто мы жители разных планет», – писал Александр Володин, обращаясь к женщине. Еще не читала я тогда этих строк, неизвестна была мне Джоан Скотт со своими теориями, ничего неведомо было о гендерных стереотипах, но кажется сейчас, было какое-то априорное твердое знание того, что мужчины и женщины по отношению друг к другу всегда «инопланетяне». Эта простенькая, но оттого не становившаяся менее прочной система представлений оказалась totally подорвана, просто обрушилась, когда я узнала эту пару – Льва Ефимовича и Сарру Яковлевну. Какие-то маленькие штрихи,

малозначительные эпизоды, связанные с ними, прочно остались в памяти, и, оказывается, значат больше, чем свой или чужой опыт, свидетельствующий в пользу прежней «аксиомы».

Историки обожали Кертмана. И все, что было важно и дорого ему, получало и для нас особую ценность.

Физик Иван Григорьевич Шапошников когда-то метафорически сказал, что Лев Ефимович всю жизнь писал одну книгу – «Счастьеведение». Наверное, если бы не Сарра Яковлевна, это была бы другая книга жизни, с каким-то иным названием.

...Помню, как-то на своем дне рождения он рассказывал о первых годах жизни в Перми. «Мы жили в общежитии, у нас была комната с маленькой прихожей. Там жили я, моя жена Сарра, наша дочь Лина, моя мама и, представьте, с нами жила домработница». Ох, поразились, помню, я тогда: это же было устроено для того, чтобы Сарра могла жить полноценной жизнью. Знак, в котором заложен критерий отношения к личности.

...После их путешествия по Каме и Волге на теплоходе кто-то спросил Сарру Яковлевну: «А это не было скучно: две недели плыть?» – «Что вы? Мне с самой собой-то не скучно. А уж со Львом Ефимовичем...» – ответила она. «С самой собой не скучно» – знак, в котором содержится критерий глубины личности.

...Как-то на улице, показав глазами на модные сапожки на ногах молодой женщины, Лев Ефимович неожиданно спросил меня: «Скажите, пожалуйста, такие «черевички» сейчас – комифо? Я хочу такие Сарре Яковлевне купить» (Человека, более далекого от гламура, чем Кертман, трудно представить.) Знак, в котором критерий отношения к женщине.

Когда Льва Ефимовича внезапно не стало, Сарра Яковлевна как будто осталась с половиной сердца. Осталась жить. Продолжала работать, включалась в интеллектуальную и эмоциональную реальность, путешествовала. Радужно принимала нас в их удивительном доме, куда мы приходили в памятные дни, и каждый раз вспоминала и как будто передавала в нашу память что-то важное для нее и, как оказалось, для нас. «Нависают годов наших гроздьях...» – однажды прочитала она

коротенькое стихотворение Льва Ефимовича, написанное для нее на открытке, когда выросшие дети впервые ушли в новогоднюю ночь куда-то жить своей жизнью. Мне кажется, это было для них, родителей, знаком перехода в какой-то новый возраст, новое качество, отчего, наверное, было как-то грустно и тревожно. «Ничего, что вдвоем новогодье. Главное, что новогодье вдвоем», – написал он ей тогда.

Это все про одну планету...

Валентина Зименко

СПАСИБО ЭТОМУ ДОМУ

До 1972 года о существовании семьи Кертмана – Фрадкиной я даже не подозревала. Только поступив на обожаемый исторический факультет Пермского государственного университета, я познакомилась с Герой Кертманом, своим однокурсником. Оказалось, что Гера – сын профессора Льва Ефимовича Кертмана, а кто его мама, я, как и многие мои сокурсники, не знала.

Сарру Яковлевну я впервые увидела в 1974 году, когда мы небольшой компанией договорились готовиться к экзамену по истории южных и западных славян дома у Герки. В тот день я испытала потрясение от дома Кертмана – огромного (скажу по секрету, я там тогда заблудилась), гостеприимного, необыкновенно дружелюбного, светлого. А хозяйкой этого дома была (и навсегда осталась) Сарра Яковлевна, необыкновенно красивая, ухоженная женщина, Герина мама. Конечно, к тому времени мы уже знали, что Сарра Яковлевна – филолог, работает в нашем университете, – но вот и всё.

Потом в годы студенчества было еще несколько встреч с Саррой Яковлевной в их доме, во время которых я всегда робела, и у меня сложилось впечатление, что душой дома был Лев Ефимович, а Сарра Яковлевна была именно хозяйкой, строгой, заботливой, внимательной, властной, немного ироничной и – всегда красивой.

В 1977 – 1980 гг. я работала старшим лаборантом на кафедре новой и новейшей истории, которой, как известно, руководил Лев Ефимович. Это был период нового узнавания Сарры Яковлевны. Оказалось, что она очень требовательный, обязательный и организованный человек. В то время Лев Ефимович заканчивал работу над книгой «География, история и культура Англии» и начинал трудиться над книгой о Дж. Чемберлене, которую мы печатали, а Сарра Яковлевна фактически руководила всей работой.

Я прекрасно помню, как переживала, если не успевала допечатать какой-то материал к назначенному времени, ведь отдавать его нужно было Сарре Яковлевне, а это вам не Лев Ефимович, которого отличала поразительная мягкость. В те годы я узнала другую Сарру Яковлевну: друга, соратника, коллегу Льва Ефимовича, руководителя очень важного проекта, преданность ее которому не могла не восхищать. Она была настойчива, строга, пунктуальна и – удивительно красива. Конечно, мы понимали, что всю эту работу Сарра Яковлевна делает для Льва Ефимовича, наверное, жалея его, экономя его время, силы, здоровье, – и ценили и уважали ее самоотверженность и преданность. Встречи с Саррой Яковлевной в те годы были частыми, исключительно деловыми, и образ хозяйки дома и мамы как-то стал забываться.

День 30 ноября 1987 года многое изменил в квартире №70 дома 49 на Комсомольском проспекте. После прощания с Львом Ефимовичем мы пришли в этот дом, дом нашего шефа, которого там уже не было, долго сидели за большим круглым столом, вспоминали... Именно в этот вечер произошла еще одна встреча с Саррой Яковлевной, которая потрясла меня глубиной своей любви и преданности Льву Ефимовичу. Тогда мне показалось, а позже годы общения подтвердили: с этого момента они не расставались никогда, ни на день, ни на час.

Наверное, это прозвучит кощунственно, но мне повезло – с того дня я вместе с замечательными людьми, историками, учениками Льва Ефимовича стала бывать в этом доме по особым дням: 9 мая, 1 сентября, 30 ноября, 26 декабря – и для меня открылся целый мир.

Говорят, что дом – это люди, которые в нем живут. И это абсолютная правда. Почти тринадцать лет жизни безо Льва Ефимовича были годами ежедневного общения с ним. Во всяком случае, те святые для многих из нас дни, когда мы бывали в этом доме, были посвящены исключительно Шефу. Идейным вдохновителем и организатором «наших» дней была, конечно, Сарра Яковлевна, бережно, трепетно охранявшая память о Льве Ефимовиче и задававшая тему разговора сначала в кабинете шефа, а затем в гостиной за большим хлебосольным столом Дома Кертмана – Фрадкиной. Именно в эти дни я впервые увидела Лину Кертман, к которой до сих пор отношусь с нежностью.

С течением времени определился круг людей, приходивших в Дом в памятные дни: замечательная, потрясающе умная Нина Евгеньевна Васильева, необыкновенно талантливая и искренняя Надежда Николаевна Гашева и другие поистине легендарные филологи, историки, математики. Главной неиссякаемой темой этих встреч был Лев Ефимович. Каждый из присутствующих вспоминал разные моменты жизни, связанные с ним, а Сарра Яковлевна так доброжелательно, нежно, трепетно и настойчиво разматывала клубок наших воспоминаний, так заинтересованно ждала их, что хотелось говорить и говорить о нем. В доме царила необыкновенная, уникальная атмосфера добра, искренности, интереса друг к другу, интеллектуальности и образованности. Незаметно потребность бывать в этом Доме в памятные дни стала настолько естественной, что никто из нас не занимал эти дни ничем другим. Особенно это касалось Великого праздника – дня Победы.

Как-то в день Победы Надежда Николаевна, как всегда, тихо и даже как-то буднично спросила всех присутствующих о том, кто как встречал 9 мая 1945 года. И милые, замечательные люди стали говорить об этом дне. Это были такие пронзительные воспоминания, такие яркие и на самом деле «со слезами на глазах», что я только тогда не просто поняла, а всем своим существом почувствовала, какой это Великий праздник!

Невозможно передать, как важно и ценно все то, что происходило в этом Доме в течение 13 лет безо Льва Ефимовича. Именно тогда состоялось очередное знакомство с Саррой

Яковлевной. Здесь, дома, в кругу преданных ей и Льву Ефимовичу людей, она оказалась другой – не «железной леди», а очень трогательной, умной, доброжелательной и, как всегда, красивой женщиной, бесконечно преданной своему мужу, другу, соратнику Льву Ефимовичу Кертману.

А потом ее не стало. И ничего не стало. И Дома не стало. И в душе с каждым годом все острее боль оттого, что этого нет и уже никогда не будет, и все больше благодарность судьбе за то, что это было.

Ольга Любшина (Купрюшина)

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Деревянный дом с верандой. Мама в атласном халате, круг света от настольной лампы, тетрадь, исписанная четким учительским почерком. Я еще не хожу в школу, и я знаю, что мама должна выступать в офицерском клубе. Это уже потом, много позже, выяснится, что она участвовала в читательской конференции по нашумевшей тогда, в 1950-е годы, книге и даже консультировалась у преподавателя университета. Оказалось, это была Сарра Яковлевна – мой университетский учитель.

Небольшую книгу в суперобложке я давно не брала в руки, а сейчас достала с полки. С.Я. Фрадкина. «Творчество Константина Симонова». Москва, издательство «Наука», 1968 год. Сарра Яковлевна подарила мне ее тогда же, в 68-ом. Это основательная монография, работая над которой, как я знаю, она не только вела переписку с Симоновым, но и встречалась с ним, будучи в Москве.

О литературе времен Великой Отечественной войны Сарра Яковлевна говорила на лекциях особенно взволнованно. Она читала нам стихи Симонова, Гудзенко, Майорова, Кульчицкого. Она сама пережила эту войну...

Советская литература сегодня синоним партийной литературы. Шла ли Сарра Яковлевна на компромисс? С ее-то чутьем на правду, тонким литературным вкусом? Оглядываясь

назад, я не припомню ни одного момента неловкости: значит, акценты были расставлены ею точно.

Еще одна книга моей библиотеки. К. Симонов. «Стихотворения и поэмы». Пермское издательство, 1975 год. Мне, тогда начинающему редактору, поручили подготовить к переизданию сборник поэта. Я снова вчитывалась в строки военной лирики, переписывалась с личным секретарем Симонова, а однажды, включив телевизор, напала на передачу с его участием. На вопрос «Где сегодня можно прочесть Ваши стихи?» он ответил, показав только что вышедшую в Перми книгу.

Дом ученых на Комсомольском проспекте. Лифт с лифтершей, огромные комнаты, высокие потолки – настоящая профессорская квартира, где много книг и большой письменный стол. Сарра Яковлевна – за столом, я – напротив. О чем мы говорили – не помню, помню только ее слова: «В доме должны быть маленькие дети. А сейчас – Герка подрос, а Лина не торопится». Через несколько лет, держа в руках куклу Марику, которую я привезла ей в подарок из Таллина: «Видите, я ее храню. Вот только внук косички ей растрепал...» Тогда еще я не знала, что жизнь его будет трагически короткой.

Лето. Верхняя Курья. Мы с девчонками-однокурсницами приехали к Сарре Яковлевне на дачу. Дом стоит неподалеку от Камы. С мужем – профессором, известным историком Львом Ефимовичем Кертманом – мы видим ее впервые. Тон в разговоре задает Лев Ефимович. Ранее мы не были знакомы, но как легко с ним общаться! Сарра Яковлевна в ситцевом платье, какая-то светящаяся изнутри... Шутили, смеялись. А когда распрощались и отправились к пристани, начался дождь. Я оглянулась – Сарра Яковлевна и Лев Ефимович стояли на крыльце обнявшись, смотрели нам вслед и были такие молодые!

Дом писателя. Люди собираются, чтобы проститься с известным пермским литератором. Вижу Сарру Яковлевну и Римму Васильевну. Они держатся вместе. «Милые учителя! Вы не думайте, что, если мы не звоним и не приходим, значит, мы забыли вас!» Они смотрят внимательно: «Мы всё понимаем...» Я

знаю: учителя не упускали нас из виду и радовались нашим успехам, как своим.

Мама протягивает открытку: «Это тебе!» В открытке – приглашение встретиться и поговорить. Есть место в аспирантуре. Я уже два года как работаю в небольшой восьмилетней школе. Мечтаю о театре, о журналистике. Аспирантура? – не знаю... И вот разговор с Саррой Яковлевной. Долгий. Серьезный. Начала готовиться к экзаменам. Но планы не осуществились. Когда я пришла в университет, чтобы подать документы, меня встретили словами: «Какая аспирантура?! Что вы!» Это было то самое время, когда на филфаке произошел переворот: сняли декана, вклеили выговоры преподавателям, и все это с формулировкой «идеологические ошибки в воспитании студентов».

На книге о творчестве Симонова Сарра Яковлевна сделала надпись: «...с пожеланием полнейшей гармонии». Теперь-то я понимаю, что и для нее самой это было несбыточной мечтой.

Галина Ребель

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

У этой небольшой заметки, написанной в июне 2000 года, сразу после смерти С.Я. Фрадкиной, – хотелось что-то сказать вслед, о книге тогда еще никто не думал – есть три названия и три варианта (в данном случае представлен четвертый). Если бы это было внутренним делом автора, и поминать бы этот факт не стоило, ибо такова судьба всех текстов – быть многократно скорректированными по мере движения к читателю. Но история заметки оказалась неожиданным образом связанной с судьбой и личностью той, кому она посвящена. Текст был наобум отправлен в два издания – «Пермские новости» и региональное отделение «Литературной газеты» в Екатеринбурге – в надежде, что одно из них материал возьмет. Взяли оба. Но по-разному.

В Перми статья вышла под заглавием «Звездные годы филфака».¹ Публикация начиналась с фрагмента, который оправдывал такое название и который приводится далее.

20 июня Пермский государственный университет простился с Саррой Яковлевной Фрадкиной.

Профессор, преподаватель кафедры русской литературы, она более полувека проработала в Перми, став для многих поколений студентов воплощением интеллектуальной свободы, нравственной корректности и органичного, подлинного демократизма. Сарра Яковлевна была одним из созидателей того уникального, теперь уже легендарного явления, каким в тоталитарно-застойные годы стал университетский филфак.

Нам повезло, хотя звучит это несколько кощунственно, так как в везении этом – зловещая гримаса советской истории. И все-таки, вопреки замыслу организаторов очередного образцово-показательного негодяйства, нам, тогда еще не родившимся или совсем юным, повезло: кампания борьбы с космополитизмом выжила из Москвы анкетно-безупречную, но интеллектуально и нравственно несовместимую с негодяйством Римму Васильевну Кому, а из Киева – анкетно-неполноценных и свободно мыслящих, то есть вдвойне неугодных, Сарру Яковлевну Фрадкину и ее мужа, историка, Льва Ефимовича Кертмана.

Эпохальная мерзость (вот где зловещая диалектика бытия!) стала одной из первопричин эпохального сдвига в истории пермского филфака – началом его звездного часа, растянувшегося на десятилетия. На факультете воцарился дух интеллигентности – в самом высоком, подлинном смысле этого слова. Нет, мерзость, конечно, не осталась в далеких столицах, она обильно произрастала и на щедро удобряемой энтузиастами ее распространения пермской почве. Но затмить или хотя бы умалить авторитет и влияние пермских интеллигентов ей было не под силу. От них исходило неотразимое обаяние личностной причастности великой русской литературе, они не просто преподавали ее – они были воплощением лучшего, запечатленного в ней: духовной высоты,

¹ Пермские новости. № 26 (1043). 30 июня – 6 июля 2000 г. С. 14.

напряженных интеллектуальных исканий, нравственной взыскательности.

Так видели, воспринимали, так запомнили филфаковских корифеев несколько поколений студентов. Но есть у каждого из нас и личные, субъективные впечатления и воспоминания, уточняющие и оживляющие сложившийся в коллективном сознании миф.

Здесь прервемся, потому что после этой фразы в авторском варианте статьи было три коротких абзаца, выпущенных «Пермскими новостями» и, напротив, показавшихся наиболее значимыми редакции «Литературки», так как именно по ним была озаглавлена соответствующая публикация: «Она не меняла ни взглядов, ни имени»¹.

Первое, что поразило в Сарре Яковлевне меня, еще до личного знакомства с ней, – имя. На мой юный невежественный слух, «Сарра» звучало несовременно, несвоевременно, как-то неуместно и в моем представлении стойко ассоциировалось с двумя равно далекими явлениями: с Библией и миром местечкового еврейства, каким-то чудом сохранившимся в этом отзвуке до наших дней.

Понадобилось время, чтобы пришло понимание: в этой верности «неуместному» ветхозаветному имени (редкой по тем временам верности, ведь большинство носителей «компрометирующих» имен сменили их на нейтральные) было молчаливое противостояние угрожающему оскалу агрессивного государства, косности окружающей среды, зоологической враждебности идиотов.

Гордый поворот головы, пронизательный взгляд, весомое, точное слово – все в ней излучало достоинство, имя которому и было – Сарра.

Факт изъятия этого фрагмента в пермском варианте читатель оценит сам. Приведу лишь отрывок телефонного разговора с редактором:

- Вы даете статью без сокращений?
- Да... Почти.
- То есть?

¹ Литературная газета. № 28 (5797). 2000 г. 12 – 18 июля

- Мы совсем маленький фрагмент вырезали.
- ?.. (*Мгновенная догадка*) Об имени?
- Да.
- Но ведь это очень важно!
- Места не хватило...

Ну, а далее следовало то, что и здесь следует далее.

Личное общение с преподавателем С.Я. Фрадкиной не только нравственно и интеллектуально обогащало, но и окрыляло, укрепляло веру в себя, придавало силы двигаться дальше. Она умела и любила учить. И любила своих учеников. Она светилась радостью, услышав яркое, неординарное выступление на семинаре или удачный ответ на экзамене. Она серьезно и уважительно относилась к не совпадавшему с ее собственным мнению студента (разумеется, если оно было обоснованным). Она не скупилась на похвалы, справедливо полагая, что это необходимый стимул поддержания творческой формы, и в то же время была требовательна и принципиальна.

Будучи ее аспиранткой уже в 90-е годы, я находилась от нее за тысячи километров, но она всегда безошибочно угадывала тот критический момент, когда творческий подъем и увлеченность работой над диссертацией сменялись сомнениями, усталостью, скепсисом, – вот тут-то и приходило очередное письмо, неизменно производившее оздоравливающий, уравнивающий и вдохновляющий эффект. Эти спасательные круги-письма были проникнуты такой верой в мои интеллектуальные и волевые качества, такой убежденностью в важности и значительности того, что я делаю, что не отреагировать на них трудовым энтузиазмом было просто невозможно.

А когда работа была завершена и автореферат разослан, мне позвонил дотоле незнакомый преподаватель Николаевского пединститута и сходу, без вводных этикетных реверансов, явно волнуясь в ожидании ответа, спросил: «В Вашем реферате указана фамилия научного руководителя – Фрадкина С.Я. Это случайно не Сарра Яковлевна?» Услышав подтверждение, позвонивший страшно обрадовался: он слушал лекции Сарры Яковлевны в Киевском университете полвека назад и все эти годы хранил о них благодарную память.

Благодарная память – это то, что нам осталось.

И несколько строк в дополнение.

Переехав в Пермь в 1997 году, я еще успела пообщаться с Саррой Яковлевной по-домашнему, как никогда ранее не общалась. Дважды встречала в ее доме, с ее семьей Новый год. И она, и ее дочь Лина, и зять Миша были не только гостеприимными и радушными хозяевами – они были необыкновенно внимательными, отзывчивыми слушателями и собеседниками. Приходила Нина Горланова, замечательные соседи по Дому ученых. Застолье носило характер «кухонных» споров-разговоров, выпестованных эпохой запретов, – это был эмоциональный, перебивчивый диалог: о политике (о ней в первую очередь и едва ли не главным образом), о литературе, о времени, о себе, – и был у этого разговора неизменный «фирменный» рефрен – в ответ на чье-то очередное интеллектуальное завихрение Лина живо, радостно и удивленно восклицала, неповторимо интонируя: «Ой, как интересно!»

Сарра Яковлевна была уже очень немолода, но по-прежнему хранила в памяти множество стихов и охотно их цитировала; за самими спорами она больше следила, чем в них участвовала, но вот это Лино «Ой, как интересно!» – от нее, от ее всегдашнего интереса к другому, готовности и способности услышать, понять, откликнуться. Редкое сегодня качество...

Дом Ученых во многом стал мифом, хотя само здание по-прежнему торжественно громоздится на Комсомольском. Но нет больше его заманчивой прелюдии – магазина «Чай» с изумительным запахом молотого кофе, в котором в далекие 1970-е можно было согреться и отдышаться перед тем, как откроется тяжелая дверь, впускающая в святая святых. Нет почти в этом доме и самих ученых. Нет Катерины Осиповны Преображенской («бабы Кати», как ласково называли мы ее про себя), к которой первокурсники в лютый мороз приезжали сдавать зачет и, с трепетом усаживаясь в «вольтеровские» кресла, с интересом глазели на другие «предметы старины». Нет Риммы Васильевны Коминой, которой оказались интересны мои метания в поисках темы дипломной работы и интересен предъявленный ей, принесенный сюда, в этот дом, результат. Нет Евгения Давыдовича Тамарченко, который, устроившись поодаль от нас в казавшейся мне огромной их комнате в коммуналке, с интересом наблюдал за тем, как Нина Евгеньевна

внушала скептически настроенной пятикурснице интерес к сборнику стихов местного поэта. Но есть Нина Евгеньевна Васильева, которая и творит миф, пишет свой «Дом», а в нем продолжают жить его удивительные обитатели. И слышится, витает в воздухе где-то рядом с Домом, над ним, вокруг него – не могло же совсем раствориться и исчезнуть: *ой, как интересно!..*

Борис Проскурнин

СЛУЖЕНИЕ ФИЛОЛОГИИ

Имя Сарры Яковлевны Фрадкиной я услышал от студентов старших курсов филологического факультета, живших, как и я, в восьмом общежитии. Меня, мальчика из глухой провинции, поразило то, что женщина, которую я время от времени встречаю на втором этаже «восьмерки», запросто общается с «самим Симоновым», что она была знакома и переписывалась с Верой Пановой и Мариеттой Шагинян, казавшимися мне людьми абсолютно «с другой планеты». Вплоть до окончания университета и до того момента, как я стал директором студенческого клуба, я не был лично знаком с Саррой Яковлевной, хотя к тому времени уже успел проникнуться огромной благодарностью к ней как к преподавателю. Моя жена, будучи на восьмом месяце беременности, сдавала ей курс истории советской литературы и, получив билет, в котором был вопрос об одном из «шедевров» 30-х годов – романе «Танкер “Дербент”» Ю. Крымова, ею не прочитанном, отказалась было отвечать. У нее даже мелькнула мысль об академическом отпуске. Но Сарра Яковлевна, посмотрев на весьма округлившуюся фигуру студентки, твердо сказала: «Тянуть уже больше некуда. Берите еще один билет». И моя жена успешно сдала экзамен, а через месяц родилась наша старшая дочь. Я помню, когда рассказывал эту историю Сарре Яковлевне позднее, после того как нас близко свела художественная самодеятельность, она улыбнулась и сказала, что Крымов,

конечно, понял бы ее в тот момент и простил незнание его романа...

По-настоящему я познакомился с Саррой Яковлевной в середине 1970-х годов, когда мы решили возобновить в университете конкурс чтецов. Мы заметили, что на смотрах факультетской художественной самодеятельности стало мало звучать не только хорошей, но просто поэзии. Я помню, как сокрушался по этому поводу Соломон Юрьевич Адливанкин. Идею конкурса чтецов он встретил на ура, но сам «жюристь» отказался и посоветовал пригласить Сарру Яковлевну. Помню свою робость, когда шел к ней на встречу, чтобы договориться об ее участии в нашем мероприятии: опять нахлынули воспоминания, что она дружит с самим Симоновым и бывает в «Мекке» отечественных писателей и поэтов Переделкино; что сама едва ли не небожитель, а тут я со своей мелочью – каким-то конкурсом чтецов. Но Сарра Яковлевна моментально согласилась войти в жюри нашего конкурса. И я совершенно уверен, что тот взлет чтецкого искусства, которым был славен университет в 70-е годы, во многом состоялся благодаря и Сарре Яковлевне тоже.

Несколько вещей меня поразили в ней как члене нашего жюри. Во-первых, невероятное знание отечественной поэзии – от Пушкина до тогдашних поэтов. Конечно, особенно колоссальна была ее эрудиция в области современной поэзии: она могла запросто заметить любую неточность в чтении со сцены стихотворения Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, Смелякова, Друниной, причем самых «свежих», только появившихся стихов. Она могла процитировать едва ли не всякое прочитанное со сцены студентами стихотворение с любого места. Ее память была просто фантастической! Это настолько мощно впечатляло всех – от членов жюри до участников конкурса, – что в такой ситуации наша оценка не вызывала никакого возражения со стороны конкурсантов. Более того, она принималась с благодарностью. При этом Сарра Яковлевна не стремилась к «солированию» в жюри, хотя имела на то полное право, поскольку была на несколько голов выше всех нас с точки зрения знания поэзии (да и прозы тоже, не говоря уже о жизни в целом). Она всегда уважительно

выслушивала суждения всех членов жюри, особенно студентов, и в своем выступлении обязательно с кем-то из них соглашалась, чтобы подбодрить человека, вселить в него уверенность. При этом ее собственное выступление было всегда точным и емким одновременно, попутно сообщавшим какие-то дополнительные сведения о поэте или его произведении. Оно незаметно превращалось в мини-лекцию с обязательным цитированием прозвучавшего со сцены стиха, а то и других произведений поэта, впрочем, совсем не утомительную, а наоборот, пробуждающую интерес к автору.

Второе, что меня поразило, было умение Сарры Яковлевны схватывать моментально содержание произведения, звучавшего со сцены, и предлагать способы чтецкого донесения его до слушателя. Она настаивала прежде всего на том, чтобы чтец даже в самой неожиданной и внешне эпатажной форме (стихи Вознесенского, например) не забывал о содержании стиха, о том, что подвигло поэта на создание этого произведения – прежде всего идею стиха, и через нее смотрел на образность языка и стиля автора. Она при этом так цитировала прочитанное студентом стихотворение, что оно открывалось поразительным, доселе не очевидным, единством формы и содержания. Так незаметно она учила чтецов с геологического, химического или биологического факультетов (да и членов жюри!) поэзии, ее пониманию, давала уроки хорошей литературы. Наверное, эта возможность была одной из причин ее участия в наших жюри: как настоящий филолог, она была «культуртрегером» в душе и в пропаганде настоящей литературы видела свою миссию.

Именно поэтому (а не потому, что там работал Лев Ефимович) она с удовольствием читала курс литературы историкам. В те годы студенты-филологии и студенты-историки жили на одном этаже «восьмерки», и у нас была возможность знать, что лекции Фрадкиной пользуются большой популярностью у историков. Мы также знали, что искреннее и подтвержденное самостоятельным суждением восхищение студента каким-нибудь настоящим шедевром отечественной литературы, даже если оно было немного наивно выражено, гораздо более ценно для нее, нежели обязательное механическое прочтение всего списка. Помню, она как-то сказала мне, к тому

времени уже перешедшему преподавать на кафедру зарубежной литературы, что получает большое удовольствие от чтения литературного курса историкам, причем иное, нежели от чтения его филологам. Тогда я не очень понял, что она имела в виду. Но когда в конце 1990-х – начале 2000-х годов я с огромным удовольствием читал факультативный курс мировой литературы историкам, мне вдруг открылось, что привлекало Сарру Яковлевну в возможности пообщаться с не-филологами по поводу литературы. Это была свежесть взгляда, незажатость литературоведческими клише, нестандартность подхода. А это весьма и весьма будит твою собственную мысль – в равной степени преподавательскую и исследовательскую.

Помню, перед началом одного из конкурсов чтецов я увидел, как она заполняет десятки бланков подписки на журналы: «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Москва», «Сибирские огни» и т. д., и т. п. Тогда-то мне и открылось, откуда у Сарры Яковлевны такое знание современной литературы и поэзии: она читала, по-моему, все, что выходило нового в периодической печати, в так называемых «толстых журналах». Еще в начале нашей совместной «жюриной» деятельности я заметил, что каждую свободную минуту Сарра Яковлевна читает какой-нибудь журнал или какую-нибудь книгу...

Позднее, став сначала заместителем, а потом и председателем Художественного совета университета, я приглашал несколько раз Сарру Яковлевну поработать в жюри межфакультетской студенческой «Весны», которая в университете уже много лет проходит в суровые морозные декабрьские вечера. Концерты и их обсуждения затягивались, и до той поры, пока в жюри не появился Гера Кертман, мне выпадала честь идти с Саррой Яковлевной, подхватывавшей меня под ручку, до Перми II и там сажать ее в троллейбус или в такси. Я вспоминаю эти минуты с особым чувством: это были моменты радующей меня доверительности. Она с удовольствием слушала мои рассказы о семье, о том, как радуется дочь, о том, как трудно работается жене в школе при колонии для малолетних преступников. Она вообще умела разговаривать человека и была очень внимательным слушателем. Но с гораздо

большим удовольствием я слушал ее интереснейшие рассказы о встречах с «самим Симоновым» или «самой Пановой», наполненные, как правило, деталями, которые делали этих грандов ближе и знакомее, внимал ее размышлениям о прочитанных книгах или статьях.

В одном из таких разговоров Сарра Яковлевна вдруг сказала, что ей понравился мой доклад на факультетской конференции, посвященной юбилею М. Шолохова, в котором я попытался посмотреть на образ Гришки Мелехова в контексте европейской романной традиции. Поскольку это было мое первое публичное выступление как начинающего ученого, одобрительные слова Сарры Яковлевны были очень кстати. Именно тогда я с удивлением узнал, что начинала она как зарубежник и что в круг ее интересов когда-то входил Бернард Шоу. В тот момент она ничего не сказала о борьбе с космополитизмом, ставшей причиной их с Львом Ефимовичем появления в Перми; об этом я узнал много позже, уже в годы перестройки. Вообще в этих наших разговорах прошлое если и вспоминалось ей, то только в его радостных и светлых моментах. Так, тяжелейшее время эвакуации где-то в Казахстане вспомнилось ей счастьем возвращения пусть раненого, но живого Льва Ефимовича. При этом ни слова о тягестях жизни в то время. До сих пор в ушах звучит ее радостное: «Представляете, открываю дверь, а там Лев Ефимович. Живой!»

Любопытно было наблюдать за нею, когда в жюри наших смотров исторический факультет стал представлять Гера: любовь и гордость за сына были видны в ее глазах, хотя это не останавливало ее от полемики с ним, когда его «заносило» и когда он был особенно «антифилологичен». Надо отметить, что Сарра Яковлевна была огромным патриотом филфака и защищала его везде, где можно было, в том числе и спора с собственным сыном.

Однажды мне посчастливилось вместе с Саррой Яковлевной проводить областную конференцию для лекторов общества «Знание». Именно посчастливилось. Дело в том, что до той поры я слышал Сарру Яковлевну на паре факультетских научных конференций. Доклады ее были интересны и глубоки по степени проникновения в суть проблемы. Но то, что я услышал здесь,

превзошло все мои ожидания. То ли тема была ей особенно близка (поэзия войны), то ли еще что-то, но аудитория слушала ее, буквально затаив дыхание, хотя темп, с которым она говорила, был просто сумасшедший. Имена поэтов, их стихи, суждения критиков, собственный анализ – все было подобно незатухающему фейерверку! Особенно поражало чтение стихов – точное по отбору материала, по передаче идей, по подчеркиванию особенностей поэтического мышления именно этого поэта. После лекции один за другим слушатели подходили к столу президиума, чтобы выразить свое восхищение Сарре Яковлевне ее лекцией, а нам – благодарность за то, что мы пригласили ее на заседание. Она с неизменной улыбкой скромно отмалчивалась. Я и сам был заворожен. Когда я был студентом-романо-германцем, то пару раз тайком проникал на лекции Р.В. Коминой. Но там не в меньшей степени, чем легендарный уже тогда лектор, привлекала меня фигура Достоевского, творчество которого было изъято из курса литературы, когда я учился в школе. Здесь же звучали имена поэтов, творчество которых я более или менее знал (как-то мини-лекцию о своем любимом Гудзенко мне, например, прочитал в трамвае Соломон Юрьевич, когда мы возвращались с одного из смотров самодеятельности). Но параллели, сопоставления, погружение в образную силу слова у Сарры Яковлевны были настолько интересны и глубоки, а ощущение того, что на поверхности лишь одна восьмая «айсберга знаний» Фрадкиной, было настолько мощным, что восторги слушателей стали вполне понятны, как понятным было и собственное мое потрясение. К сожалению, это был последний раз, когда я слушал полную лекцию Сарры Яковлевны.

Вскоре после этого она стала чувствовать себя не так хорошо и из-за этого начала активно отказываться от участия в жюри студенческих смотров. Мы стали видаться лишь на совместных собраниях факультета, на Ученом совете филфака, на отчетных научных конференциях, и наше внеслужебное общение прервалось, о чем я очень жалею, потому что те немногие минуты близкого общения доставляли мне истинное наслаждение и немало обогатили меня.

После мы не раз обменивались написанными книгами, причем Сарра Яковлевна через некоторое время обязательно говорила мне, *что* ей особенно понравилось из написанного мною, а где надо было бы «поднажать» на анализ художественной стороны произведений, мною осмысляемых. До сих пор помню ее похвалу в адрес главы о Кипплинге в одной из моих книжек и одновременно ее сожаление о том, что я так мало написал о его поэзии. В те редкие встречи в коридорах пятого корпуса, когда нам удавалось перекинуться парой слов, становилось все более очевидным ее физическое, но отнюдь не интеллектуальное угасание: ум ее по-прежнему был ясен, зорок, стремителен. Ее уход, как и все филологи университета, я воспринял как окончание определенной и очень важной эпохи – эпохи становления пермской школы исследований литературного процесса, истинного, не замутненного какой-либо конъюнктурой служения филологии и литературе...

Нина Горланова

ВЫСОКОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Первые страницы романа о Наташе мы принесли на Новый год к Лине. Глава называлась «Сказание», а сказки и Новый год как будто рифмуются. Когда пришло время чтения, Виниченко повернул к нам стоящую на бюро фотографию Булгакова в рамке:

– Мы с Михаилом Афанасьевичем слушаем!

От страха я обратилась к высшим силам: «Пособите!» (это слово бабушки мне нравилось. Пособи – *собой* помощи, то есть). И стала читать. А Лев Ефимович потом сказал: он бы карандашом мог подчеркнуть несколько мест.

– Неудачных? – спросила я.

– Наоборот – очень удачных, – сказала Сарра Яковлевна.

И это было словно благословенье на продолжение работы. Спасибо, милые Кертманы, за ваш волшебный дом – он был для нас в Перми сразу и Английским клубом и Президентским

клубом, где мы – мальчик и девочка, приехавшие из провинции, – впитали атмосферу *высокого* веселья, которая окрыляла.

Помню: мы впервые на дне рождения Лины, Нина Евгеньевна Васильева начала свой тост словами:

– Тут все говорили очень сложно, а я как человек простой читаю сейчас экзистенциалистов...

– Эх, экзистент твою! – решил подыграть мой муж (я толкнула его ногой под столом: мол, здесь со своими шуточками не лезь, – но Лина расхохоталась, и Слава победно посмотрел на меня: ему разрешили).

Я всегда удивляюсь: как жизнь не устает создавать таких людей, как Лина, один взгляд которых помогает поверить в силу этой жизни!..

Когда я начала свой тост фразой: «Ну, известно, в чем смысл жизни...», – Лев Ефимович серьезно кивнул:

– Да, известно, на каждом доме висят плакаты: «Смысл жизни – направо».

Тут уже Слава толкнул меня ногой под столом: мол, не мели ерунду! Но я просто хотела вырулить на именинницу – у нее сильнее всего проявляется способность к творческим озарениям.

Недавно за обедом Даша спросила: откуда берутся такие, как Пьер Безухов?

– Всегда они есть: Лина Кертман, – ответил Слава.

Владимир Виниченко

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЛИСЬ СЕРДЦА

Нет ничего грустнее покинутого дома, когда опустели любовно обжитые стены и только немногие оставленные вещи напоминают о прошедшей здесь большой и богатой событиями жизни. С таким грустным чувством я ходил весной 2002 года по покинутому дому Сарры Яковлевны Фрадкиной и Льва Ефимовича Кертмана. Дому, где мне приходилось бывать более тридцати лет и в праздничные, и в трагические для него дни.

Этот дом еще займет достойное его место не только в воспоминаниях бывавших в нем самых разных и, как правило, незаурядных людей. Но самыми яркими среди них все-таки были хозяева. Книга воспоминаний о Льве Ефимовиче уже создана. Теперь, увы, пришла очередь Сарры Яковлевны.

Я знал ее не как преподавателя. Я никогда не сдавал ей экзаменов и зачетов. И даже лекций ее никогда не слышал, поскольку, учась на заочном отделении, невольно отсек для себя знакомство с ней в качестве студента. Но зато очень много почерпнул от Сарры Яковлевны как от человека, причастного к живому литературному процессу.

Подружившись в середине 60-х годов с ее дочерью Линой, я оказался вхож в Дом Кертманов. Причем и в те годы, когда Дом еще стойко держался среди тонущей книжной цивилизации, и в те годы, когда после смерти Льва Ефимовича он почти незаметно, храня благородное достоинство, погрязал в пучину небытия.

И все же один раз я получил от профессора Фрадкиной серьезный урок, когда она выступила оппонентом на моей защите диплома. Свой дипломный отпуск я использовал как творческий, написав первую пьесу. К тому же у нас с женой (Татьяной Тихоновец) тогда был маленький сын, отнимавший много времени.

Диплом по историческому роману я написал буквально за две недели и в спешке забыл проставить точные библиографические данные использованных цитат. Решил, что проверять страницы никто дотошно не будет, и написал их наугад.

Каково же было мое удивление и стыд, когда Сарра Яковлевна уличила меня в этих «неточностях»:

– Они могут ввести в заблуждение других, кто решит воспользоваться вашим исследованием. Помните об этом всегда.

Такой возможности я, честно признаться, совсем не предполагал. Но Сарра Яковлевна убедила меня в значительности проделанной работы, несмотря на некоторые «несовпадения» наших оценок и взглядов на жанр бурно развившегося в 70-е годы исторического романа.

Для нее непререкаемым авторитетом в этом жанре был Юрий Трифонов, использовавший исторический материал для выражения своих взглядов на современную действительность. Я же противопоставлял ему новый объективистский подход Юрия Давыдова, ныне признанного классика исторического романа, которого тогда открыл для себя и полюбил на всю жизнь как писателя и человека.

Впрочем, Сарра Яковлевна ничуть не уступала молодым неофитам в страстной любви к своим избранникам в литературе. Она всегда держалась как «железная леди» советской литературы. И в наших литературных спорах «своих» героев и любимцев не сдавала.

Помню наш спор о ее любимом Константине Симонове, чью книгу «Глазами человека моего поколения» я только что прочитал и был несказанно разочарован. Любимый с юности поэт и прозаик так и не решился рассказать в ней о многом, что мог бы поведать как свидетель и участник важнейших моментов советской истории. Да и оценки тех событий, о которых он решился поведать, были более чем сдержанны и выверены. А ведь книга была опубликована после его смерти и писалась с таким дальним прицелом.

Но Сарра Яковлевна снисходительно слушала мои упреки и со свойственной ей мудрой мягкостью убеждала:

– Человека надо судить по законам его времени, а не с позиций уже неведомого ему последующего хода истории.

Иногда чуть глуховатым голосом, как будто видя что-то перед собой, читала не самые известные стихи советских поэтов. И это было очень благородно и трогало душу.

Но в Доме она была настоящей хозяйкой, всегда следила за тем, как накрыт стол, и зорким глазом контролировала ситуацию.

Мы с женой любили ворваться к ним за пять минут до Нового года, а иногда и почти под бой курантов, и нашуметь, накричать, непременно пальнуть пробкой от шампанского в высокий потолок, который снисходительно принимал в себя и прямо проглатывал эти пробки.

Сарра Яковлевна всю эту суету любила (смею думать, что не просто терпела) и всегда находилась «среди молодежи» до конца праздника.

Как-то раз, еще при жизни Льва Ефимовича, мы обнаружили, что хозяева просидели с нами до восьми утра.

Она всегда была респектабельна, всегда была «вещью в себе», всегда умела направить разговор в нужное русло и тихонько извиниться за кого-то, если считала, что разговор приобретал ненужную горячность. Нам всегда было удивительно, как не похожа была на нее наша любимая Лина – вольная, наивная, искренняя и напроочь лишенная материнской светскости.

Как жадно держалась Сарра Яковлевна за жизнь, за домашний ритуал, который был ей необходим как последний стержень. Помню, как-то мы с женой по просьбе Лины встречали Сарру Яковлевну на вокзале с машиной. Она приехала из Москвы, где гостила у сына. Привезли ее домой, и Таня под ее строгим взглядом накрывала на стол. Это был уже не прежний профессорский стол, поражавший когда-то изобилием. Времена были голодноватые.

Таня рылась в посудной горке и поняла, что скатерть стелить не стоит.

– Танечка, а скатерть? – своим ровным, не терпящим возражения голосом спросила Сарра Яковлевна.

– Сарра Яковлевна, давайте обойдемся без скатерти, она не очень свежая, я сейчас что-нибудь найду, – начала выкручиваться жена.

И вдруг каким-то трагическим голосом Сарра Яковлевна сказала:

– Да, это уж совсем плохо, когда на стол нечего постелить.

Заметьте, ее не кушанья волновали (ее вообще еда уже не интересовала), а скатерть. В этом было что-то вызывающее уважение. Она не допускала разрухи в головах и верила, что во все времена все зависит от людей и их взаимоотношений.

В одно из последних в Доме застолий она тихо попросила нас с Таней не бросать Лину, как бы ни складывались жизненные обстоятельства. Она понимала, что Лина не так

твердо стоит на земле, как стояли ее родители, закаленные суровыми бурями советской истории.

Она ошибалась насчет беспомощности своей дочери, которой тоже пришлось вынести немало трагических испытаний. И она прошла их достойно, поскольку была дочерью своей матери, профессора, русского интеллигента и хозяйки большого Дома, где согревались и развивались многие юные сердца.

Сегодня у нас на даче хранятся старые кертмановские (или фрадкинские?) подшивки «Нового мира». Летом я часто сижу за их старым добротным столом, некогда прикочевавшим в Пермь из Киева и долгие годы простоявшим на кухне, а ныне оставленном нам «на память». Перелистывая пыльные журнальные страницы, я вспоминаю наши застольные разговоры о старых публикациях и благодарю судьбу за то, что в нашей жизни были такие люди, оставившие сильный, не затертый временем след.

Софья Ляпустина (Гросланд)

ДУХОВНАЯ ЭСТАФЕТА

По мысли главного героя романа Д. Гранина «Зубр» генетика Тимофеева-Ресовского, прогресс общества связан с одним важнейшим условием: возможностью и умением одного поколения передать другому поколению все лучшее, что оно успело накопить. Мне очень близко это размышление. Много ли мы, студенты-филологи, успели воспринять ценного в профессиональном и нравственном отношении от наших замечательных педагогов?

Сарра Яковлевна Фрадкина преподавала у нас советскую литературу. Об ее аналитизме, полете ассоциаций, философских обобщениях можно долго вспоминать. А как она читала о поэтах! Всегда и все наизусть! Мне до сих пор стыдно, когда на своих лекциях, я, вспоминая что-нибудь особенно дорогое, заглядываю в текст.

Бесконечно благодарна Сарре Яковлевне за то, что убедила меня писать диплом по немодной у студентов теме «Литературные мемуары». Размышляя о теории жанра, я перечитывала сотни страниц М. Горького, И. Эренбурга, К. Чуковского, К. Паустовского и многих других замечательных писателей о выдающихся людях их времени. Это был урок ценностных ориентаций. Может быть, поэтому мне потом всю жизнь и везло на роскошь человеческого общения.

Сарра Яковлевна помогла мне составить подробный план дипломной работы и предложила приносить отдельные главы для ее анализа и замечаний не на кафедру, а домой, в тот знаменитый в городе большой серый дом научных работников, что на Комсомольском проспекте. Каждый раз договаривались о времени. Однажды, подходя к известному дому, я встретила школьного товарища, которого не видела почти пять лет, мы заболтались...

После робкого звонка дверь открыли не сразу, а на мои сбивчивые извинения Сарра Яковлевна ответила, что, к сожалению, она уже в домашней одежде и принять меня не может. Домашняя одежда представляла собой элегантный легкий брючный костюм (тогда женщины в официальной обстановке, действительно, брюки еще не носили, это считалось «тлетворным влиянием Запада»). Другая бы сказала элементарно просто и наставительно: «Вы опоздали, мне теперь некогда, если вы не цените своего времени, умейте дорожить чужим». Или что-нибудь в этом роде. Но Сарра Яковлевна на то и Сарра Яковлевна, что так банально изъясняться она не могла и не хотела. Не до упреков же ей опускаться, упрек – всегда немного грубость. Недаром сказано: «Человек – это стиль». Да и, наверное, наступило время кабинетного научного уединения, которым, думается, она всегда дорожила. По прошествии же некоторого времени я высоко оценила эту свойственную Сарре Яковлевне в иных случаях завуалированность мысли – догадайся, дескать, сам, не настраивайся на прямолинейность общения, читай недоговоренности, подтексты и в жизни, а не только в художественной литературе.

Однажды Сарра Яковлевна спросила меня об одной бывшей студентке-старшекурснице, которая года три назад закончила

университет (диплом она писала тоже у Фрадкиной), не знаю ли я что-либо о ней, как живет, чем дышит. С этой девушкой мы одно время были в добрых, сердечных отношениях. Я ответила, что потеряла ее из виду. «Но ведь и она меня не находит», – будто оправдываясь, добавила я. И тут же увидела в глазах Сарры Яковлевны некоторое недоумение и упрек. «Вы в ажиотаже шумной студенческой жизни, в окружении многих приятелей и друзей, а она – одна в новой обстановке, может быть, в нетворческой среде. *Первый приходит тот, кому лучше*». Эту последнюю фразу я запомнила на всю жизнь. Не скажу, что всегда ей удавалось следовать, но иногда благодаря ей получалось быть чуточку великодушной самой себя.

Светлана Караваева

Я ЗАПОМНИЛА ЕЕ КРАСИВОЙ

Красивее человека не встречала. Нет, конечно, вокруг много людей замечательных, интересных и прекрасных во всех отношениях, но Сарра Яковлевна такая одна.

Для тех, кто учился на филологическом в 70-е годы, имена-легенды становились известными еще на вступительных экзаменах. О Фрадкиной мы слышали задолго до того, как она появилась в нашей аудитории, и с нетерпением ждали, когда, наконец, дозреет до старших курсов. А пока, встречаясь в деканате, в коридорах пятого корпуса, отмечали про себя статную элегантную женщину с безупречной прической и свежим маникюром.

Лекции Сарры Яковлевны заставляли забыть о времени, всегда казались короткими. Мне, как человеку эмоциональному, казалось, что я просто проживаю все то, о чем слышу. Это не было пустым краснобайством. Концептуальность, теоретическая насыщенность, логика мысли – но и логика чувства. Фрадкина всегда позволяла не только ощутить специфику предмета, его гуманитарную сущность. Ее талант интерпретатора увлекал, настоятельно требовал тут же бежать в библиотеку и немедленно прочесть или перечесть то, о чем только что слышал. При этом

она как будто была уверена, что разговаривает с нами на равных, что мы всё читали и сию минуту можем полноценно участвовать в разговоре о пьесах Горького, военной лирике или прозе Леонова. Сейчас я понимаю, как важна была для нас эта планка, как быстро она заставляла расти.

Удачно совпало, что мои театральные и литературные интересы сходились в заданной точке – в спецсеминаре Сарры Яковлевны. До сих пор храню тетрадку с записями, черновики курсовой и дипломной работ с пометками Фрадкиной. По юной самонадеянности казалось, что все «открытия», за которые хвалили, принадлежат тебе, а смотришь на замечания, знаки вопросов, волнистые линии под неудачно сформулированными фразами – и перед тобой встает труд педагога, внимательного, чуткого и очень деликатного. Дипломная моя называлась «Характер конфликта и тип сюжета в драматургии о Великой Отечественной войне», а подбор авторов для анализа был совершенно замечательный: А. Корнейчук, К. Симонов и Е. Шварц. Подумать только! Задолго до того, как Марк Захаров сделал всеобщим достоянием современную подоплеку философской сказки о драконе, Сарра Яковлевна включает в «бесспорный» ряд драматургов «сомнительного» Шварца и руководит работой так, что никому и в голову не приходит, что автор «сомнительный».

По учебному плану на 5-ом курсе мы ездили в Москву на преддипломную практику в библиотеки, архивы, музеи. И в театры, конечно же. Почему-то эта поездка связана тоже именно с Фрадкиной и с ощущением взрослой свободы, творчества, первого прикосновения к большому миру исследовательской работы. Еще в Перми Сарра Яковлевна порекомендовала, куда именно стоит идти работать над темой и к кому можно обратиться, если будут затруднения. «Даруй мне тишь твоих библиотек»... Бесценный подарок – Театральная библиотека, ИМЛИ, Ленинская – с особым запахом старых книг, каталогами, полными сокровищ, легендарными библиотекарями «из ранних времен».

Я часто думаю о том, что со временем, к сожалению, уходит из обихода не только отжившее, но и то, что терять бы не стоило. Тепло, деликатность, интерес к людям, ответственность за тех,

кто рядом, «подробность жизни». Много ли сегодня найдется научных руководителей, которые помогли бы даже машинистку найти для перепечатки работы? А таких, кто терпеливо готовил бы лаборантов кафедры к преподавательской работе, искал им место в аспирантуре, договаривался и даже (представить страшно!) после того, как будущий аспирант волею обстоятельств «сбежал» из одного университета, определил его в другой? Это стиль нашей кафедры, кафедры русской и советской литературы, кафедры Риммы Васильевны и Сарры Яковлевны. И об этом нужно рассказывать особо.

...У меня есть глубоко личное, довольно болезненное воспоминание, но за давностью, думаю, можно его обнародовать, тем более что оно тоже касается Сарры Яковлевны. В начале осени нас, филологов 4-го и 3-го курсов и группу студентов-историков, отправили в колхоз, но не как обычно, «на картошку», а в стройотряд, на строительство свинокомплекса под Краснокамском. Все быстро перезнакомились, подобралась славная компания, мы стали встречаться и после того, как вернулись в город. С одним из юношей мне было как-то особенно легко, казалось, мы понимаем друг друга с полуслова. Мы могли перебрасываться стихами, моментально подхватывая начатую строку, говорили о музыке, театре, допоздна гуляли. Я влюбилась безоглядно. «Ловко же ты устроилась, быстро сообразила – закрутила роман, выйдешь замуж за сына Фрадкиной, вот и по распределению ехать не нужно!» – во всеуслышанье сказала как-то на перемене моя однокурсница. А я и не знала, чей это сын, фамилии-то разные. Гадко стало на душе. А вдруг и другие так подумают?.. Без объяснений перестали встречаться. Наверное, очень обидела человека или, как минимум, вызвала недоумение. Знала ли Сарра Яковлевна об этом? Да. И ни намеком не дала этого понять, не вмешалась и уж тем более никогда не мстила...

Помню маленькие, в четверть листа, записочки, на которых Сарра Яковлевна писала бесконечные списки дел – и домашних, и кафедральных. И все эти дела неизменно исполнялись. Помню, как мы с Леной Солодниковой дружно удивлялись, что Фрадкина – ровесница Октябрьской революции. Это было

невероятно! Только руки тогда могли выдать этот секрет, привычные к работе руки с идеальными ногтями.

И в самую последнюю, горькую встречу, я запомнила ее красивой. Ее дети сделали все, чтобы вся Пермь запомнила ее такой: в нежно-сиреновой шали, с задумчивым, почти молодым лицом. Светило нежаркое солнце, и трудно было поверить, что жизнь потечет по-старому.

Анна Арустамова

ОПЫТ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

Был будничный февральский день. Начало семестра. Лекция по русской литературе второй половины XX века. Мы, пятикурсники, ждем преподавателя... Не спеша открывается дверь, и в аудиторию не торопясь входит, как сегодня говорят, дама элегантного возраста. Именно дама и именно элегантная. Это была Сарра Яковлевна.

При ее появлении в аудитории возникало ощущение, будто она пришла на праздник, какое-то торжественное мероприятие: безупречный наряд, безупречный маникюр, уложенная прическа. Ни малейшей небрежности, каждая деталь учтена, продумано украшение – неброское, но всегда точно дополняющее образ. И так всякий раз, каждую неделю, в течение целого семестра. Мы понимали, что в этом проявляется не только тонкий вкус Сарры Яковлевны, не только умение всегда ощущать себя женщиной, но и глубокое уважение к аудитории, к людям, которые пришли ее слушать.

А послушать было что. Для нас, поколения времен перестройки, пережившего распад Союза, утрату прежних ориентиров, но смотрящего вперед, в будущее, устремленного к какой-то новой жизни, кожей ощущавшего свободу, Сарра Яковлевна была живой легендой. Мы знали о ее нелегкой судьбе, созвучной той литературе, которую она преподавала. Свидетель и участник того, о чем мы только читали, свидетель и участник истории – этот «семантический ореол» всегда присутствовал в

нашем восприятии ее образа. Легендарное знакомство с Симоновым, участие в написании капитального труда отечественных литературоведов, знание множества штрихов, расцвечивавших сухие факты из жизни нашей страны в Великую Отечественную, в 50-е и 60-е годы, – все это делало историю живой, словно ворвавшейся в нашу университетскую жизнь первой половины 90-х.

Конечно, мы писали конспекты, укладывали в наши филологические головы тенденции, имена, коллизии, стилевые течения. Но все же... За собственно литературным процессом, о котором безусловно высокопрофессионально говорила Сарра Яковлевна, вставало нечто неизмеримо более важное. Сегодня, может быть, уже не вспомнить всех представителей производственного романа, о котором мы должны были знать как историки литературы. Не вспомнить, может быть, во всей полноте детали анализа «Живых и мертвых» Симонова. Да так ли уж это и важно? Но и сегодня, спустя более чем десять лет, я прекрасно помню разговор о нравственных проблемах, которые были затронуты в беседе Сарры Яковлевны с писателем и которые были для нее – и для нас – очень важны.

В очередные смутные времена Сарра Яковлевна, как мне кажется, ориентировала нас на систему ценностей вечных, характерных для русской литературы вне зависимости от конъюнктуры, эпохи, свирепства цензуры или отсутствия оной. Именно это и осталось как собственно «фрадкинское» в осмыслении непростой эпохи второй половины XX века. И говорилось о самом важном без спешки, очень интеллигентно, негромко, ведь настоящее служение культуре не терпит суеты, как и служение музам. Я не случайно пишу «культуре», потому что проанализировать сюжет к 5-ому курсу мы худо-бедно научаемся, а вот почувствовать Время и не сфальшивить... Это дано не каждому. Сарре Яковлевне было дано.

Позволю себе рассказать об одном из экзистенциальных опытов, который был мною получен именно благодаря историко-литературному курсу Сарры Яковлевны. В программу курса органично входит изучение литературы о войне. Сарра Яковлевна не скупилась на включение в список произведений Симонова, прозы лейтенантов, «возвращенной» прозы, например

«Жизни и судьбы» Василия Гроссмана, произведений, написанных с 40-х и вплоть до 80-х. Этот список был внушительным. И осваивать его я начала, как всегда, относясь к нему как к обычной учебной задаче. Но чем больше я погружалась в эту литературу, тем глубже понимала, что это не просто чтение, а постижение великого народного подвига в Великую Отечественную. Погрузившись в мир прозы о войне, проникнувшись им, перечитав массу книг, увидев судьбы людей, *как* это было на самом деле, я прочувствовала, чего стоило выстоять, выжить, победить, какой ценой досталась победа и какие люди – обычные, простые, те, кто ходят рядом по улице – смогли выдюжить в ту годину. Этот опыт переживания, точнее, *проживания* ушедшего через книги был действительно сродни солнечному удару. И он многое изменил в моем отношении к тем событиям и тому поколению, как изменил и мое поведение в реальной жизни. Этот опыт уникален, и без Сарры Яковлевны он не состоялся бы...

...На экзамене у Сарры Яковлевны я попыталась передать – сбивчиво, сумбурно, невнятно – это ощущение, стараясь выразиться как можно яснее, но еще больше запутываясь в словах. И помню понимающую улыбку в ее глазах – с налетом грусти, в котором выражался опыт большой жизни. Именно так: опыт большой жизни.

Я за многое благодарна родному университету: за то, что выпестовал нас, дал возможность послушать лучших, ярчайших лекторов и ученых, сформировал систему ценностей, истинных и вечных. И в этом ряду – благодарность Сарре Яковлевне за опыт проживания той эпохи, которую мы не видели и в которую (к счастью ли, к сожалению ли?) не жили.

ЧУВСТВО СТИЛЯ

Впервые я увидел Сарру Яковлевну Фрадкину на семинаре по советской литературе, который она вела. Меня поразила скорость речи и знания преподавателя – казалось, что человек просто не может владеть таким количеством информации. Казалось, что она почти не обращает внимания на слушателей, которые вольны были не вникать в ее интеллектуальную лекцию.

Конечно, я с удовольствием слушал рассказы Фрадкиной о Константине Симонове и других советских писателях, но мне были бесконечно скучны тезисы и понятия соцреализма. Я постоянно испытывал двойственное отношение к литературоведению вообще – из-за той трактовки, которой, благодаря этому предмету, подвергалась не только русская, но и мировая литература. Сегодня я понимаю, что Сарра Яковлевна шла, быть может, самым мягким, самым либеральным путем ортодоксальных теорий. Возможно, она была довольно продуманным человеком, со сталинским опытом, и умела скрывать от студентов свои реальные литературные пристрастия. Так мне кажется. И не только литературные. Возможно, она жила двойной жизнью, если не тройной.

Некоторые ее пристрастия меня удивляли. Например, Сарра Яковлевна настойчиво рекомендовала мне писать курсовую работу по творчеству Александра Яшина. А я так же настойчиво отказывался это делать, поскольку, почитав его стихотворные тексты, вообще ничего в них не обнаружил, кроме умения вовремя менять свое мировоззрение. Я настоял на своем – и стал писать курсовую о Николае Рубцове, который тогда только-только становился известным после своей смерти. Его стихи мне нравились – и сейчас нравятся, но уже меньше, поскольку и литературный контекст значительно расширился, и я стал несколько другим человеком. Я запомнил слова молодого поэта Арсения Бессонова, который в 2003 году назвал Рубцова «разведенным Есениным». Есть в этих словах суровая правда, но в 70-х годах творчество вологодского поэта было для меня актуальным.

На 4-ом курсе Сарра Яковлевна читала лекции по советской литературе. Честное слово, я старался слушать ее внимательно, но у меня не всегда получалось. Пафос моей жизни не совпадал с пафосом преподавателя. Подозреваю, что мы были уже из разных временных пластов. И сегодня я вижу, как меня не понимают молодые сограждане, с которыми приходится беседовать на разные литературные и житейские темы. Говорить о писателях – «около личностей» – было интересно, поскольку богемной жизнью мы, студенты, всегда живо интересовались. А вот околичностями в те времена, после Красноярских лагерей, где служил, и песен Высоцкого, которого любил, говорить уже не хотелось. Я вне университетской программы читал Солженицына и Галича, писал антивоенные стихи. Меня привлекало в ее речи не столько содержание, сколько скупой, точный, насыщенный, без ложного блеска стиль изложения.

Из четырех томов «Клима Самгина» я осилил только три, в чем и признался Сарре Яковлевне на экзамене. Она поставила мне «4» с условием, что во время летних каникул я последний том осилю. Я собрал всю свою волю – и сдержал легкомысленное слово.

На выпускной вечер нашего курса, в ярко освещенный ресторан, Сарра Яковлевна пришла в длинном приталенном платье, которое подчеркивало ее фигуру и статность. Это была стильная женщина. Я пригласил ее на вальс. Это был тот самый танец, которым я простился с факультетом.

Но не с Саррой Яковлевной. Однажды вечером мы с ней встретились у ворот областной психиатрической клиники – она выходила оттуда, а я входил. Мы навещали близких людей в сумрачные годы энтропии сознания. Сарра Яковлевна ответила на мое приветствие, но я не уверен, что она узнала меня. Главное, что я ее не забыл – и помню до сих пор как невероятно умную, образованную и элегантную женщину.

Быть может, именно память о таких редких людях, как Сарра Яковлевна, помогла мне пройти те жестокие, сумрачные годы жизни, когда от падения могло спасти только чувство стиля, привитое в юности.

САРА ПЛЯСАЛА, ИЛИ В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ТЕХ ВРЕМЕН

Боюсь, я не первый и не последний буду пользоваться этим зеркальцем двойного вида: «Сара» и «Римма». Тут почти как у Маяковского: «Мы говорим «Сара» – подразумеваем «Римма», мы говорим «Римма» – подразумеваем «Сара». Две античные колонны, на которых держался филфак. Две кариатиды – с атлантами на филфаке всегда была напряженка. С ними и теперь напряженка. Впрочем, мне кажется, с кариатидами – тоже.

Сейчас засомневался: как же писалось филологическое имя «Сара»? С одной «р»? Или – с двумя? Наверное, все-таки – с одной. Другая «р» была утрачена в процессе эволюции, пока Моисей водил евреев по пустыне.

Несмотря на это, у меня такое чувство, что в середине и конце 70-х годов прошлого века, на которые приходится время моей учебы, я – через Сару – по какому-то впадающему в Библию генетическому ручейку соприкоснулся с самим Моисеем.

Глянем в то самое зеркальце двойного вида, где отражались две античные колонны. Если мне не изменяет память, в «Горьковце» (точнее, в приложении к нему «Красная строка»), с благословения Риммы, должно было появиться мое стихотворение «Время черновиков», позднее вошедшее в изданную в Москве книгу «Пульс птицы». А может, мне предстояло читать «Время черновиков» со сцены в «Студвесну»? Сара же была тогда завкафедрой русской литературы и моим научным руководителем. Помню, что, зашедши на кафедру, я обмолвился про намечающуюся премьеру собственного творения. При этом щегольнул – подчеркнул, вкладывая в щегольское подчеркивание некий само собой разумеющийся, неотменимый смысл: дескать, Римма Васильевна это стихотворение уже слышала.

– Но я-то не слышала! – улыбнулась глазами Сара Яковлевна.

Немного внутренне поспотыкавшись, я прочел:

...Лес ведет себе очень несдержанно:
испещряя чернилами красными,
он читает листву пожелтевшую
и сердито ее отбрасывает!
Вырывает и вновь перечитывает,
потрясенный строкою слабою,
и раскрывши листочки чистые,
переписывает набело.
Что ты пишешь *такого*, природа?!
Если лист мне прочесть не даешь.
Ты как будто боишься чего-то,
преднамеренно все изорвешь.
Не о нас ли строчишь в укоризне
и к листве беспощадна как раз
за ущерб той возвышенной жизни,
о которой готовишь рассказ?..

Просто Сара была второй колонной, которая подпирала филфак. Или первой? Но точно не пятой. И ей, невзирая на авторитетное мнение Риммы, нужно было знать, что подпирает она, Сара.

А еще, я подозреваю, Сара была той «пишущей природой», о которой я говорил в стихотворении. Природой, как я сейчас понимаю, перенесшей «ущерб возвышенной жизни». Тогда я, разумеется, не знал ни об «опальности» Риммы, ни о «ссылности» Сары, молчаливо, без междометий, оценившей мои стихи улыбкою глаз.

Впрочем, сегодня Асланьян мне сказал, что междометия были. Якобы в конце рукописи моей дипломной работы «Идейно-стилевые поиски в современной лирике» стояли три восклицательных знака. Я-то вот не помню. Откуда ж помнит Асланьян?

– И что же сие означало? – прикидываюсь я не владеющим азбукой жестов.

– Высшую оценку, – расшифровывает он.

Сара была тем научным руководителем, которые «не мешают» студентам. Не то что не выпускают своих дипломников

из поля зрения, скорее – неназойливо и мягко «ведут». Вроде «Зрячего посоха» Астафьева. Я и тему выбрал и сформулировал сам – не было тогда таких тем в представленном арсенале дипломных сюжетов. Сара лишь неощутимым прикосновением поставила мне на место вывихнутый суставчик. Не «Идейно-стилистические поиски...», как значилось у меня первоначально, а «Идейно-стилевые...», что грамотнее и точнее.

Работа, основанная на анализе творчества Андрея Вознесенского и Юрия Кузнецова (скажите: кто знал стихи Кузнецова в середине 70-х?), по тем временам была крамольной. Думаю, это хорошо понимала Сара. Жившие в ту пору, попробуйте перенестись в нее на мгновение и представить, на какие выводы могли напротиться досужие умы, если студент и «тень его научного руководителя» утверждают, что нужно читать не произведения, а тени, от них исходящие?! «Но ответят ему с того берега: “С того берега муравей!”» Или:

Усыпил нас большой перегон,
Проводник и кондуктор исчезли.
Говорят, отцепили вагон
На каком-то безвестном разъезде.
Мы, не зная, из окон глядим.
Только поезд пройдет вдоль разъезда,
Нам покажется – мы не стоим,
А безмолвно срываемся с места...

Это – Юрий Кузнецов. А творческий принцип, который я сформулировал при незримом кивании Сары, называется *теневым метафоризмом*. Тогда, в «крепостные» 70 – 80-е годы, к этому принципу интуитивно и осознанно прибегали многие – от Кузнецова до Кима, от Айтматова до Вознесенского. В сентябре 2006-го, когда меня пригласили на «Астафьевские чтения» в Красноярск, ваш покорный слуга, размышляя о нынешней смычке (точнее, несмычке) читателя и писателя, говорил именно о теновом метафоризме. Значит, за мной опять стояла тень Сары.

Дипломная работа вырастала из курсовой. На обложке общей тетради, где загустевали тени моих наблюдений, я вывел

авторучкой: «Вступление в метафору». Искрометная Сара, прочитав, заметила:

– Помню, как один из студентов написал: «Вступление в “Мать”»...

Кстати, раз уж тут сама по себе возникла тень Горького: на госэкзамене мне попался вопрос по «Климу Самгину». Экзамен принимала Сара. Я токовал тетеревом. Ставя мне в зачетке «отл.», Сара сказала:

– И все-таки «Клима Самгина» вы прочтите!

Теперь я знаю, что у Горького был не только «Клим Самгин». В антологии «Шедевры русской литературы XX века», вышедшей под редакцией академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, я прочитал доселе неведомый и почти гениальный горьковский рассказ «Голубая жизнь». Там одна «чугунная ладонь нищего» чего стоит!..

Переживала ли Сара за своих студентов? Об этом красноречиво свидетельствует короткая, брошенная ею на защите моего диплома фраза.

Я защищал диплом дважды. В первый раз защиту отклонили «из-за Риммы». Вернее, из-за моего юношеского пижонского упрямства. Там, где значилось то самое «вступление в метафору», я попытался пошатнуть одну из колонн (в то время Римма Васильевна была деканом филфака) – накидывался на ее «Современную русскую литературу». Мне посоветовали вырвать «раздражительные» страницы. В конце концов я их вырвал. Колонна встала на место. На филфаке и без меня было кому посягать на колонны.

Кроме Риммы и Сары, факультет славился Раисой. Ко мне «неровно дышала» преподававшая нам научный коммунизм Раиса Федоровна Яшенькина. Она как-то по-особому дезинфицировала ацетоном голоса мою фамилию в списках студентов, не ходивших на ее лекции. Однажды я осмелел и заявил ей об этом. В ответ проскрежетало скрижальное:

– Просто я Вас считаю вольным художником, который никогда не перейдет на позиции марксизма-ленинизма!

Отчего же, Раиса Федоровна? Сегодня, например, я – коммунист. А Вы?

Так вот, Сара, видимо, внутренне опасалась, что защиту мою может «испортить» уже не Римма, а Раиса. Но как раз Раиса-то появилась в тот момент, когда обсуждение моей дипломной работы закруглялось. Мне передался некий охотничий трепет Раисы Федоровны – чувствовалось, что ей непременно хотелось «за что-то зацепиться», однако время работало на нас с Сарой.

– Успели... – шепнула мне Сара.

Я запомнил ее образца 1980-го – пляшущей на нашем выпускном в банкетном зале ресторана «Турист». Сара не была куратором нашего курса, но пришла в ресторан. Очевидно, ей очень хотелось сплясать. Чтоб ее запомнили – такой. Не скрюченной в три погибели, а пляшущей. Кто-то из однокурсниц восхищенно воскликнул:

– Представляешь: ей же уже 63 года!

Юные и наивные! Мой папа в шестьдесят лет зачал ребенка. Не меня, конечно. А Сара плясала, как будто давила виноград Времени. Есть чем теперь ее помянуть.

III. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ. АРХИВ

КРАТКАЯ СПРАВКА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.Я. ФРАДКИНОЙ (Подготовил Г.Л. Кертман)

Сарра Яковлевна Фрадкина родилась 26 декабря 1917 г. в Москве. Ее раннее детство прошло в Гомеле, где семья жила с 1918 г. по 1923 г. Затем – переезд в Киев. Училась в школе № 45 с 1925 г. по 1935 г.

В 1932 г., как раз тогда, когда С. Фрадкина закончила 7-ой класс, в нескольких школах Киева впервые стали формироваться 8-ые классы – по конкурсу отбирались наиболее способные выпускники 7-ых классов. Одной из таких базовых школ была 45-ая; пройдя по конкурсу, С. Фрадкина получила

«элитное» (понятно, что в те годы этот термин не употреблялся) среднее образование: достаточно сказать, что все выпускники класса, в котором она училась, поступили в вузы.

В 1935 г. С. Фрадкина поступила на филологический факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Еще будучи студенткой – в 1937 г. – начала преподавать в университете в качестве ассистента кафедры литературы, много выступала с публичными лекциями.

В 1937 г. вышла замуж за Л.Е. Кертмана, тогда – студента исторического факультета Киевского университета.

По окончании университета, в 1940-ом году, поступила в аспирантуру – там же, на филфаке КГУ.

В начале войны оказалась в эвакуации в Актюбинске. В 1941 – 42 гг. преподавала в Актюбинском Учительском институте, в 1942 г. переехала в Казань, где поначалу работала воспитательницей в детском саду, а с сентября 1942 г., с начала учебного года, в Казанском университете и одновременно – в пединституте (в должности старшего преподавателя).

Вернувшись в Киев в 1944 г., С.Я. Фрадкина закончила аспирантуру и с 1945 г. работала старшим преподавателем в Киевском университете. В 1948 г. была по конкурсу утверждена доцентом. В 1946 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Творчество А.П. Чехова и его влияние на английскую литературу».

В 1949 г., в рамках антисемитской кампании по «борьбе с космополитизмом», эта диссертация была объявлена «вредительской космополитической писаниной» (сначала – на партийном, комсомольском и профсоюзном активе КГУ 11 марта, затем – на собрании филологического факультета 12 апреля). В университетской газете появилась разгромная статья, воспроизводящая эти обвинения в адрес диссертации и аттестующая всю преподавательскую деятельность ее автора как вредительскую. Понимая всю опасность ситуации,¹ С. Фрадкина,

¹ Тому есть документальное подтверждение: «Специальное сообщение о реагировании в связи с роспуском еврейской секции ССПУ и арестами еврейских националистов» МГБ Украины – руководству

тем не менее, вступила в открытую полемику с обвинителями на собрании факультета, апеллируя к фактам и уличая «оппонентов» в фальсификациях. Вероятно, именно разгоревшийся скандал предотвратил немедленные «оргвыводы». С. Фрадкина доработала до конца учебного года, в июне 1949 г. на заседании кафедры получила нагрузку на следующий учебный год, но в июле ее должность была объявлена вакантной – с замещением по конкурсу. С. Фрадкина подала документы на конкурс (заведующий кафедрой, член-корреспондент АН СССР А.И. Белецкий однозначно поддержал ее, дав сугубо положительную характеристику ее работе), но в августе была извещена о том, что по конкурсу не прошла. В течение следующего года она добивалась предоставления работы по специальности в каком-либо вузе Киева, но в августе 1950 г. получила окончательный отказ.

С сентября 1950 г. С. Фрадкина начала работать на кафедре русской литературы Пермского (тогда – Молотовского) государственного университета в должности старшего преподавателя, в 1952 г. была утверждена в должности доцента.

С 1956 г. по 1976 г. была и.о. заведующей кафедрой, после чего была избрана на должность заведующей кафедрой по конкурсу. Работала в этой должности до 1982 г., затем – продолжала работать на кафедре в должности доцента, а с ноября 1987 г. – профессора.

В 1961 г. была опубликована первая монография С.Я. Фрадкиной «В мире героев Веры Пановой» (Пермь, 1961). Затем последовали книги «Творчество К. Симонова» (Москва, 1968) и «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны» (Пермь, 1975), главы о послевоенной

республики и МГБ СССР от 4 февраля 1949 г. под грифом «совершенно секретно», в котором, в частности, говорится, что «доцент Фрадкина в беседе по поводу ареста еврейских националистов советовала своим близким знакомым воздерживаться от каких-либо высказываний по этому вопросу. При этом она говорила: «Я и мой муж исходим сейчас из принципа, что надо молчать. Каждое неосторожное слово сейчас может принести сильнейший вред» (Государственный антисемитизм в СССР, 1938 – 1953 гг. Документы. М., 2005. С. 241).

литературе в 3-ем томе «Истории русской советской литературы» (Москва, 1968). В последние годы научные интересы С. Фрадкиной сосредоточились на проблематике воспроизводства и преломления традиций русской классики в советской литературе второй половины XX века. Последняя большая работа С. Фрадкиной – учебное пособие «Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940–1980-х гг. (по материалам прозы о Великой Отечественной войне)» (Пермь, 1984).

С. Фрадкина работала в Пермском университете почти полвека – до августа 1998 г. Скончалась 13 июня 2000 г.

Галина Ребель, Борис Кондаков

ЗАМЕТКИ О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С.Я. ФРАДКИНОЙ

В декабре 2007 года исполнилось 90 лет со Дня рождения профессора Сарры Яковлевны Фрадкиной. Полвека проработала Сарра Яковлевна на кафедре русской литературы Пермского государственного университета в качестве доцента, заведующего кафедрой, профессора. На протяжении многих лет она была редактором основного (в 1970 – 1980-е годы) научного издания кафедры русской литературы – межвузовского сборника «Проблемы типологии литературного процесса».

Сарра Яковлевна вела активную научную жизнь и была широко известна во многих университетах и институтах. Она постоянно участвовала в работе Головного совета по филологии – основного официального объединения филологов в советский период, выступала на многочисленных научных конференциях, рецензировала диссертации.

Сарра Яковлевна была прекрасным педагогом, великолепным лектором, публицистом; ее статьи в газетах, выступления по радио, посвященные как литературе, так и проблемам этики и педагогики, были прекрасным ориентиром для пермской интеллигенции. Тысячи ее учеников работают в

вузах и школах, средствах массовой информации города Перми и Пермского края.

Многие годы она читала один из наиболее сложных для филолога курсов – курс истории русской литературы XX века. Трудность этого курса всегда заключалась в том, что в нем – в отличие от курса истории русской литературы XIX века – не было сформировавшихся концепций историко-литературного процесса, устоявшихся оценок творчества писателей. В советский период все это осложнялось еще и тем, что регулярно изменялись идеологические оценки деятельности писателей... Сарра Яковлевна обладала особым талантом, характерным для того времени. Вроде бы внешне не противореча (несмотря на киевское «космополитическое» прошлое) извилистой прихотливой линии партийной идеологии в сфере литературы и искусства, она одновременно умела в подтексте донести до студентов – в противовес поверхностным идеологизированным интерпретациям – представление об истинных художественных ценностях. Ей было всегда присуще острое ощущение современности, умение найти живое (не конъюнктурное!) содержание художественного произведения.

Сарра Яковлевна была образцовым заведующим кафедрой. Годы, на которые пришлось ее заведование кафедрой русской литературы (1976 – 1981, т. е. апогей «брежневского застоя»), были весьма сложными. В предшествующий период кафедра и ее преподаватели неоднократно подвергались идеологической критике; затруднено было издание научных исследований. Сарре Яковлевне удавалось одновременно сохранять хорошие (рабочие) отношения с областным партийным начальством (кстати, она никогда не была в рядах коммунистической партии), с университетским и факультетским руководством и одновременно пользоваться глубоким уважением и любовью со стороны сотрудников кафедры и студентов факультета.

В период заведования ей удалось решить многие важные проблемы, стоявшие перед кафедрой: возобновить научные и учебные издания, сохранить опытных преподавателей и одновременно ввести в состав кафедры молодых сотрудников, стимулировать работу над новыми кандидатскими и докторскими диссертациями, добиться получения дефицитных

тогда мест в аспирантуре и докторантуре... Она умела доверять своим сотрудникам и в то же время достаточно строго спрашивать с них. Протоколы заседаний кафедры, учебные поручения преподавателей, разнообразные планы и отчеты, списки литературы, программы и иные документы, – словом, все то, что у филологов обычно оказывается недоделанным, незавершенным, – в период ее руководства всегда оказывались в идеальном порядке. Она быстро просматривала подготовленные сотрудниками кафедры документы, моментально находила в них уязвимые места и вносила небольшие поправки, придававшие бумагам совершенно иной облик...

Признаюсь, не без внутренней тревоги и опасений взялся я перелистать страницы научного наследия С.Я. Фрадкиной. Время – строгий судия, порой оно выносит безжалостные оценки всему тому, что было рождено конъюнктурой и привязано к периоду, «пропитанному» ушедшей в прошлое идеологией.

Однако, перечитывая сегодня ее труды, понимаешь: есть чему учиться у нее и сегодня – трудоспособности, умению добросовестно погружаться в материал и ответственно относиться к нему, но главное – литературоведческой и методологической основательности, способности логично и убедительно излагать свою точку зрения. Работы Сарры Яковлевны выполнены с опорой на обширный, по возможности максимально полный художественный и литературно-критический материал, выстроенный, как правило, в соответствии с принципом, который можно назвать «эстетико-хронологическим». Идя вслед за событиями литературной жизни страны, от проблемы к проблеме, от этапа к этапу личной и творческой биографии писателя, Сарра Яковлевна делала предметом своего анализа самые яркие, художественно значимые явления, по возможности избегая лакировочно-комплиментарных оценок и – при необходимости – указывая на эстетические изъяны исследуемых произведений.

На протяжении всей своей профессиональной жизни Сарра Яковлевна находилась в замечательной творческой форме. Она вступала в активное взаимодействие с писателями-современниками (каковыми были основные герои ее книг – Вера

Панова и Константин Симонов), литературоведами и критиками, стремясь найти ответы на художественные запросы эпохи, – и этот поиск давал конкретные, материализованные в научных сочинениях результаты.

В течение 1960 – 1970-х годов Саррой Яковлевной была опубликована целая серия книг:

1961 год – монография «В мире героев Веры Пановой»;

1968 год – монография «Творчество Константина Симонова»;

1968 год – большая обзорная глава в третьем томе академического издания «История русской советской литературы» (Москва: изд-во «Наука») под названием «Литература послевоенного периода (1946 – 1953)», написанная в соавторстве с Т.К. Трифионовой;

1975 год – учебное пособие «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: метод и герой»;

1984 год – учебное пособие «Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940 – 1980-х годов (по материалам прозы о Великой Отечественной войне)».

И это только объемные, так сказать, фундаментальные труды, а сколько, помимо них, было написано статей, рецензий, тезисов, сделано докладов и сообщений!

Основная научная проблематика, интересовавшая Сарру Яковлевну, – русская литература периода Великой Отечественной войны и последующих периодов, посвященная войне. Она изучила эту тему в различных ракурсах: сделала обзорные срезы, осмыслила ее проблемно-эстетически (взаимодействие метода и героя) и «генетически» – раскрыла традиции русской классики в литературе о войне, создала яркие творческие портреты отдельных представителей литературы периода.

Этой теме была посвящена ее книга «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: метод и герой», содержащая основные идеи так и не защищенной докторской диссертации. С одной стороны, эта тема была абсолютно «проходной», полностью «советской»; с другой – в

ней содержалась глубокая жизненная правда, не подверженная внешним влияниям, вызывавшая глубокий искренний интерес у читателей – независимо от их идейных предпочтений.

Вопрос, почему Сарра Яковлевна не стала защищать практически уже полностью написанную ею докторскую диссертацию, – сложный. Одна из причин этого – то, что долгое время чуть ли не единственный докторский совет по русской (советской) литературе, который был открыт в МГУ, возглавлял А.И. Метченко, автор книги «Кровное, завоеванное», считавшейся «официальным» изложением «теории социалистического реализма». Он всегда твердо стоял на защите позиций «передового метода», а также, по слухам, зорко следил и за национальной принадлежностью будущих докторов филологических наук.

Однако формальное отсутствие у Сарры Яковлевны докторской степени в общем-то не умаляло ее авторитета: в сознании коллег и студентов она была настоящим Учителем и обладала тем авторитетом, который обеспечивается не формальными степенями, должностями и званиями, а любовью и уважением окружающих, понимавших ценность настоящих научных исследований, значимость ее статей и книг, ценивших ее умение давать точные объективные характеристики литературному процессу...

...Совершенно справедливо аттестуя В. Панову как «писательницу лирико-психологического склада»¹, которой интересна история и личность рядового человека в контексте судьбы страны, Сарра Яковлевна приводит немало примеров того, как деликатно, мягко и ненавязчиво раскрываются герои ее произведений, передается их психологическое состояние. В то же время исследовательница показывает, как любой «пережим» – неожиданная в палитре художника резкая сатирическая окраска или излишне прямолинейный комментарий – оказывается чужеродным в этой художественной системе. Очень точными представляются и мысли о недооценке писательницей

¹ Фрадкина С.Я. В мире героев Веры Пановой. Пермь, 1961. С. 170.

роли конфликта как «силы, которая проявляет характеры, организует композицию и цементирует сюжет», – особенно в ситуациях, когда отсутствует прямое выражение авторской точки зрения.¹ Отмечая близость писательской манеры Пановой поэтике Чехова², Сарра Яковлевна выявляет особую «художественную меру», с учетом которой следует подходить к сочинениям писательницы.

Творчество писателя всегда рассматривалось С.Я. Фрадкиной в движении, во взаимодействии с *историческим временем*, но одновременно оно осмыслялось и с *короткой дистанции*. Если воспользоваться подсказанной самим материалом формулой, то Панова и Фрадкина – *спутники*, точнее – *спутницы*, современницы, что позволяет говорить – в определенном смысле – не только о «слиянии» в творчестве Пановой «автора с персонажами», но и о слиянии исследователя с героиней ее исследования. Такой подход позволяет лучше проникнуть в «художественную мастерскую» писателя, ощутить причастность ученого к жизненным и творческим поискам автора и его героев.

Таким же ощущением дыхания «на одной волне»³ проникнута и книга С.Я. Фрадкиной о творчестве К. Симонова. Небольшая по объему, она, тем не менее, включает анализ и поэтических, и эпических, и драматических произведений, то есть дает достаточно полный обзор творчества. Исследователь воздерживается от подведения окончательных итогов, ибо, как сказано в конце монографии, «полюбившиеся читателям и зрителям Серпилин, Синцов, Таня продолжают свой путь по дорогам войны». Так автору творческого портрета К. Симонова удастся создать у своего читателя ощущение причастности к писательскому поиску.

Профессор С.Я. Фрадкина прежде всего была *историком литературы* – увлеченным, знающим и честным пропагандистом лучшего, что создавалось художниками

¹ Там же. С. 113.

² Там же. С. 162.

³ Фрадкина С.Я. Творчество К. Симонова. М., 1968. С. 80.

советской эпохи. Поэтому обратимся к написанной ею (в соавторстве с Т.К. Трифионовой) главе «Истории русской советской литературы», посвященной произведениям послевоенной поры. В обзоре огромного числа имен писателей и их произведений современный читатель с удовлетворением обнаружит рассказ о действительно значимых, талантливых произведениях той сложной эпохи, в которых запечатлен ее суровый, героический и трагический образ. Это рассказ о жестокой правде войны, воссозданный в повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», романтические образы воинов-разведчиков в «Звезде» Эм. Казакевича, эпическая картина защиты Сталинграда в романе В. Гроссмана «За правое дело»... Эти и иные равновеликие им художественные явления совершенно справедливо вычленены из общего ряда внимательным и точным анализом, эмоциональным и «теплым» описанием...

Одна из любимых поэтесс С.Я. Фрадкиной – О. Берггольц. О жизни и творчестве талантливой поэтессы, в полной мере разделившей нелегкую участь страны и народа, о трагических мотивах (сочетавшихся с официальным оптимистическим пафосом) ее поэзии периода Великой Отечественной войны Сарра Яковлевна много и любовно рассказывала студентам на своих лекциях. И в ее устах были органичны строки Ольги Берггольц, передающие ощущения людей середины XX века:

Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих строках глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю как плоть твоя, народ,
по праву разделенного страданья...

Лирико-публицистическая составляющая, очень явственная в созданных С.Я. Фрадкиной портретах писателей-современников, в полном соответствии с законами жанра приглушена или совсем сведена на нет в работах академического плана. Наиболее показательна в этом отношении лично

нейтральная книга «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: метод и герой» (1974) и другое аналогичное издание – «Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940 – 1980-х годов (по материалам прозы о Великой Отечественной войне)» (1984).

Сегодня работы Сарры Яковлевны могут показаться излишне загроможденными многочисленными идейно выверенными подпорками-цитатами и выражениями лояльности социалистической действительности через апологетику метода «социалистического реализма». Однако без этих атрибутов в 1960 – 1980-е годы ни одна книга (тем более посвященная «советской литературе») просто не могла быть опубликована. Важно другое: за обязательным набором соответствующих высказываний в настоящих исследованиях должны находиться собственные мысли автора. И они есть.

С.Я. Фрадкина ставит и весьма интересно решает проблему *предмета искусства* как основополагающую для определения сущности *художественного метода*. Теоретические проблемы литературоведения находятся в состоянии перманентного осмысления-переосмысления, в котором практически невозможно поставить точку. В этой ситуации тем более продуктивной и важной представляется каждая новая попытка «заземлить», конкретизировать эстетическое явление. Именно такую задачу в данном случае решает Сарра Яковлевна, предлагая включить в определение метода понятие «предмета искусства», которое она, отделяя от смежных понятий «объект искусства» и «проблематика произведений», рассматривает «как категорию эстетическую»¹.

По необходимости опуская убедительную и последовательную цепь рассуждений, подводящих к этому понятию, приведем его итоговую характеристику, предложенную в книге С.Я. Фрадкиной: предмет искусства – «это те явления действительности, те отношения и связи ее элементов, которые под определенным углом зрения образно восприняты художником и положены в основу создания им

¹ Фрадкина С.Я. Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: метод и герой. Пермь, 1974. С. 34.

новой, художественной действительности. В этом своем нерасчленном качестве предмет, по нашему мнению, действительно является главным методообразующим фактором. Предмет искусства – категория объективно-субъективная, и в этом – диалектика данного понятия. Явления действительности, воспринятые художником, существуют объективно, и образ не возник бы, если бы их не существовало. Но «выбор» предмета, возникновение образа относится, конечно, к сфере субъективного. <...> Предмет у каждого подлинного художника неповторим во всей своей конкретности. В творческих поисках художника, в пробуждении его интереса к определенным явлениям действительности, в формировании «угла зрения», в постановке вопроса, на который он ищет ответ, рождается его собственный предмет пересоздания и его индивидуальные принципы создания вторичной действительности»¹.

Переводя проблему из частного в методологический план, Сарра Яковлевна предлагает формулировки предметов изображения, характерных для разных творческих методов, исходя при этом из особенностей соответствующей эпохи и социальной психологии. Последнее соображение, возможно, неоспорно, однако в целом идея сопряжения метода с предметом изображения представляется продуктивной, тем более что и во втором учебном пособии автор, уже под новым углом зрения, опять касается этой проблемы. Однако прежде чем перейти к этому моменту, оговоримся, что описания конкретных образцов «метода соцреализма» и периодизация этапов его развития – т. е. то, что составляет основное содержание книги «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны», – отнюдь не канули в безвозвратное прошлое. Художники действительно выполняли определенный социальный заказ, но выполнение этого заказа вполне соответствовало их внутренним потребностям и личным идеологическим представлениям. Поэтому предложенная С.Я. Фрадкиной картина запечатленного в литературе военных лет «торжества социализма» (к тому же созданная методом «соцреализма») в свою очередь становится объектом научного

¹ Там же. С. 36 – 37.

интереса. Если снять с этой картины аксиологический слой и попытаться посмотреть на нее непредвзято, то неизбежно задаешься вопросами: в какой мере интерпретация явления в один период может соответствовать интерпретации в другой период? как соотносится эстетическое самосознание с внешней оценкой? какова природа художественности такого рода явлений? в чем на самом деле выражаются особенности этого стиля? и т.п.

Учебное пособие, посвященное традициям классики в литературе военных лет, опять-таки начинается с постановки теоретических и методологических вопросов, т.е. с исследования проблемы *традиции*. И эта глава, несомненно, по сей день сохраняет свое методологическое и теоретическое значение, поскольку в ней наглядно представлено, как целенаправленно и последовательно должна двигаться мысль ученого от общефилософских положений к собственно литературному явлению. И как неизбежные реверансы в сторону «идеологии» не должны сбивать мысль с курса и мешать «вырулить» в собственно эстетическую область.

В этой работе С.Я. Фрадкиной мы опять находим стремление к максимальной научной точности и убедительности. Проанализировав множество определений и методологических установок, Сарра Яковлевна солидаризируется с А.С. Бушминым, предложившим наиболее глубокую (на тот момент) разработку проблемы традиции. При этом она очень точно улавливает уязвимые места предложенной им методологии, теоретические лакуны, не позволяющие, в частности, объяснить «близость образных структур у писателей различных эпох, творящих в русле разных творческих методов».¹ С.Я. Фрадкина предлагает воспользоваться категорией «*предмет художественного пересоздания*»², ибо, с ее точки зрения, именно в этом понятийном пространстве находятся основания для

¹ Фрадкина С.Я. Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940 – 1980-х гг. (по материалам прозы о Великой Отечественной войне). Пермь, 1984. С. 12.

² Там же. С. 14.

сопоставления далеко отстоящих друг от друга явлений: «Обнаружив у писателей различных эпох однотипность предмета и связанную с ней близость художественной структуры, мы тем самым устанавливаем следование конкретной литературной традиции»¹. Здесь есть над чем серьезно поразмыслить и сегодня. Эпоха постмодернизма, с одной стороны, превратила всю литературу в единый текст, сняв тем самым какие бы то ни было границы и лишив смысла теоретическое исследование традиции. Однако, с другой стороны, она одновременно актуализировала проблему традиции, ибо, если литературные явления могут повторяться, а границы между текстами все-таки остаются, то тем более интересно и важно понять, что именно и почему воспроизводится и обыгрывается в каждом конкретном случае.

Как и в искусстве, в литературоведении есть свои традиции. И воздавая должное своим предшественникам и учителям, мы обретаем дополнительные возможности двигаться дальше. Сарра Яковлевна Фрадкина заслуживает того, чтобы ей воздали должное.

Анастасия Пяткина

РЯДОМ С ГЕРОЯМИ ФРАДКИНОЙ (Из переписки С.Я. Фрадкиной и В. Пановой)

В истории Пермского университета было множество замечательных личностей, легендарных преподавателей и выдающихся ученых. Особое место в их ряду занимает Сарра Яковлевна Фрадкина, профессор кафедры русской литературы.

Сарра Яковлевна проработала на этой кафедре 48 лет. Она стала автором нескольких монографических исследований и учебных пособий, посвященных русской литературе XX века. При создании монографий Сарра Яковлевна нередко опиралась на данные, полученные «из первых рук», то есть в процессе личного общения и переписки с такими писателями, как

¹ Там же. С. 15.

В.Ф. Панова и К.М. Симонов. Воспоминаниям о встречах с Пановой посвящены работы С.Я. Фрадкиной «В мире героев Веры Пановой» и «Вера Панова и Пермь».

«В июле 1958 года началась моя переписка с Пановой, довольно интенсивная в первые годы и спорадическая впоследствии, когда Вера Федоровна иногда ограничивалась присылкой мне своих книг с автографами и новогодними и первомайскими поздравлениями», – вспоминала Сарра Яковлевна в своем очерке «Рядом с героями “Кружилихи”» в 1985 году. Все началось с предложения Л.С. Римской, директора Пермского книжного издательства «Звезда», написать монографию о творчестве известной «почти пермской» писательницы Веры Пановой. «О Вере Федоровне Римская всегда говорила эмоционально, радостно, откровенно гордясь близостью к ней и как бы приглашая вместе с ней полюбоваться талантом и душевной щедростью женщины, которая, имея на руках троих детей и не располагая постоянной крышей над головой, по собственной инициативе берет под свою опеку четвертую – дочь своего первого мужа Старосельского, мать которой погибла в ленинградской блокаде», – писала С.Я. Фрадкина позднее.

В своих письмах Сарра Яковлевна обращалась к Вере Федоровне со многими вопросами, касающимися ее творчества, уточняла нюансы и детали. Панова отвечала ей достаточно подробно, но иногда откровенно признавалась, что совершенно не помнит произведений, о которых Сарра Яковлевна ее спрашивала. Так, на расспросы о повести «Сашка» и Люде Шредер (героине одного из ее ранних очерков) Вера Федоровна отвечает: «Повесть «Сашка», дорогая Сарра Яковлевна, я никак не вспомню даже, что это и про что. Нет, конечно, я ее не кончала. С Людой Шредер я не общалась, писала по материалам, в каком-то сверхпожарном темпе».

Значительно шире и охотнее Вера Федоровна рассказывала о своей ростовской юности. «Это не просто прочнее хранилось в ее памяти, но по-особому ожило тогда. Ведь наша переписка началась в месяцы, когда завершалась ее работа над «Сентиментальным романом», – пишет Сарра Яковлевна в своей книге. – А спустя полгода, когда я, прочтя посланную ею

рукопись романа, задала ей немало вопросов, она отвечала мне: «Что касается моего детства, то я собираюсь о нем немного написать – то, о чем не чересчур горько будет вспоминать. Скучное было детство, не золотое. В истории Севастьянова очень много моего личного – ранний приход в журналистику, походы по заводам, Вадим Железный, Кушли – в частности, почти с натуры списан «Поэтический цех» (это называлось «Художественная мастерская»), и Тамару Меджидову люди узнают, а моряк, прыгавший в окно и игравший Вагнера, – нынешний писатель Георгий Шторм, я узнала это уже после того, как «Сентиментальный роман» был напечатан, мне сказали старые ростовчане...»

В январе 1960 года, когда рукопись «В мире героев Веры Пановой» была завершена, Сарра Яковлевна предложила Вере Федоровне ознакомиться с ней: «Для меня были бы ценны Ваши замечания», – писала она. Ответ был «скромным и несколько ошеломившим»: «...Я думаю, Сарра Яковлевна, что Вы не обидитесь на меня, если я не прочитаю Вашу рукопись. Я очень не люблю читать такие литературоведческие труды, никогда их не читаю и ровно ничего в них не понимаю...»

Спустя пять лет Сарра Яковлевна неуверенно спросила К.М. Симонова, не хочет ли он ознакомиться с рукописью книги о нем: «Он не без удивления по поводу моей интонации мгновенно воскликнул: «Разумеется, хочу!» А когда я объяснила, что мои сомнения связаны с ответом Веры Федоровны Пановой, он засмеялся: «Но ведь это же мне интересно!» – и не только буквально за несколько дней прочел рукопись, но и сделал немало уточнений. Вера же Федоровна, очевидно, решила, что я хочу представить рукопись на ее литературоведческий суд (а, может быть, и не без доли кокетства) и расписалась в своей «литературоведческой» некомпетентности».

И вот уже когда работа над книгой «В мире героев Веры Пановой» была окончена и вышла в свет, Сарра Яковлевна получила очень трогательную телеграмму с благодарностью от Веры Федоровны: «Дорогая Сарра Яковлевна, примите мою душевную благодарность за книгу столь добрую и снисходительную». Слово «добрый» в понимании Веры Пановой

было особенным: «Это – одно из ключевых слов Пановой в оценке людей и явлений, своеобразный критерий их ценности для нее. И как она умела ценить и помнить добро! Роман “Кружилиха”, как известно, в первом варианте назывался “Люди добрые”».

Переписка Сарры Яковлевны с Верой Пановой длилась и после того, как «творческий портрет писательницы» был завершен. Несколько раз они встречались в Комарово в «Союзе писателей» и часами беседовали о творчестве Веры Федоровны. Эти встречи Сара Яковлевна позднее описала в книге «Вера Панова и Пермь».

Анастасия Петухова

«ИЗВИНИТЕ ЗА ДЮЖИНУ ВОПРОСОВ...»

(Из переписки С.Я. Фрадкиной и К. Симонова)

Из черновика письма С.Я. Фрадкиной писателю Константину Симонову от 23 апреля 1965 года: «Извините за дюжину вопросов, за многословие. Отвечайте, если можно, не очень откладывая, хотя бы на те, которые не потребуют большого времени. И не гневайтесь, если за этой серией последует еще несколько вопросов по тем разделам книги, которые я сейчас дописываю».

Книга, о которой упоминает Сарра Яковлевна в этом отрывке, – монография «Творчество К. Симонова», вышедшая в свет в 1968 году. Работа была достаточно высоко оценена специалистами. Бронислав Кодзис в рецензии на монографию отметил «большую пытливость», с которой Сарра Яковлевна «прослеживает истоки военной тематики в поэзии и драматургии писателя, исследует проблему симоновского эстетического идеала»¹. Успех монографии во многом определила переписка,

¹ Кодзис Бронислав. Рецензия на монографии И. Вишневской «Константин Симонов» и С.Я. Фрадкиной «Творчество К. Симонова» // ГОУ ГАПО. Фонд № р - 1805. Опись № 1. Дело № 34.

завязавшаяся между исследователем и писателем, между Саррой Фрадкиной и Константином Симоновым.

Это было почти интервью. Вопросы в письмах С.Я. Фрадкиной. Ответы в письмах К. Симонова. Удивительно пронизательные, меткие, требующие размышления вопросы – и полные, емкие, содержательные ответы, всегда напечатанные на машинке, всегда завершающиеся словами «Жму вашу руку». Симоновские ответы становились основой для последующих, еще более глубоких вопросов. Интервью. Только очень долгое. Длилось без малого 10 лет. Интервью, но только на расстоянии. Пермь – Москва – Пермь – снова Москва...

Общение было интенсивным – и по количеству затронутых тем, и по глубине рассуждений. О чем рассказывал Константин Симонов? Вот лишь два его письма.

Первое – от 30 марта 1964 года.¹ Здесь писатель размышляет о собственной прозе: «У меня... выходило так, что в какой-то период все главное, что было за душой, лезло в стихи, в какой-то период в пьесы и, наконец, в последние десять лет все, что есть за душой, укладывается в прозу. Там, в написанных за последние годы романах, закопано и несколько пьес, и несколько десятков стихотворений, и я об этом не жалею, потому что <...>, как мне кажется, нашел себя в прозе больше, чем в чем-нибудь».

Далее – рассказ о печальной судьбе сценария «Смоленская дорога», который был написан совместно с режиссером Всеволодом Пудовкиным: «Сценарий не осуществился по двум причинам. Первая состояла в том, что первоначально нам был заказан сценарий об обороне Москвы и те, кто заказывал сценарий, ждали, видимо, что мы создадим так называемую «эпохальную» картину. А у нас вышел сценарий гораздо более скромный и сдержанный, не столь масштабный, как, видимо, ожидался. Да к тому же в центре его оказался военный корреспондент, лицо, в кинематографических канонах того времени не предусмотренное. Правда, по существу-то он не герой сценария, он только кино-глаз, он только способ показать других людей, способ показать различные картины войны, но с этими соображениями считаться не хотели. Логика железная –

¹ ГОУ ГАПО. Фонд № р - 1805. Опись № 1. Дело № 45.

раз этот военный корреспондент чаще всего появляется в фильме и проходит сквозь него, значит, он главный герой! А главными героями в битве под Москвой были не корреспонденты, а бойцы, командиры, политработники. Кроме того <...>, там были какие-то вещи, очевидно, не устраивающие тех, от кого зависела судьба сценария, и по мере откровенности изображения войны. Особенно в начале сценария, где он совсем уж в притирку к моим военным дневникам».

Рассуждает К. Симонов и о том, как следует военному корреспонденту описывать войну: «Разумеется, то, что я, находясь в действующей армии, в первые месяцы войны стремился найти, прежде всего, такие факты, которые бы показывали стойкость людей среди всего обрушившегося на нас ужаса, их героизм, их веру в то, что не все пропало, их возникающее воинское умение... Разумеется, в моих дневниках того времени картина шире. Но это самоограничение было сознательным, и я в нем ни секунды не раскаиваюсь. Примеры стойкости, героизма, твердости, воинского умения были необходимы тогда в газетах как хлеб».

Наконец, писатель определяет принцип изображения войны в своей фронтовой публицистике: «...Я всегда стремился к тому, чтобы война, изображенная в моих очерках, корреспонденциях и рассказах военного времени, не вступала в противоречие с личным опытом солдат. Короче говоря, писал не обо всем, но о том, о чем я писал, я стремился писать, в меру своих сил и способностей, правду».

Второе письмо – от 6 мая 1965 года¹. Здесь К. Симонов рассказывает историю публикации своего самого, пожалуй, известного стихотворения из сборника «С тобой и без тебя»: «Если не ошибаюсь, в феврале 42-го года я был у редактора «Правды» Пospelова; он спросил меня, нет ли у меня каких-нибудь стихов для «Правды». У меня ничего не было под рукой, я сказал ему, что есть только лирика. Он сказал: «Ну что ж, лирика так лирика». Я прочел ему «Жди меня». Ему понравилось. Он вытащил с другого этажа Емельяна Михайловича Ярославского и заставил меня еще раз прочитать,

¹ Там же.

уже при нем. Тому тоже понравилось. Кстати, там же в редакции возник спор по поводу эпитета «желтые дожди», и тут меня поддержал Ярославский. Он сам был художником, писал картины и, объясняя этот эпитет, стал говорить, что бывают такие дожди, когда почва глинистая и от этого дождь становится желтым. Хотя у меня лично ассоциировался эпитет «желтые дожди» с какой-то тоской, это объяснение спасло мой эпитет от попыток заменить его на более привычный. На следующий день стихи были напечатаны в «Правде». Дальнейшее известно».

Далее К. Симонов вспоминает МХАТовскую постановку пьесы «Дни и ночи»: «Из четырех спектаклей, которые поставил МХАТ по моим пьесам, это, на мой взгляд, безусловно самый лучший. Меня удивило, как М.Н. Кедров, человек, не имевший никакого личного представления о войне, в то же время удивительным чутьем художника чувствовал обыденность войны, ее реальность, ее труд, и чувствовал все ее оттенки... Спектакль уже какое-то время шел во МХАТе, когда, по-моему, зимой 48-го года ко мне – я жил тогда в Абхазии – приехал режиссер театра Александр Михайлович Кареев, привез «Культуру и жизнь», в которой была довольно сердитая статья о спектакле «Дни и ночи», и рассказал о том, что за этой статьей стоит посещение спектакля Сталиным, которому не понравилась камерность этого спектакля, что в нем нет настоящего размаха Сталинградской битвы.

Положение мое было безвыходным. Сталинградская битва в ее оборонительный период именно и состояла из десятков и сотен таких узлов сопротивления, один из которых был описан мною под наименованием «Батальон Сабурова». Все эти узлы сопротивления, вместе взятые, с их упорной борьбой, были огромной битвой. Но огромной битвы в понимании того, как битва представляется людям, глядящим на севастопольскую или бородинскую панораму – такой огромной битвы в Сталинграде не было и не могло быть в этот оборонительный период».

И в заключение писатель определяет значение толстовской традиции для своего творчества: «Толстой для меня всегда был писателем, которого я больше всего любил и который с наибольшей силой отвечал всем моим мыслям и чувствам, в том

числе чувствам и мыслям, связанным с войной... конечно, Толстой очень сильно влиял на меня».

Нина Александровна Васильева

**«БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ –
ЭТО ТО, ЧТО НАМ ОСТАЛОСЬ...»
(Личный фонд С.Я.Фрадкиной
в Государственном архиве Пермской области)**

Фонд С.Я. Фрадкиной начал формироваться в 2005 г., личный архив поступил от ее дочери – Лины Львовны. На сегодняшний день в его составе числится 57 единиц хранения, 125 документов за 1941 – 1998 гг.

Материалы фонда позволяют выделить основные вехи биографии, научной и служебной деятельности С.Я. Фрадкиной.

В составе фонда имеются биографические документы (трудовая книжка, удостоверения, справки, грамоты и др.)¹, свидетельствующие о работе преподавателем педагогического института в г. Актюбинске, куда Сарра Яковлевна была эвакуирована во время Великой Отечественной войны, а также о трудовой деятельности в Пермском государственном университете с 1950 по 1998 г., о поощрениях и наградах за успешную научную и педагогическую деятельность. Документальные материалы о С.Я. Фрадкиной, в том числе статья в газете «Пермский университет»² и стихи-посвящения³, написанные студентами, рассказывают о глубокой признательности учеников своему учителю.

Документы фонда не только знакомят с фактами биографии и служебной деятельности Сарры Яковлевны, но и характеризуют ее как личность. Она активно боролась против несправедливого и незаконного обвинения ее в 1949 г. в космополитизме, о чем свидетельствует заявление Сарры

¹ ГОУ ГАПО. Ф.р - 1805. Оп. 1. Дд. 1 - 4, 7, 11.

² Там же. Д.14.

³ Там же. Дд.10, 12.

Яковлевны начальнику управления высшей школы УССР и секретарю парткома КГУ.¹

В научной деятельности С.Я. Фрадкиной свойственны основательность, глубокое изучение материала, интерес к получению новых знаний. Для подготовки монографий о творчестве В.Ф. Пановой и К.М. Симонова Сарра Яковлевна тщательно изучила их документы, хранящиеся не только в Государственном архиве Пермской области, но и в Российском государственном архиве литературы и искусства, подробные выписки из которых также представлены в фонде Фрадкиной².

При подготовке монографий и научных пособий Сарра Яковлевна обращалась к писателям, чье творчество она изучала, и в фонде имеются подлинные письма В.Ф. Пановой³ и К.М. Симонова⁴ к ней, а также ее воспоминания о встречах с Верой Федоровной Пановой⁵.

В состав фонда входят рукописи и публикации статей, докладов, рецензии, отзывы на ее научные труды, подготовительные материалы (записные книжки, выписки, копии документов) к научным работам и монографиям «Творчество К. Симонова», «В мире героев Веры Пановой», а также разработанное Саррой Яковлевной учебное пособие по спецкурсу «Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940-х – 1980-х гг. (по материалам прозы о великой Отечественной войне)»⁶.

Фонд только начал формироваться, но сотрудничество с родственниками Сарры Яковлевны продолжается. В 2005 и 2006 гг. в архив поступили новые документы, которые дополняют фонд С.Я. Фрадкиной. Среди них, в частности, личные документы фондообразователя: диплом с отличием об окончании филологического факультета Киевского

¹ Там же. Д. 3.

² Там же. Дд. 18, 39, 40.

³ Там же. Д. 43.

⁴ Там же. Д. 45.

⁵ Там же. Д. 33.

⁶ Там же. Дд. 15 - 41.

государственного университета в 1949 г., аттестаты доцента, профессора, фотографии 1950 – 1970-х гг. Переписка С.Я. Фрадкиной пополнилась письмами, открытками киевских коллег и друзей, которые вспоминают «о гнусной травле», организованной в Киевском государственном университете, интересуются условиями «пермской жизни» после отъезда семьи в г. Молотов (Пермь). Бывшие студенты Пермского университета выражают благодарность за лекции, науку жизни и за то, что «дом Ваш для многих из нас стал истинной обителью науки». Ученые из разных городов интересуются ходом работы над сборниками, научными делами и планами.

В 2005 г. специалистами ГОУ «Государственный архив Пермской области» была проведена презентация личного фонда С.Я. Фрадкиной, среди участников были ее родственники, друзья, ученики. В ходе презентации они тепло вспоминали о Сарре Яковлевне, прекрасном человеке, умном и требовательном педагоге. Как пишет в одной из статей ученица, аспирантка С.Я. Фрадкиной, в настоящее время преподавательница Пермского государственного педагогического университета Галина Михайловна Ребель, «благодарная память – это то, что нам осталось. Благодарная память питается прошлым, дает опору в настоящем и готовит почву для полноценного будущего...».

Архивисты признательны родственникам, друзьям и коллегам Сарры Яковлевны, которые оказали помощь в сохранении документальных свидетельств памяти о настоящем ученом, педагоге и человеке.

Александр Стабровский

ЛИЧНЫЙ ФОНД МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПГУ

В музее истории Пермского университета среди личных фондов есть и фонд «Кертман – Фрадкина». Несмотря на то, что один – историк, другой – филолог, их фонды объединены, так как представляют интерес в едином понимании; многие документы и фотографии также тесно взаимосвязаны.

Л.Е. Кертман и С.Я. Фрадкина – семейная пара, в университете начали работать одновременно. Правда, надо отметить, что по воле случая и решению родственников большая часть материала относится к деятельности профессора Кертмана. Материалы, связанные с именем Сарры Яковлевны, незначительны: основной фонд, к сожалению, находится в ГАПО. Можно с этим спорить постфактум, но ничего уже сделать нельзя, приходится мириться.

Пока у нас в музее можно посмотреть лишь фотографии, поздравительные письма, официальные справки. Вот и все. Это непростительно мало. Однако есть надежда, что найдутся патриоты университета, которые пополнят своими материалами небольшой раздел «С.Я. Фрадкина» в фонде «Кертман – Фрадкина».

БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ С.Я. ФРАДКИНОЙ

1951

«Любовь Яровая». Пьеса К. Тренева на сцене Пермского драматического театра // Звезда. 1951. 23 нояб.

Советская литература в борьбе за мир // Звезда. 1951. 30 нояб.

1953

Выдающийся русский писатель: к 70-летию со дня рождения А.Н. Толстого // Звезда. 1953. 10 янв.

Обличитель буржуазного строя: [Л.Н. Толстой: к 125-летию со дня рождения] // Звезда. 1953. 9 сент.

1954

Идеи и образы А.Н. Толстого в оперном спектакле // Звезда. 1954. 7 февр.

1956

Традиции В.В. Маяковского в книге стихов Константина Симонова «Друзья и враги» // Учен. зап. / Перм. гос. ун-т, 1965. – Т. 9, вып. 2. – С. 186 – 222.

Люди, которые обрели счастье // Звезда. 1956. 2 марта.

1957

Спектакль мог быть убедительней: [«Филумена Мортурано» Эдуарда де Филиппо на сцене Молотовского драмтеатра] // Молодая гвардия. 1957. 10 февр.

За литературу о настоящем человеке: Заметки о прозе пермских писателей // Звезда. 1957. 2 июня.

Судьба человека – судьба Родины: [о создании многосерийного кинополотна по трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам»] // Звезда. 1957. 23 нояб.

1958

Особенности создания типических образов в рассказах А.П. Чехова // Учен. зап. / Перм. гос. ун-т, 1958. – Т. 12, вып. 2: историко-филологический. – С. 255 - 275.

Зрелость таланта // Прикамье: альманах. 1958. № 25. – С. 99 - 105.

В поисках радости: пьеса В. Розова на сцене Пермского драмтеатра // Звезда. 1958. 9 февр.

Второе издание: [о романе В. Черненко «Кольчуга», изданного Пермским книжным издательством] // Звезда. 1958. 13 авг.

1959

Накануне светлого дня: рецензия на кинотрилогию «Хождение по мукам» // Звезда. 1959. 17 мая.

Искать и не успокаиваться: [о пьесе В. Лаврентьева «Иван Буданцев», поставленной на сцене Пермского драмтеатра] // Звезда. 1959. 16 июня.

1960

Образ Кирилла Извекова в романах К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето»: особенности типизации // Учен. зап. / Перм. гос. ун-т, 1960. – Т. 13, вып. 4. – С. 3 - 14.

Как живой с живыми: [30 лет со дня смерти В.В. Маяковского] // Звезда. 1960. 14 апр.

1961

В мире героев Веры Пановой: творческий портрет писательницы. – Пермь: Кн. изд-во, 1961. 251 с.

Из истории влияния А.П. Чехова на английскую литературу // Творчество А.П. Чехова / Учен. зап. / Перм. гос. ун-т, 1961. – С. 141-182.

«На дне»: спектакль республиканского драматического театра Башкирии // Звезда. 1961. 20 июня.

1962

Театр и местный автор: [Пьесы М. Сторожевой «Шесть тополей» и «Входя в этот дом» на сцене Пермского драмтеатра] // Звезда. 1962. 6 февр.

Нестареющий талант: [к 70-летию со дня рождения К. Федина] // Звезда. 1962. 25 февр.

1963

Жанровое и стилевое многообразие советской лирики периода Великой Отечественной войны // Сб. материалов к науч. сессии вузов Урал. экон. р-на. Филол. науки. – Свердловск, 1963. – С. 30 - 33.

Маленький Сережа в большой степи // Преподавание литературы в восьмилетней школе. – Пермь, 1963. – С. 5 - 14.

1964

Человек родился: [о спектакле «Разбуженная совесть» В. Шаврина на сцене Пермского драмтеатра] // Звезда. 1964. 9 янв.

1965

Новое о Гайдаре // Звезда. 1965. 27 нояб. [Рец. на кн.: Гинц С., Назаровский Б. Гайдар на Урале. – Пермь, 1965.]

1966

Ценный труд по советской драматургии // Литература в школе. 1966. № 6. – С. 76 - 78. [Рец. на кн.: *Богуславский О.И., Диев В.А.* Русская советская драматургия: основные проблемы развития. 1936 – 1945 гг. – М., 1965. 288 с.]

1968

Творчество Константина Симонова. – М.: Наука, 1968. 207 с.

Литература послевоенного периода (1946 – 1953) // История русской советской литературы. 1917 – 1965. – В 4-х т. – 2-е изд. – М.: Наука, 1968. – Т. 3: 1941 – 1953. – С. 89 – 164 (в соавт. с Т.К. Трифоновой).

1969

Образ В.И. Ленина в советской художественной литературе: материал в помощь лектору. – Пермь, 1969. 36 с. (Перм. обл. орг. о-ва «Знание»)

1970

Традиции Горького в современной лениниане (по материалам художественной прозы) // Литературоведение: метод, стиль, традиции. / Учен. зап. / Перм. ун-т, 1970. – № 241. – С. 3 - 31.

Традиции Горького в современной литературной лениниане // Звезда. 1970. 11 апр.

1972

Принципы изображения народа в литературе Великой Отечественной войны и своеобразие эпических жанров русской советской литературы 1941 – 1945 гг. // Проблемы литературных жанров: материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 50-летию образования СССР (23 – 26 мая 1972 г.). – Томск, 1972. – С. 96 - 98.

В творческом поиске: «Любовь Яровая» в постановке Ульяновского театра драмы // Веч. Пермь. 1972. 18 сент.

1974

Люди живут для лучшего: к гастролям Рижского театра русской драмы // Звезда. 1974. 10 июля.

1975

Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. Метод и герой: учеб. пособие к спецкурсу. – Пермь, 1975. 317 с.

1976

Почему сестры Прозоровы не едут в Москву? [О спектакле «Три сестры» А. П. Чехова в Пермском драматическом театре] // Звезда. 1976. 8 окт.

Вехи творческого восхождения: Льву Давыдычеву – 50 лет // Веч. Пермь. 1976. 24 дек.

1977

[Рецензия] // Литературное обозрение. 1977. № 5. – С. 44-45. – Рец. на кн.: Давыдычев Л. Друзья мои, приятели. Жизнь Ивана Семенова. Лелишна: повести. Руки вверх, или Враг № 1: роман. – Пермь, 1976.

Еволюція способу життя – еволюція літератури // Шістдесятиріччя Великого жавтня і закономірності літературного процесу періоду розвиненого соціалізму: Матеріали доповідей респ. наукової конф. – Дніпропетровськ, 1977. – С. 13 - 14.

Воспитание чувств: о кинофильме «Сентиментальный роман» по роману В. Пановой // Веч. Пермь. 1977. 24 марта.

Зритель аплодирует поступку: о спектакле Московского драматического театра им. А.С. Пушкина «Мужчины, носите мужские шляпы» // Звезда. 1977. 24 июня.

Всегда как впервые: сегодня – открытие нового, 51-го сезона в Пермском драматическом театре // Звезда. 1977. 15 сент.

Извлекай нравственные уроки: о спектакле «Беспокойная старость» Пермского драмтеатра // Веч. Пермь. 1977. 26 дек.

1978

Эволюция творческого метода К. Федина и его героя (в свете метода социалистического реализма) // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1978. – С. 43 - 54.

В расцвете таланта: к 40-летию творческой деятельности народной артистки РСФСР Л.В. Мосоловой // Веч. Пермь. 1978. 20 марта.

Что остается людям?: размышления о спектакле «Последний срок» В. Распутина [в Пермском драмтеатре] // Звезда. 1978. 11 апр.

Критерии престижа: [Мир культурного человека: ценности истинные и мнимые] // Звезда. 1978. 20 мая.

Постигая Маяковского: пьеса «Клоп» на сцене Березниковского драмтеатра // Звезда. 1978. 26 нояб.

1979

Эволюция образа жизни – эволюция литературы (к постановке вопроса) // Типология литературного процесса и индивидуальность писателя: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1979. – С. 67 - 78.

Гнездо глухаря и его обитатели: о спектакле Пермского драматического театра «Гнездо глухаря» В. Розова // Звезда. 1979. 16 мая.

Триумф дерзкого замысла: о спектакле Ленинград. БДТ «История лошади» // Звезда. 1979. 28 июня.

1980

Русская советская поэзия периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов // Проблемы нравственно-эстетического воспитания в процессе преподавания литературы в средней школе / Перм. ун-т. – Пермь, 1980. – С. 12 - 26.

Традиции Л.Н. Толстого в прозе К.М. Симонова // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1980. – С. 67 - 79.

Испытание на человечность: «Деньги для Марии» В. Распутина на сцене Пермского драмтеатра // Звезда. 1980. 3 апр.

1981

Эволюция типа героя и конфликта в поэмах А.Т. Твардовского // Проблемы типологии творчества (А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, Н.И. Рыленков). – Смоленск, 1981. – С. 59 - 70.

Эволюция типа героя и конфликта в поэмах А.Т. Твардовского // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1981. – С. 90 - 100.

«Блажен, кто вовремя созрел»: Я. Мы. Общество: жизненные ситуации и нравственные уроки // Звезда. 1981. 25 янв.

Созвучно времени: советская классика на сцене Пермского драмтеатра // Звезда. 1981. 21 июля.

1982

Конкретно-историческое и «вечное» в произведениях М. Шолохова о Великой Отечественной войне // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1982. – С. 133 - 145.

Некоторые аспекты изучения литературных традиций // Проблемы истории и методологии литературоведения и литературной критики: материалы науч.-теорет. конф. – Душанбе, 1982.

1983

Гуманистический пафос романа Шолохова «Они сражались за Родину» // Великий художник современности. – М., 1983. – С. 149 - 151.

На единой волне // Вопросы литературы 1983. № 4. – С. 217 - 222. [Рец. на кн.: Василий Теркин А. Твардовского – народная эпопея. – Воронеж, 1981. 192 с.]

Эстетический идеал Фадеева и воссоздание им социалистического образа жизни в произведениях о Великой Отечественной войне // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1983. – С. 136 - 147.

Поэма о рыцарях революции: «Разгром» А. Фадеева на сцене Пермского драмтеатра // Звезда. 1983. 8 февр.

1984

Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 1940 – 1980-х годов (по материалам прозы о Великой Отечественной войне): учеб. пособие по спецкурсу. – Пермь, 1984. 81 с.

Комиссары в пыльных шлемах... // Театральная жизнь. 1984. № 1. – С. 5 - 6.

1985

Традиции классики в прозе о Великой Отечественной войне // Филологические науки. 1985. № 2. – С. 9 - 16.

«Чувствую к Перми самое сердечное отношение...»: к 80-летию Веры Пановой // Урал. 1985. № 3. – С. 9 - 16.

Рядом с героями «Кружилихи» [Веры Пановой] // Веч. Пермь. 1985. 1 - 11 марта.

Писатель, боец, человек: к 70-летию со дня рождения Константина Симонова // Веч. Пермь. 1985. 28 нояб.

1986

Убивает не только пуля... [Рец. на спектакль театра Маяковского «Завтра была война»] // Веч. Пермь. 1986. 19 июля.

1987

Вера Панова и Пермь // Воспоминание о Вере Пановой. – М., 1987. – С. 135 - 153.

Традиции «Судьбы человека» М.А. Шолохова в прозе о Великой Отечественной войне // Типологическое изучение литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1987. – С. 144 - 157.

Вчера, сегодня, завтра: размышления после юбилея Пермского драм. театра // Звезда. 1987. 5 янв.

Куда ведет дорога? Заметки о фильме «Покаяние» // Веч. Пермь. 1987. 20 марта.

1989

Борьба тенденций в советской литературе периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. // Проблемы типологии литературного процесса: межвуз сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1989. – С. 88 - 101.

1991

Вспоминая об Александре Ильиче Букиреве... // Пермский университет в воспоминаниях современников. – Пермь, 1991. – Вып. 1. – С. 68 - 74.

Традиции Л.Н. Толстого в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» // Типология литературного процесса: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 1991. – С. 59-69.

У края пропасти: о пьесе В. Арро «Трагики и комедианты» на сцене Пермского драм. театра // Звезда. 1991. 13 марта.

1993

Русская литература XX века как единая эстетическая система // Вопросы литературы. 1993. № 2. – С. 86 - 91.

1994

На перекрестке традиций («Сивцев вражек» М. Осоргина и традиции русской классики) // Михаил Осоргин: страницы жизни и творчества: материалы науч. конф. «Осоргинские чтения». – Пермь, 1994. – С. 13 - 21.

Слово о коллеге // Еще волнуются живые голоса: воспоминания о С.Ю. Адливанкине. – Пермь, 1994. – С. 39 - 42.

Традиции классики в русской литературе 1960 – 1980-х годов // Кормановские чтения. – Ижевск, 1994. – Вып. 1. – С. 213 - 223.

1996

На пути к мемуарам // Римма: [о проф. ПГУ Р.В. Коминой]. – Пермь, 1996. – С. 84 - 98.

Русская литература XX века как единая эстетическая система // Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения. – М., 1997. – Т. 2. – С. 163 - 167.

РЕДАКТОРСКАЯ РАБОТА С.Я. ФРАДКИНОЙ

С.Я. Фрадкина была ответственным редактором кафедрального сборника Ученых записок Пермского университета № 241, 1970 г. «Литературоведение: метод, стиль, традиции» и главным редактором последующих кафедральных межвузовских сборников:

«Проблемы типологии литературного процесса» (1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1992 гг.);

«Проблемы типологии русской литературы XX века» (1991);

«Типология литературного процесса и творческая индивидуальность писателя» (1979, 1993);

«Типология изучения литературного процесса» (1987, 1989);

«Типология литературного процесса» (1988, 1990).

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТРУДАХ С.Я. ФРАДКИНОЙ

1. *Белая Г.* Цель исследования // Вопросы литературы. 1968. № 12. – С. 159 - 163. [Рец. на кн.: *Фрадкина С.Я.* Творчество Константина Симонова. – М.: Наука, 1968.].

2. *Бочаров А.* Не рвется цепь времен // Новый мир. 1976. № 7. – С. 252 - 258. [Рец. на кн.: *Фрадкина С.Я.* Русская советская литература периода Великой Отечественной войны: метод и герой. – Пермь, 1975.].

3. *Васильева Н.Е.* Об учителях и коллегах, которых нет: заметки с авторским PS // Взойди, звезда воспоминанья: Страницы воспоминаний выпускников филологического факультета Пермского университета. – Пермь, 2006. – Т. 1. – С. 86 - 95.

4. *Васильева Н.* Дом // Пермский государственный университет 2004: ежегод. информ.-худож. журн. – С. 25 - 29.

5. *Васильева Н.* Лев Ефимович Кертман // Пермский государственный университет 2003: ежегод. информ.-худож. журн. – С. 26 - 31.

6. *Гашева Н.* Слово об учителе: [ушла из жизни Сарра Яковлевна Фрадкина, ученый-филолог, профессор Пермского государственного университета] // Звезда. 2000. 29 июня.

7. *Генкель М.А.* Основные научные направления филологического факультета с 1916 по 1966 гг. / М.А. Генкель, О.И. Богословская, А.А. Бельский, Р.В. Комина // Учен. зап. / Перм. гос. ун-т. 1966. № 162. – С. 5 - 23. [О Фрадкиной С.Я. – С. 18 - 19].

8. *Глебов Н.* Новая книга пермского ученого: [об учебном пособии С.Я. Фрадкиной «Русская советская литература периода Великой Отечественной войны» (Пермь, 1975)] // Звезда. 1975. 14 июня.

9. *Горланова Н.* Лидия и другие. История одной компании: повесть / Н. Горланова, В. Букур // Континент. 2002. № 114. – С. 15-119. [Среди прототипов героев повести – семья Кертмана – Фрадкиной].

10. *Дробот Г.* Голосом своего поколения // Литературная Россия. 1968. 15 нояб. – С. 17. [Рец. на кн.: *Фрадкина С.Я.* Творчество Константина Симонова. – М.: Наука, 1968].

11. *Ермолаева Н.* В раздумьях о литературе и войне / Н. Ермолаева, П. Куприяновский // Вопросы литературы. 1976. № 6. – С. 218 - 235. [Рец. на кн.: *Фрадкина С.Я.* Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. – Пермь, 1975].

12. *Живописцев В.П.* День открытых дверей: Пермскому университету 70 лет (1916 – 1986). – Пермь, 1986. 133 с. [О Фрадкиной С.Я. – С. 49 - 50].

13. *Ивакин И.Н.* Учитель! Перед именем твоим... // Взойди, звезда воспоминанья: страницы воспоминаний выпускников филологического факультета Пермского университета. – Пермь, 2006. – Т. 1. – С. 151 - 155.

14. *Кертман Л.Е.* Первый на Урале: Пермский государственный университет. 1916 – 1986 / Л.Е. Кертман, Н.Е. Васильева, С.Г. Шустов. – Пермь, 1987. 234 с. [О Фрадкиной – С. 119, 165, 232].

15. *Лебедева Г.М.* Мои университеты: [о Фрадкиной С.Я.] // Взойди, звезда воспоминанья: страницы воспоминаний выпускников филологического факультета Пермского университета. – Пермь, 2006. – Т. 1. – С. 67 - 71, 76 - 78, 82.

16. *Ляпустина [Гросланд] С.Г.* Филфак – малая родина: [о Фрадкиной С.Я.] // Взойди, звезда воспоминанья: страницы воспоминаний выпускников филологического факультета Пермского университета. – Пермь, 2006. – Т. 1. – С. 250 - 253.

17. Пермский государственный университет им. А.М. Горького: исторический очерк 1916 – 1966. – Пермь, 1966. [О Фрадкиной С.Я. – с. 202].

18. Пермский государственный университет: проспект. – Пермь, 1996. 95 с. [О Фрадкиной С.Я. – С. 22].

19. Пермский государственный университет. – Пермь, 2001. 96 с. [О Фрадкиной С.Я. – с. 44].

20. *Порошина Т.* «Я поняла, что Зоей Космодемьянской мне быть не суждено...»: [Великая Отечественная война в исследованиях С.Я. Фрадкиной] / Т. Порошина, К. Гершанок // Пермский университет. 2000. № 5. – С. 5.

21. *Сминова В.* Портрет ли это? // Урал. 1963. № 1. – С. 158 - 161. [Рец. на кн.: Фрадкина С.Я. В мире героев Веры Пановой. – Пермь: Кн. изд-во, 1961].

22. *Финк Л.* Время обобщений // Литературное обозрение. 1976. № 5. – С. 68 - 70. [Рец. на кн.: *Фрадкина С.Я.* Русская советская литература периода Великой Отечественной войны. – Пермь, 1975].

23. *Финочко С.* Сарра Яковлевна, к счастью нам явленная // Веч. Пермь. 1997. 26 дек. – С. 2.

24. Фрадкина Сарра Яковлевна (26 декабря 1917 – 13 июня 2000): [биогр. очерк] // Профессора Пермского университета (1916 – 2001). – Пермь, 2001. – С. 244 - 245.

25. *Чиркова Е.* Преподаватель ПГУ Сарра Фрадкина 10 лет поддерживала писательницу Веру Панову: [о переписке и встречах] // Комсомольская правда. 2005. 29 сент. – 6 окт. – С. 21.

Составитель *И.К. Трубина*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Андаева Раиса Германовна – доцент кафедры всеобщей истории Пермского государственного педагогического университета.

Арустамова Анна Альбертовна – доцент кафедры русской литературы Пермского государственного университета.

Асланьян Юрий Иванович – главный редактор газеты «Пермский обозреватель».

Беликов Юрий Александрович – поэт, эссеист, журналист. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра.

Бурдина Инга Владимировна – журналист.

Васильева Нина Александровна – главный специалист отдела комплектования, личных фондов и ведомственных архивов ГОУ «Государственный архив Пермской области».

Васильева Нина Евгеньевна – доцент кафедры русской литературы Пермского государственного университета.

Виниченко Владимир Васильевич – писатель, член Союза писателей России.

Гашева Надежда Николаевна – книжный редактор, журналист.

Гилелах Михаил – журналист, живет в Израиле.

Горланова Нина Викторовна – писатель, член Союза писателей России.

Грузберг Людмила Александровна – доцент кафедры общего и славянского языкознания Пермского государственного университета.

Зименко Валентина Ивановна – доцент кафедры всеобщей истории Пермского государственного педагогического университета.

Зубков Владимир Анатольевич – доцент кафедры новейшей русской литературы Пермского государственного педагогического университета.

Караваева Светлана Борисовна – зам. директора методического центра «Умный ребенок».

Кертман Григорий Львович – историк, политолог, живет в Москве.

Кертман Лина Львовна – литератор, живет в Израиле.

Кондаков Борис Вадимович – зав. кафедрой кафедры русской литературы и декан филологического факультета Пермского государственного университета, профессор.

Лаптева Мария Петровна – доцент кафедры новой и новейшей истории Пермского государственного университета.

Лебедева Галина Михайловна – журналист.

Лейтес Наталия Самойловна – доктор филологических наук, профессор, живет в США.

Любшина (Купрюшина) Ольга Сергеевна – журналист.

Ляпустина (Гросланд) Софья Григорьевна – театральная деятель.

Медведева Светлана Георгиевна – математик.

Никитенко Галина Александровна – педагог, краевед.

Оболонкова Марина Александровна – доцент, зав. кафедрой всеобщей истории Пермского государственного педагогического университета.

Петухова Анастасия Сергеевна – студентка 3-го курса специальности «Журналистика» филологического факультета Пермского государственного университета.

Проскурнин Борис Михайлович – зав. кафедрой зарубежной литературы и декан факультета СИЯЛ Пермского государственного университета, профессор.

Пяткина Анастасия Львовна – студентка 3-го курса специальности «Журналистика» филологического факультета Пермского государственного университета.



Вечер отдыха в доме С.Я.Фрадкиной. Слева направо: С.Я.Фрадкина, Р.В.Комина, профессор-математик Л.И.Волковыский, Н.Е.Васильева.



Первомайская демонстрация. Слева направо: Ю.М.Рекка, И.М.Новик, Г.С.Григорьев, Г.З.Гершуни, Е.А.Голованова, С.Я.Фрадкина, Л.Е.Кертман с дочерью Линой



С.Я.Фрадкина консультирует дипломников. Сидят Н.Агеева и Л.Бердышева



Вечер в доме С.Я.Фрадкиной. 9 мая 1969 года.



На студенческой научной конференции, 1968 год.



С.Я.Фрадкина и Н.Е.Васильева с выпускниками 1976 г. перед корпусом № 2.



Преподаватели филфака на ноябрьской демонстрации. Слева направо: Р.Я.Гельфанд, С.Я.Фрадкина, Н.Е.Васильева, Л.Н.Мурзин, Л.А.Грузберг, Н.П.Потапова.



Выпуск 1959 г. Преподаватели в первом ряду: Р.В.Комина, Ф.Л.Скитова, С.Я.Фрадкина,
З.В.Станкеева, С.Ю.Адливанкин



Новогодняя ночь, возле Дома Ученых. Слева направо: Л.Л.Кертман, Н.Е.Васильева, В.В.Воловинский, С.Я.Фрадкина, Л.Е.Кертман, Р.С.Волковская, Р.В.Комина.



Университетская методическая конференция.
В президиуме: Л.Е.Кертман, С.Я.Фрадкина, В.Э.Колла.



Л.Е.Кертман выступает на университетской методической конференции



С.Я.Фрадкина со студентами филфака: Б.Гашев, Л.Шапиро, М.Лысенина.



С.Я.Фрадкина с группой студентов-филологов.





Юбилейный вечер в доме Р.В.Коминой: стоит отец Риммы
Васильевны Василий Родионович, справа сидит писатель
А.М.Домнин



С.Я.Фрадкина читает лекцию по советской литературе.
1973 год.



С.Я.Фрадкина и Л.Е.Кертман с дочерью Линой на
первомайской демонстрации 1956 года.



На ноябрьской демонстрации 1958 года. Слева направо:
М.А.Ганина, В.А.Зубков, З.В.Станкеева, С.Я.Фрадкина,
Н.Н.Монахова, Р.Я.Гельфанд.



Фрагмент с праздничной демонстрации



С.Я.Фрадкина и Л.Е.Кертман на одном из университетских мероприятий. Стоит В.С.Стряпунина (Русейкина)





СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	3
I. САРРА	4
Из воспоминаний С.Я. Фрадкиной.....	4
<i>Документы разных лет</i>	48
1. <i>Школьные годы</i> . Анкета.....	48
Альбом выпускников.....	53
2. <i>Университеты</i> . Характеристика педагогической и научной работы С.Я. Фрадкиной.....	67
Письмо ректора Пермского университета А.И. Букирева Л.Е. Кертману.....	69
Автобиография С.Я. Фрадкиной.....	71
<i>Письма</i> . Из личной переписки С.Я. Фрадкиной.....	72
<i>Л. Кертман</i> . «Пусть больше никогда не повторится встреча...» (<i>Отрывки из повести</i>).....	96
<i>Н. Гашева</i> . Сарра.....	119
II. БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ	130
<i>М. Гилелах</i> . Эхо одного собрания.....	130
<i>Н. Лейтес</i> . Люди одной судьбы.....	135
<i>Т. Чернова</i> . Сарра. Этюд к портрету.....	136
<i>С. Усть-Качкинцева</i> . Наши встречи.....	139
<i>Г. Лебедева</i> . «Память сердца – что ей расставанья!»	143
<i>С. Медведева</i> . Наш дом был и их домом.....	164
<i>Н. Васильева</i> . Память души.....	166
<i>И. Бурдина</i> . Экзамен по требованию.....	175
<i>Л. Грузберг</i> . Спасла.....	177
<i>В. Зубков</i> . В дымке времени.....	180
<i>Г. Никитенко</i> . «Печаль моя светла...».....	183
<i>Р. Андаева</i> . Живое слово.....	187
<i>М. Лаптева</i> . «Я вспоминаю медленно и робко...»	189
<i>Л. Фадеева</i> . Три образа.....	193
<i>М. Оболонкова</i> . Про одну планету.....	197

<i>В. Зименко.</i> Спасибо этому дому.....	199
<i>О. Любшина (Купрюшина).</i> Сквозь призму времени.....	202
<i>Г. Ребель.</i> Благодарная память.....	204
<i>Б. Проскурнин.</i> Служение филологии.....	209
<i>Н. Горланова.</i> Высокое веселье.....	215
<i>В. Винниченко.</i> Дом, где согревались сердца.....	216
<i>С. Ляпустина.</i> Духовная эстафета.....	220
<i>С. Караваева.</i> Я запомнила ее красивой.....	222
<i>А. Арустамова.</i> Опыт большой жизни.....	225
<i>Ю. Асланьян.</i> Чувство стиля.....	228
<i>Ю. Беликов.</i> Сарра плясала, или В колонном зале тех времен.....	230
III. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ. АРХИВ.....	234
Краткая справка о жизни и деятельности С.Я. Фрадкиной (подготовил Г.Л. Кертман).....	234
<i>Г. Ребель, Б. Кондаков.</i> Заметки о научном наследии С.Я. Фрадкиной.....	237
<i>А. Пяткина.</i> В мире героев Фрадкиной (Из переписки С.Я. Фрадкиной и В. Пановой).....	247
<i>А. Петухова.</i> «Извините за дюжину вопросов...» (Из переписки С.Я. Фрадкиной и К. Симонова).....	250
<i>Н. Васильева.</i> «Благодарная память – это то, что нам осталось...» (Личный фонд С.Я. Фрадкиной в ГАПО).....	254
<i>А. Стабровский.</i> Личный фонд музея истории ПГУ.....	256
<i>Библиография.....</i>	257
<i>Сведения об авторах.....</i>	269

Научно-художественное издание

Составители Нина Евгеньевна Васильева,
Надежда Николаевна Гашева

СВЕЧА ГОРЕЛА...

**Книга о профессоре Пермского государственного
университета С.Я. Фрадкиной**

Редактор *С.Ю. Королева*
Корректоры *Н.Е. Васильева, С.Ю. Королева*
Библиограф-консультант *В.Д. Инзельберг*
Техническая подготовка иллюстраций *В.А. Леготкина*
Дизайн обложки *В.А. Леготкина*
Компьютерная верстка *С.Ю. Королевой*

Подписано в печать 20.03.2008. Формат 60х84/16.

Усл. печ. л. 16. Уч.-изд. л. 16. Тираж 300 экз.

Заказ .

Редакционно-издательский отдел
Пермского государственного университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15